



никлас луман

дифференциация

socium **xx**

GESELLSCHAFT DER GESELLSCHAFT. IV

ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. IV



НИКЛАС ЛУМАН

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ



ΛΟΓΟΣ
МОСКВА 2006

Перевод с немецкого Б. Скуратова под редакцией – А. Антоновско-
го (глл. I-V), А. Глухова (глл. VI-IX), О. Никифорова (глл. X-XV)

Общая редакция – А. Антоновский, О. Никифоров

Луман Н.

Дифференциация. Пер. с нем./ Б. Скуратов. М.: Издатель-
ство “Логос”. 2006. – 320 с.

“Общество общества” Никласа Лумана – всеобъемлющее социологическое исследование *общества как системы*. Выработанная этим классиком современной социологии теория всесторонне и обоснованно описывает процесс возникновения Мирового Общества в качестве осевого для социального развития западной цивилизации как таковой. Используя такие универсальные – как для естественных, так и для социальных наук – ключевые понятия как *аутопойезис, бифуркация, биологическая эволюция, хаос, система и функция, информация и коммуникация*, Луман описывает динамику эволюционирования всех важнейших сфер социальности: Право и Политику, Науку и Образование, Религию и Искусство, Экономику и Любовь.



Издание осуществлено при финансовой поддержке
Института имени Гете – Немецкого культурного центра

ISBN 5-8163-0061-x (Луман, Никлас. “Общество общества”)

Печатается по изданию:

Luhmann, Niklas. Die Gesellschaft der Gesellschaft. (I.4. Differenzierung)
© Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 1997

© Издательство “Логос” (Москва), 2006 (перевод; рус. изд.; серия).

© Послесловие – А. Антоновский.

СОДЕРЖАНИЕ:

I. СИСТЕМНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ	...7
II. ФОРМЫ СИСТЕМНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ	...23
III. ИНКЛЮЗИЯ И ЭКСКЛЮЗИЯ	...34
IV. СЕГМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕСТВА	...52
V. ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ	...83
VI. СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА	...100
VII. ОТДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ	...131
VIII. ФУНКЦИОНАЛЬНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО	...171
IX. АВТОНОМИЯ И СТРУКТУРНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ	...207
X. ИРРИТАЦИИ И ЦЕННОСТИ	...220
XI. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ	...234
XII. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ	...239
XIII. ИНТЕРАКЦИЯ И ОБЩЕСТВО	...246
XIV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВО	...263
XV. ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ	...286
От редактора (Александр Антоновский): Общество как общение и разобщение	...307

I. СИСТЕМНАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

С тех пор, как существует социология, она занимается дифференциацией.¹ Уже это понятие заслуживает некоторого внимания. Оно подразумевает единство (или производство единства) различного. В обществах, предшествовавших эпохе нового времени, разумеется, тоже наблюдались различия: горожане там отличались от сельских жителей, дворяне – от крестьян, а представители одной семьи – от представителей другой; но для образования соответствующих ожиданий этим обществам было достаточно учитывать различные родовые свойства (*Qualitäten der Wesen*) и формы жизни; то же касается и обращения с вещами. Благодаря понятию *дифференциации* достигается более абстрактное воззрение на предмет, и можно предположить, что это движение в сторону абстракции было вызвано свойственной для XIX века тенденцией понимать единства и различия как результаты процессов – идет ли речь об эволюционном развитии или же (как, например, в случае с политически объединенными “нациями”) о целесообразных действиях.

К концу XIX в. появилась возможность переключиться с данной концепции дифференциации на структурный анализ, при этом сохраняя заимствованную из экономических наук позитивную оценку плодотворности разделения труда. Даже парсонсовская теория общей системы действия еще основывается на этой концепции. Она использовала возрастающую дифференциацию как центральную формулу анализа развития и толковала индивидуализм нового времени как результат ролевой дифференциации. Основываясь на этом, Георг Зиммель подходит к анализу денег, Дюркгейм – к рассуждениям об изменениях форм моральной солидарности, а Макс Вебер – к понятию рационализации таких разнообразных жизнеустройств, как религия, экономика, политика, эротика. Доминирование концепции дифференциации обуславливалось на деле как раз тем, что она не исключала, но именно открывала доступ к мнимо про-

тиворечащим ей теоретическим подходам: прогресса, индивидуальности, ценностных критериев. Можно было предположить, что дифференциация необходима для сохранения сплоченности в условиях роста.

Благодаря понятию дифференциации общество нового времени смогло и восхищаться собой, и заниматься самокритикой. Оно стало рассматривать себя в качестве необратимого результата исторических процессов и с большим скепсисом вглядываться в будущее. Высокоразвитая “форма” и у Зиммеля, и у Вебера представляет собой один из коррелятов дифференциации. Однако выделение индивидуальности почти у всех классиков осуществляется иначе. Но в то же время форма обречена на значительные смысловые утраты, к тому же, она всегда является собой ограничение и отказ; а индивидуальность не дает индивиду возможность стать тем, кем бы он хотел, но производит опыт отчуждения. Вместе с индивидуальным своеобразием растет и осознание того, чего ему не дано, и в результате к концу XIX в. различные теории презентуют плюралистичную самость, конфликт между личной и социальной идентичностью или противоречивую социализацию.

Правда, при этой чрезмерной детерминированности возможностей употребления понятия “дифференциация” приходилось считаться с нечеткостью самого понятия². Поэтому мы ограничим данное понятие особым случаем системной дифференциации. Тем самым мы затрудняем немудреный переход от структурных проблем общественной дифференциации к индивидуальному поведению. Разумеется, это не должно исключать рассмотрение дифференциации ролей или вкуса, понятий или терминов в максимально обобщенном смысле. Все, что будет различаться, можно – если иметь в виду результат этой операции – обозначать и как различие. Однако же тезис дальнейших исследований состоит в том, что прочие дифференциации являются следствиями дифференциаций системных, т. е. могут быть объяснены последними; и дело здесь в том, что всякая оперативная (рекурсивная) связь операций порождает отличие системы от окружающего мира.

Если социальная система возникает таким образом, то мы будем говорить об отдифференциации (Ausdifferenzierung) от того, что в результате этой отдифференциации предстает в качестве окружающего мира. Такая отдифференциация может осуществиться, как в случае с общественной системой, в немаркированной (маркируемой лишь впоследствии через отдифференциацию) области смысловых возможностей, т. е. в далее неразграничиваемом мире. Но может оно наблюдаться и в уже сформированных системах. Только этот случай мы будем называть *системной дифференциацией* или, если речь идет об упомянутом различии, *внутренней дифференциацией* соответствующей системы.

Тем самым системная дифференциация является не чем иным, как рекурсивным образованием систем, использованием образования систем ради достижения собственного результата. При этом система, где образуются дальнейшие системы, воспроизводится посредством дальнейшего различения между частной системой и окружающим миром. С точки зрения частной системы остальная часть охватывающей системы теперь представляет собой окружающий мир. Тогда общая система для системы частной выступает как единство различия между частной системой и окружающим миром частной системы. Иными словами, системная дифференциация порождает внутрисистемные окружающие миры. Следовательно, речь идет о том, чтобы вновь применить уже часто использовавшееся понятие; о “re-entry” различия системы и окружающего мира в то, что оно различает, в систему.³

Важно понимать этот процесс с необходимой точностью. Речь идет не о *декомпозиции* некоего “целого” на “части” – ни в понятийном смысле (divisio), ни в смысле реального разделения (partitio). Схема *целое/часть* коренится в староевропейской традиции⁴, и если ее применить здесь, в ней будет отсутствовать определяющая точка.⁵ Системная дифференциация как раз не означает того, что целое разлагается на части и, будучи рассмотренным на этом уровне, лишь тогда состоит из частей и из “отношений” между частями. Скорее, *каждая* частная сис-

тема воспроизводит охватывающую систему, к которой она принадлежит, посредством *собственного* (специфического для частной системы) *различения системы и окружающего мира*. Благодаря системной дифференциации система в самой себе до известной степени умножается с помощью все новых различий между системами и окружающими мирами внутри системы. Процесс дифференциации может начинаться спонтанно; он представляет собой результат эволюции, которая может пользоваться удобными возможностями, чтобы осуществлять структурные изменения. Он не предполагает координацию с помощью общей системы, на мысль о чем может навести схема целого и его частей. Кроме того, он не предполагает, что все операции, свершающиеся в общей системе, подразделяются на частные системы, чтобы общая система могла бы работать только в частных системах. В высшей степени дифференцированному обществу тоже ведомо много “свободной” интеракции. Из этого вытекает дифференциация социальных систем и систем интеракции, изменяющаяся в зависимости от формы дифференциации общества.⁶

Итак, процесс дифференциации может где-то и как-то начаться, а впоследствии усиливать возникшие отклонения.⁷ Так, среди множества поселений формируется предпочитаемое место, где преимущества централизации взаимно усиливают друг друга, так что в конечном итоге возникает новое различие между городом и селом. Лишь благодаря этому прочие поселения становятся “селами”, отличающимися от города, и постепенно ориентируются на то, что имеется и город, где живут другой, отличной от сельской, жизнью, и он, будучи для села окружающим миром, изменяет ее возможности.

Следовательно, в контексте системной дифференциации всякое изменение является двойным и даже многократным. Всякое изменение частной системы в то же время представляет собой изменение окружающего мира других частных систем. Что бы ни происходило, происходит многократно – всякий раз в зависимости от системной референции.⁸ Поэтому стремительное уменьшение спроса на рабочую силу в хозяйстве по конъюнктурным соображениям или по соображениям конкуренции

может означать прирост рациональности и рентабельности, но одновременно это отражается и на политической системе, и на затронутых этим процессом семьях, и на образовательной системе школ и высших учебных заведений; или же это уменьшение спроса на рабочую силу в качестве новой научно-исследовательской темы (“будущее труда”) может – на основании изменения в *окружающем мире* этих систем – запускать совершенно иные причинно-следственные ряды. И все это является *одним и тем же* событием для всех систем! Отсюда – значительное ускорение, почти взрывное реактивное давление, от которого отдельные частные системы могут защититься, только отгородившись стеной индифферентности. Поэтому дифференциация действует принудительно: как увеличение количества зависимостей и независимостей при одновременной спецификации и системно-специфическом контроле над точками зрения на зависимость или же независимость. И в результате частные системы формируются как оперативно замкнутые аутопойетические системы.⁹

Переключение анализа общества со схемы *целое/часть* на схему *система/окружающий мир* дает возможность улучшить координацию между системной теорией и теорией эволюции.¹⁰ Это переключение позволяет лучше понять морфогенез сложности. Оно с большей точностью показывает, как единство в самом себе может быть вновь введено через различия; и оно оставляет полностью открытым вопрос о том, сколько таких возможностей существует, и можно ли их скоординировать, а если можно, то в каких формах.

Если сравнить системную теорию с традицией мышления целого и частей, то первая требует большего логического структурного многообразия. Она может (и должна), к примеру, различать отношения типа *система/окружающий мир* и отношения типа *система/система*. (Традиции известен лишь последний случай). Лишь благодаря различению системы и внешнего мира система постигает мировое единство или единство охватывающей системы, и притом посредством всякий раз само-

соотнесенного различия. Посредством отношений *система/система* (к примеру, отношений между семьей и школой) она постигает только фрагменты мира или общества. Но именно такая фрагментарность способствует тому, чтобы всякий раз наблюдать другую систему как систему-в-собственном-внешнем-мире и тем самым воспроизводить мир или общество из перспективы наблюдения за наблюдениями (наблюдения второго порядка). Тогда в окружающем мире других систем снова возникает та система, которая за ними наблюдает. Тем самым общая система, открывающая эти перспективы, как бы сама предлагает себя для рефлексии.¹¹

В отношениях *система/система*, какие допускает общественный порядок дифференциации, могут иметься лишь структурные связи, не отменяющие аутопойезиса частных систем. Это касается, к примеру, отношений между селами в сегментарных обществах, а также отношений между кастами или иерархических сословных отношений, определяющихся по рождению, как и – в гораздо более сложных и непрозрачных формах – отношений между функциональными системами общества Нового времени. Но ведь то, что функционирует в отношениях частных систем друг к другу в качестве *структурного сопряжения*, в то же время является *структурой* охватывающей системы общества. Это оправдывает определение общественных систем, прежде всего, через форму их дифференциации, так как именно форма структурного образования всякий раз определяет и ограничивает возможности структурных связей в отношениях частных систем друг к другу.

Переключение со схемы *целое/часть на схему система/окружающий мир* в конечном счете изменяет положение понятия “интеграция”. В староевропейском мышлении для этого не существовало особого понятия, поскольку интеграция частей предусматривалась в целостности целого в качестве *ordinata concordia*^{*} и затем в единичных феноменах проявлялась в виде их природы или сущности.¹² Классическая социология переформулирует эту проблему в виде квазизакономерных отношений между дифференциацией и интеграцией. Дифференциация не

может доводить до крайностей полной индифферентности. “Quelques rapports de parenté” – как пишет Дюркгейм¹³ – возникли только благодаря тому обстоятельству, что речь идет о дифференциации системы. И Парсонс отсюда выводит: “Since these differences are conceived to have emerged by a process of change in a system... the presumption is that the differentiated parts are comparable in the sense of being *systematically* related to each other, both because they still belong within the same system and, through their interrelations, to their antecedents”¹⁴. При этом понятие *интеграции*, как правило, все-таки остается без дефиниции¹⁵ и, как критически замечают, употребляется во многих значениях.¹⁶ Часто в эмпирическое понятие *интеграции* объединяют – далее не рефлекслируемые – предпосылки консенсуса.¹⁷ Это возымело последствием то, что понятие *интеграции* употребляется как прежде – чтобы сформулировать перспективы единства или даже ожидания солидарности и напомнить о соответствующих установках – в староевропейском стиле! Исторический процесс описывается как процесс эманации: из гомогенности возникает гетерогенность, причем гетерогенность заменяет гомогенность благодаря тому, что гетерогенность требует одновременно и дифференциации, и интеграции.¹⁸ Часто говорили, что при таких обстоятельствах *мобильность* наделяется функцией интеграции, а “мобилизация” поэтому считалась одним из определяющих рецептов политики модернизации для развивающихся стран (пока исследователей не вразумили хаотические последствия миграционных движений и образования городов).

Однако же нормативное понятие, требующее интеграции или хотя бы одобряющее ее, применительно к более сложным обществам с необходимостью наталкивается на растущее сопротивление. Сохраняя это понятие, мы вынуждены принимать парадоксальные или тавтологические, заикленные на самих себе формулировки.¹⁹ Коммуникация по поводу нормативных установлений (а как иначе она станет реальностью?) вызывает больше негативных, чем положительных откликов, и поэтому надежда на интеграцию приводит, в конечном счете, к отвержению общества, в котором мы живем. И что тогда?

Чтобы избежать такой чрезмерной однозначности, мы будем понимать под *интеграцией* не что иное, как уменьшение степеней свободы частных систем, и эти степени свободы определяются внешними границами общественной системы и ограниченного тем самым внутреннего окружающего мира этой системы.²⁰ Ведь всякая отдифференциация аутопойетических систем порождает внутренние неопределенности, которые могут широко распространяться посредством структурного развития, но могут и ограничиваться. Стало быть, согласно такому толкованию понятия, интеграция является одним из аспектов обхождения с внутренними неопределенностями (или использования внутренних неопределенностей) на уровне общей системы, а также на уровне ее частных систем. Ведь в отличие от системы общества, для таких частных систем имеется два внешних мира: внешний по отношению к обществу и внутриобщественный.²¹ В таком понимании интеграция не является ценностно-нагруженным понятием, и она не “лучше” дезинтеграции. Она, к тому же, не соотносится с “единством” дифференцированной системы (что с точки зрения чистой логики понятий следует уже из того, что интеграции может быть больше или меньше, а единства больше или меньше быть не может). Следовательно, интеграция не представляет собой привязку к перспективе единства и отнюдь не зависит от “покорности” частных систем центральным инстанциям. Она состоит не в связи “частей” с “целым”, но в подвижной, в том числе и исторически подвижной подстройке частных систем по отношению друг к другу. Ограничение степеней свободы может происходить в отношениях кооперации, но оно гораздо сильнее проявляется в конфликте. Следовательно, это понятие как раз не имеет в виду различие между кооперацией и конфликтом, но оказывается выше данного различия. Возникает проблема конфликта (т. е. слишком мощная интеграция частных систем, которым приходится мобилизовать все больше ресурсов для борьбы и избегать их использования с другими целями) и тогда проблемой сложностного общества становится забота о достаточной дезинтеграции.

Такое ограничение может осуществляться благодаря тому, что вступают в игру подсоединения – подсоединения операций к операциям или подсоединения операций к структурам – и для этого нет необходимости в консенсусе.²² Тем самым мы экономим ресурсы внимания в психических системах и координации интенций в социальной системе. Причем эти “ограничения” не регистрируются. Осуществляется разгрузка системы. С другой стороны, благодаря этому осложняется изменение “tacit collective structure” – часто употребляемый термин. Зачастую только инциденты или неудачи способствуют осознанию того, что предполагалась координация, которая должна присутствовать не в каждом случае.

Если же задаться вопросом об *интеграции/дезинтеграции*, то, в конечном счете, мы натолкнемся на отношения времени. Ведь все, что происходит, происходит (если наблюдать с позиций времени) одновременно. Вывод, прежде всего, таков, что одновременные события не могут взаимно влиять друг на друга и взаимно друг друга контролировать; ведь причинность требует различия во времени между причинами и следствиями, т. е. перехода через временные границы одновременно-актуального. С другой стороны, единство события, несчастного случая, поступка, солнечного затмения или грозы может быть – в зависимости от интересов наблюдателя – скроено весьма поразному. При этом нет необходимости соблюдать границы системы. Так, внесение проекта бюджета в парламент может быть событием в политической системе, в правовой системе, в системе масс-медиа и в экономической системе. Благодаря этому постоянно имеет место интеграция в смысле взаимного ограничения степеней свободы в системах. Но такой эффект интеграции остается ограниченным единичными событиями. Стоит лишь учесть предыстории и последствия, т. е. перейти временные границы одновременно актуального и принять во внимание рекурсивность, как магнитное поле систем отразится на их идентификации; и тогда правовой акт внесения проекта бюджета станет чем-то иным, нежели поводом для новостей и комментариев в масс-медиа; иным он становится и в качестве по-

литической символизации консенсуса и разногласия; и, наконец, иным в качестве того, на что реагируют биржи. Системы ежесекундно интегрируются и дезинтегрируются в пульсации событий. Эта повторяемость, а затем прогнозируемость, может оказать влияние на возможности структурного развития задействованных систем. В этом смысле Матурана говорит о “structural drift”²². Но оперативный базис для интеграции/дезинтеграции всегда остается единичным событием, которое идентифицируется в один и тот же момент в нескольких системах сразу. Ни одно действие не сможет адекватно планироваться, никакая коммуникация не сможет успешно осуществляться, если мы не овладеем этим сложным механизмом, сколь бы односторонние результаты ни приносили направляемые интересами и системно обусловленные сообщения.

Итак, интеграция представляет собой ситуацию, вполне совместимую с аутопойезисом частных систем. Поэтому существуют бесчисленные событийные оперативные связи, влияющие на постоянное возникновение и исчезновение системных взаимосвязей. Так, денежные платежи всегда являются и остаются операциями хозяйственной системы в рекурсивной сети предыдущих и последующих платежей.²³ Но в известном объеме они могут быть свободными относительно политического кондиционирования в рекурсивной сети политических предложений и политических последствий. Таким образом, системы непрерывно интегрируются и дезинтегрируются, связываются лишь на мгновения и тотчас же вновь высвобождаются для самостоятельных операций подключения. Такая темпорализация проблемы интеграции представляет собой форму, которую развивают в высшей степени сложные общества, чтобы быть в состоянии руководить процессами образования зависимостей и независимостей между несколькими частными системами одновременно.

Поэтому на оперативном уровне общественная дифференциация требует постоянной сигнализации о различиях. Так, в родовых обществах она отчасти сама собой разумеется и зависит от территории проживания, к которой принадлежит чело-

век; но используется и высокоразвитая терминология родства, которая всегда отграничивает его от дальних родственников или неродственников. Кроме того, гарантируемый чужакам особый статус связан с коммуникацией относительно границ. В аристократических обществах обращается большое внимание на отличительные признаки благородного образа жизни, и отличия подбираются так, что всегда учитывается и негативная сторона, “подлое”, “мужичье”. С тем большим основанием в коммуникации функционально дифференцированного общества должны учитываться точки зрения упорядочивания и отграничения; но здесь это уже не может – а если может, то лишь в очень ограниченном объеме – передаваться через чувственно воспринимаемые знаки. Если, например, – что часто происходит в технологических вопросах – нехватка научно удостоверенного знания приводит к риску при капиталовложениях, то обязательно необходимо принимать адекватные решения, предполагая понимание именно этого отличия. Недостаточно просто ориентироваться на инобытие другого. Само различие требует внимания. Само различие должно обуславливать операцию, и притом вот эту и никакую иную.

Отсюда зачастую делается вывод о дедифференциации или о недостаточной близости теории дифференциации к реальности.²⁴ Здесь верно замечают, что коммуникация по поводу различия выражает *взаимосвязи* различенного. Но именно взаимосвязи *различенного*. Единство (операции) и различие (схемы наблюдения) должны актуализироваться “единым махом”. Только так дифференциация может репродуцироваться. Соответственно – формы общественной дифференциации различаются согласно тому, какие различия возлагаются на наблюдения, если эти различия как операции стремятся оставаться подсоединяемыми.

Как уже многократно подчеркивалось, общественная система может использовать коммуникации лишь в качестве внутрисистемных операций, т. е. не может вести коммуникацию с внешним по отношению к обществу окружающим миром. Это, однако, не касается сформированных благодаря дифференциа-

ции *внутри*общественных отношений. И так, сплошь и рядом существуют коммуникации, выходящие за внутрисистемные границы систем. Отсюда проистекает возрастающая в ходе общественной эволюции потребность в организации. Ведь система может вести коммуникацию со своим внешним миром только как организация, т. е. только в форме репрезентации собственного единства.²⁵ Этот процесс возникновения потребности в организации продолжается при условиях функциональной дифференциации в рамках систем функций, например, для фирм, которые должны предлагать свои продукты на рынке либо доставать себе на рынке необходимые для этого ресурсы; или же для всевозможных общественных группировок, которые – стоит лишь государству организовать – стремятся представлять конкретные интересы по отношению к нему. Стало быть, как и в отношении *общество/интеракция*²⁶, в отношении *общество/организация* существует долгосрочный и трудно обратимый эффект эволюции общественных форм дифференциации.²⁷ Здесь мы касаемся пункта, где социологическая классика (Михельс, Вебер) анализировала “бюрократию” в качестве условия общественного порядка эпохи Нового времени.

В заключение следует напомнить о том, что обрисованная здесь и подлежащая дальнейшей разработке теория системной дифференциации основана на коммуникациях, а не на действиях (*Handlungen*). Кто наблюдает за действиями, сможет установить типичные возможности сложной принадлежности к системе исключительно потому, что сам действитель телесно и ментально функционирует в качестве вмняемого, а кроме того, действие – с точки зрения мотивов и последствий – может быть причастным к нескольким функциональным системам. Поэтому тот, кто исходит из действий, вообще с трудом поймет теорию системной дифференциации и, к примеру, вместе с Рихардом Мюнхом, сможет констатировать лишь “взаимопроникновения”.²⁸ Лишь тогда, когда мы перестроимся с действий на коммуникации, возникнет необходимость рекурсивно определять элементарные единства формирования системы посредством соотношенности с другими операциями той же системы. Меж-

ду тем теоретик действия может довольствоваться лишь констатацией интенции, “подразумеваемого смысла” некоторого действия.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. I:

- ¹ В качестве классических монографий см.: Georg Simmel, *Über soziale Differenzierung: Soziologische und psychologische Untersuchungen*, Leipzig 1890; Émile Durkheim, *De la division du travail social*, Paris 1893. Фрагменты из истории идей см.: Niklas Luhmann (Hrsg.), *Soziale Differenzierung: Zur Geschichte einer Idee*, Opladen 1985. Из новых работ см. среди прочих: Renate Mayntz et al., *Differenzierung und Verselbständigung gesellschaftlicher Teilsysteme*, Frankfurt 1988; Jeffrey Alexander/Paul Colomy (ed.), *Differentiation Theory and Social Change: Comparative and Historical Perspectives*, New York 1990.
- ² Об этом см. критику: Charles Tilly, *Big Structures, Large Processes, Huge Comparisons*, New York 1984, особо chap. 2, 3.
- ^{*} re-entry (англ.): повторное вхождение – прим. пер. [Звездочками (*) и квадратными скобками (□) далее отмечены примечания переводчика и редактора наст. изд.]
- ³ Предвосхищая последующие анализы, заметим лишь, что речь здесь идет об *операциях*, разделяющих систему и окружающий мир. Когда же речь заходит о *наблюдениях*, соответствующее re-entry ведет к внутрисистемному различию между самореференцией и инореференцией.
- ⁴ Мы подробнее вернемся к ней в 5-ом разделе книги [здесь и далее имеется в виду издание: Луман, Никлас. Самоописания (Общество общества, кн. 5). М., Логос, 2006].
- ⁵ Как известно, на эту ошибку указывал и Жак Деррида, поэтому предложивший соотношенное со временем понятие *различания* (différance). Что касается наших нижеследующих анализов, речь идет не о декомпозиции изначального единства, но о возникновении различий в состоянии мира, которое следует предполагать немаркированным.
- ⁶ Об этом см. ниже главу XIII.
- ⁷ Кибернетика обозначает это понятие “позитивной обратной связи” [positive feedback]. См. Magoroh Maruyama, *The Second Cybernetics: Deviation-Amplifying Mutual Causal Processes*, *General Systems* 8 (1963), pp. 233-241
- ⁸ Биологи, формулирующие теоретические положения, зачастую упускают из виду это положение вещей, а с ним – и тот факт, что все, что происходит, происходит одновременно. Иначе невозможно объяснить, почему Джон Мейнард Смит (John Maynard Smith, *Evolution and the*

- Theory of Games, Cambridge England 1982, p. 8) пишет: "Evolution is a historical process; it is a unique sequence of events." [Эволюция представляет собой исторический процесс; это единственная в своем роде последовательность событий.]
- ⁹ О теоретическом контексте отношений между изменениями в хозяйственной системе и изменениями в правовой системе, взаимно динамизирующих друг друга, см.: Michael Hutter, *Die Produktion von Recht: Eine selbstreferentielle Theorie der Wirtschaft, angewandt auf dem Fall Arzneimittelpatentrechts*, Tübingen 1989, insb. S. 43 ff.
- ¹⁰ Ведь традиция, работавшая со схемой часть/целое, тоже не знает эволюционной теории, но для презентации временного измерения становления общества использует такие идеи, как *творение* или *эманация множества из единства*.
- ¹¹ Такой анализ как будто бы был проведен в моральной философии XVIII в. Но здесь речь шла о личностях, и цель анализа состояла в релятивизации различия между эгоизмом и альтруизмом, например, у Адама Смита в теории морального чувства (*Theory of Moral Sentiments*).
- * *ordinata concordia* (лат.): упорядоченное согласие – прим. пер.
- ¹² Так утверждает Эдвард Рейнольдс, Edward Reynolds, *A Treatise of the Passions and Faculties of the Soule of Man*, London 1640; Gainesville Fla. 1971, p. 76: "of the general care of the Creator; whereby he has fastened on all creatures, not only his private desire to satisfy the demands of their own nature, but has also stamp'd upon them a general charity and feeling of Communion, as they are sociable parts of the Universe or common Body; wherein cannot be admitted (by reason of the necessary mutual connexion between the parts thereof) any confusion or divulsion without immediate danger to all the members." [общим попечением Создателя; тем самым он не только установил во всех тварях его частное желание для того, чтобы оно соответствовало требованиям их собственной природы, но и запечатлел в них всеобщую любовь и чувство Сопричастности, так как они суть сообщающиеся части Вселенной, или общего Тела; здесь не могут быть допущены (по причине необходимой взаимосвязи между частями) никакое смешение или распространение без непосредственной опасности для всех членов.]
- * *Quelques rapports de parenté*" (франц.): некоторые отношения родства – прим. пер.
- ¹³ *De la division de travail social* (1893), цитируется по юбилейному изданию, соответствующему второму, Paris 1973, p. XX.
- ¹⁴ [Поскольку считается, что эти различия возникли через процесс изменения в системе... предполагается, что дифференцированные части сравнимы в том смысле, что они *систематически* соотносимы друг

- с другом, как из-за того, что они всё еще совместно принадлежат к одной и той же системе, так и из-за того, что благодаря их взаимоотношениям они одинаково соотносятся со своими antecedентами.] См. Talcott Parsons, *Comparative Studies and Evolutionary Change*, in: Ivan Vallier (ed.), *Comparative Method in Sociology: Essays on Trends and Applications*, Berkeley 1971, p. 97-139 (101f.), перепечатано в: Talcott Parsons, *Social Systems and the Evolution of Action Theory*, New York 1977, p. 279-320.
- ¹⁵ В качестве попытки дефиниции см., например, Walter L. Bühl, *Ökologische Knappheit: Gesellschaftliche und technologische Bedingungen ihrer Bewaltung*, Göttingen 1981, S. 85: "Интеграция" означает степень функциональной связанности дифференцированных частей или компонентов, так что один компонент не может быть действительным без других". Зато сомнительно, что "функциональная связанность" в условиях функциональной дифференциации состоит как раз в том, что единичные системы выполняют *не* одну и ту же функцию.
- ¹⁶ Актуальный обзор этого см.: Helmut Willke, *Systemtheorie*, 3. Aufl. Stuttgart 1991, S. 167 ff.
- ¹⁷ Об этом критически см. уже S. 25 ff.
- ¹⁸ Необходимо еще заметить, что Габриэль Тард ввел также и подход совершенно иного рода, исходящий из различия и затем описывающий последующие процессы развития как имитацию или диффузию. Но этот подход не получил распространения. См. об этом André Béjine, *Différenciation, complexification, évolution des sociétés*, Communications 22 (1974), p. 109-118.
- ¹⁹ "Социальная интеграция имеет в виду удачное соотношение свободы и сплоченности", – читаем мы в Bernhard Peters, *Die Integration moderner Gesellschaften*, Frankfurt 1993, S. 92.
- ²⁰ Очень похожую формулировку использует в контексте антропологии культуры Роберт Андерсон, Robert Anderson, *Reduction of Variants as a Measure of Cultural Integration*, in: Gertrude E. Dole/Robert L. Carneiro (ed.), *Essays in the Science of Culture in Honor of Leslie A. White*, New York 1960, S. 50-62. См. также: Helmut Willke, *Staat und Gesellschaft*, in: Klaus Dammann/Dieter Grunow/Klaus P. Japp (Hrsg.), *Die Verwaltung des politischen Systems*, Opladen, S. 23-26 (20): редукция создаваемых самим обществом возможностей выбора представляет собой вопрос выживания современного общества
- ²¹ На это настраивает нас и Гельмут Вильке в: *Zum Problem der Integration komplexer Systeme: Ein theoretischer Konzept*, Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie 30 (1978), S. 228-252.
- ²² См. Floyd A. Allport, *A Structuronomic Conception of Behavior: Individual and Collective*, Journal of Abnormal and Social Psychology 64 (1962), p. 3-30.

- * tacit collective structure (англ.): молчаливо принимаемая коллективная структура – прим. пер.
- ** structural drift (англ.): структурный дрейф – прим. пер.
- ²³ Более подробное описание см.: Niklas Luhmann, Die Wirtschaft der Gesellschaft, Frankfurt 1988.
- ²⁴ См., например, Karin Knorr Cetina, Zur Unterkomplexität der Differenzierungstheorie: Empirische Anfragen an die Systemtheorie, Zeitschrift für Soziologie 21 (1992), S. 406-419.
- ²⁵ Парсонс тут говорил бы не об организации, а о “collectivity” как об особом уровне в иерархическом построении системы социального действия; эта *collectivity* предполагает способность к коллективным действиям и “уплотненный” ценностный консенсус.
- ²⁶ См. ниже гл. XIII.
- ²⁷ Об этом см. ниже гл. XIV.
- ²⁸ См., например, Richard Münch, Theorie des Handelns: Zur Rekonstruktion der Beiträge von Talcott Parsons, Émile Durkheim und Max Weber, Frankfurt 1982, а впоследствии во многих других публикациях.

II. ФОРМЫ СИСТЕМНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ

Из-за исторического богатства и эмпирического разнообразия обществ, предшествовавших современному, всякая классификация и тем более всякая попытка выделения эпох терпят фиаско. И все-таки неоспоримо, что существует нечто вроде типовых различий; и совершенно несомненно существуют эпизоды развития, основывающиеся на предыдущих достижениях, а в современном обществе – как бы его ни понимать – к этим эпизодам еще и предъявляются чрезмерные требования. Понятие *системной дифференциации*, представленное нами в предыдущем разделе, должно открыть нам доступ на эту труднодоступную территорию. Поэтому мы особо подчеркнули структурное и перспективное богатство этого понятия и его открытость эволюционным изменениям. В дополнение к этому – для более конкретного анализа – нам теперь требуется еще и понятие *форм дифференциации*.

О “форме” мы и здесь говорим в смысле, введенном в первой книге*. Форма есть различие, разделяющее две области. Само понятие *системы* обозначает различие между системой и окружающим миром. О форме дифференциации мы будем говорить, когда речь идет о том, как в общей системе упорядочиваются отношения частных систем друг к другу. Итак, в первую очередь мы должны еще раз отличить отношения *система/окружающий мир* от отношений *система/система*. В отношениях между системой и окружающим миром системы, т. е. в каждом случае внутренняя сторона формы “система”, противостоят некоему “unmarked space” (Спенсер Браун), которого невозможно достичь из системы и обозначить (разве что как “бес-содержательное”). Ссылка на “окружающий мир” ничего не добавляет к системным операциям. “Окружающий мир” не несет себе никакой информации. Он – лишь пустой коррелят самореференции. Зато если речь идет об отношениях *система/*

система, в окружающем мире всплывают единства, способные получать обозначения. Система и здесь не может *оперативно* переступить через собственные границы (так как в противном случае ей пришлось бы работать во окружающем мире), но она может наблюдать, т. е. обозначать, какие конкретные положения вещей в окружающем мире (здесь: другие системы) релевантны для нее специфическим образом. В отношениях *система/окружающий мир* система работает *универсально*, т. е. принимает форму рассечения мира (Schnitt durch die Welt). В отношениях же *система/система* она работает *специфично*, т. е. через определенные контингентные способы наблюдения.

Понятие *формы дифференциации* касается последнего случая. Т. е. оно относится не к способу, каким при взгляде из системы воспроизводится мир, или же при взгляде из частной системы реконструируется общая система. Понятие *формы дифференциации* не обозначает ни частной, ни общей системы, когда речь идет о ретотализации системы в самой себе. Но оно относится к очень похожему положению вещей (и как раз поэтому в различениях важна точность).

Тем самым о *форме* системной дифференциации мы говорим в случаях, когда из частной системы можно узнать, чем является какая-либо другая частная система, а частная система определяется посредством этого различия. Итак, форма дифференциации является не только разделом охватывающей системы; скорее, это форма, с помощью которой частные системы могут наблюдать самих себя в качестве частных систем – как тот или иной клан, как дворянство, как хозяйственная система общества. И при этом таким образом сформированное (различенное) различие в то же время выступает как единство охватывающей системы общества, которую тогда не следует наблюдать изолированно. Но как тогда избежать произвольного характера другой стороны, т. е. всего того, что существует помимо отличенных случаев? Как дело доходит до определмости других частных систем с помощью различения, какое, со своей стороны, вводится и в остальной наличествующий мир: аристократию и народ, политику и экономику?

И распознавание того, как это происходит, требует обращения к дифференцированной общественной системе, которая гарантирует единство различения, разделяющего частные системы, и сама осуществляется при этих структурных характеристиках. Отношения между частными системами имеют некую форму, если общая система устанавливает, как эти частные системы упорядочены. Из теории системной дифференциации невозможно вывести, что должно существовать такое установление формы; и тем более невозможно вывести, что для такой функции всякий раз предусмотрена лишь одна-единственная форма. Но может быть и – как мы покажем – совершенно регулярно происходит, что такие формы обнаруживаются для того, чтобы упорядочить отношения дифференциации одинаково для всех частных систем. Совокупность внутренних отношений *система/внешний мир*, посредством которой общество умножает само себя, была бы для этого чересчур сложной. Определение формы отношений систем друг к другу является упрощенным вариантом этого, впоследствии служащим в качестве структуры общей системы и таким образом ориентирующим коммуникацию.

Будучи не в силах утверждать и обосновывать, что в каждой общественной системе должна существовать господствующая форма дифференциации, мы все-таки видим в такой форме важнейшую общественную структуру, которая, если она утверждает себя, определяет возможности эволюции системы и оказывает влияние на образование норм, дальнейших дифференциаций, самоописаний системы и т. д. Значение форм дифференциации для эволюции общества определяется двумя взаимозависимыми условиями. Согласно первому, что в рамках господствующих форм дифференциации имеются ограниченные возможности развития. Так, в сегментарных обществах “над” домашними хозяйствами и семьями могут надстраиваться более крупные, но опять-таки сегментарные единицы, например, племена; или же в стратификационно дифференцированных обществах – в пределах основного различия между аристократией и простым народом – возникают дальнейшие ранго-

вые иерархии. Такие возможности роста, однако же, наталкиваются чуть ли не на (возникает соблазн сказать) органические преграды. И тогда дальнейшая эволюция становится невозможной или же она требует перехода к другой форме дифференциации. Не бывает, чтобы частная система в рамках одной формы дифференциации заменялась частной системой, относящейся к другой форме дифференциации; ведь это разрушило бы форму, т. е. маркированность дифференциации. Семейное домашнее хозяйство при сегментарных укладах может приобретать особую и даже наследственную важность (например, когда речь идет о семьях жрецов или вождей), но не может заменяться аристократией, так как это потребовало бы перехода от экзогамии к эндогамии, т. е. порядков совершенно иной величины. И точно так же аристократия не может заменяться государством или наукой, как частными системами функционально дифференцированного общества. В таких переломных местах эволюция требует своеобразной латентной подготовки и возникновения новых порядков в рамках старых, пока они не созреют, чтобы проявиться в качестве господствующей общественной формации и отнять у старого порядка его убедительность. Не в последнюю очередь это означает, что чересполосица многих форм дифференциации типична, и даже прямо-таки необходима для эволюции, если даже до впечатляющих изменений типов дело доходит лишь при смене господствующих форм.

О примате одной формы дифференциации (хотя и это не системная необходимость) речь должна идти тогда, когда можно констатировать, что эта форма регулирует возможности применения других. В этом смысле аристократические общества дифференцированы, в первую очередь, стратификационным образом, но они сохраняют сегментарную дифференциацию в домашних хозяйствах или семействах, чтобы предоставлять возможность эндогамии для аристократии и быть в состоянии отличать аристократические семьи от прочих. При функциональной дифференциации даже по сей день стратификация встречается в форме социальных классов, а также различий между центром и периферией, но теперь это побочные продукты соб-

ственной динамики функциональных систем.¹

В истории общества до сих пор существовало лишь несколько форм дифференциации. Очевидно, и здесь действует некий "закон ограниченных возможностей"², даже если не удастся построить их логически замкнутыми (например, с помощью перекрестной таблицы). Если даже мы отвлечемся от того, что наиболее ранние общества предположительно ориентировались лишь на естественные половозрастные различия, а в остальном жили стадами, то можно проследить четыре различных формы дифференциации, а именно:

(1) *Сегментарная дифференциация при равенстве* частных общественных систем, которые различаются либо на основе происхождения, либо на основе территории проживания или при сочетании обоих критериев.

(2) *Дифференциация на центр и периферию*. Здесь допускается случай *неравенства*, к тому же выходящий за рамки принципа сегментации, т. е. предусматривающий множество сегментов (домашних хозяйств) по обе стороны новой формы. (Этот случай пока не реализуется, но в известной степени подготавливается, когда в пределах родовой структуры возникают центры, где могут жить только знатные семьи, например, "strongholds"* шотландских кланов).

(3) *Стратификационная дифференциация* с точки зрения *рангового неравенства* частных систем. Основная структура этой формы также содержится в различении двух частных систем, а именно - знати и простого народа. Однако же в этой форме стратификационная дифференциация относительно нестабильна, так как легко обратима.³ Сколь бы искусственными ни были стабильные иерархии, такие, как индийская кастовая система или позднесредневековый сословный строй, они образуют, по меньшей мере, три уровня, создавая впечатление стабильности.

(4) *Функциональная дифференциация* с точки зрения *как неравенства, так и равенства* частных систем. Функциональные системы равны в своем неравенстве. Здесь осуществлен отказ от всех необоснованных предложений создать объединяющие

все общество связи между частными системами. Теперь не существует одного-единственного неравенства (как в случае с центром и периферией) и тотальной общественной формы для транзитивного реляционирования всех неравенств при избегании циркулярных обратных воздействий. Как раз последние теперь совершенно типичны и нормальны.

Каталог форм строится с помощью различения равного и неравного. Это различие подходит только к сравнимому, т. е. лишь к системам, но не к отношениям между системой и окружающим миром (так как нет ни малейшего смысла обозначать окружающий мир по отношению к системе как "неравный"). Как раз поэтому нам следовало бы ограничить теорию форм дифференциации отношениями *система/система*.

Легко заметить, что теоретического обоснования для этого каталога не существует. К тому же, мы не можем с необходимостью исключить того, что в дальнейшем ходе эволюции будут образовываться другие формы. Но мы можем однозначно выяснить, что эволюционирующие общества находят лишь немного стабильных форм системной дифференциации и тяготеют к тому, чтобы отдавать первенство однажды уже зарекомендовавшей себя форме. Это можно обосновать тем, что рекурсивные методы (здесь: приложение процесса образования системы к результату образования системы) склонны к формированию "собственных состояний".⁴ То, насколько это удалось, и то, как много этих собственных состояний можно обнаружить, нельзя ни дедуцировать теоретически, ни дать эмпирический прогноз. Это необходимо испробовать опытным путем, что как раз и проделала общественная эволюция. Если определенные системные связи уже наличествуют, то их дальнейшее расширение вероятнее, нежели переход к другой форме дифференциации. Рядом с имеющимися поселениями, вероятно, возникнет еще одно поселение, а не усадьба аристократов или почтовое отделение. Такое рассуждение, по крайней мере, делает правдоподобным тот факт, что эволюция при наличии таких проблем подсоединения и совместимости будет тяготеть к расширению уже найденных образцов, которые впоследствии сами по себе

отрегулируют шансы других форм дифференциации. Поэтому можно еще и спросить: при каких условиях общество допускает *реконструкцию собственного единства через внутреннее различие*? И можно предположить, что решающими здесь являются: сквозная применимость соответствующего различения во всех системных перспективах, возможности редукции связанной с этим сложности, но, разумеется, и - когда речь идет о новом, эмерджентном различии - удовлетворительность пригодных для этого прежде развившихся структур.

Кроме того, из нашего каталога форм явствует, что эволюция общества не может избирать какие угодно последовательности. Нельзя исключать возможностей регрессивного развития (например, возвращения к племенной жизни центральноамериканских и южноамериканских высоких культур после испанского завоевания). И все-таки в любом случае скачкообразный переход от сегментарных к функционально дифференцированным обществам невозможен.⁵ В связи с такими условиями возникновения создается впечатление последовательности эпох - от архаически-родовых обществ через высокие культуры к обществу эпохи модерна.⁶ В европейской ретроспективе это может считаться правдоподобной реконструкцией, но мы увидим, к каким серьезным упрощениям приходится прибегать, чтобы получить подобное описание.

То, что названные типы не образуют линейной последовательности, проистекает уже из того, что с самого начала эпохи высоких культур во всем мире реализовывались и знали друг о друге различные формы дифференциации. Так, кочевые народы на Севере Китая знали о Китайской империи - и наоборот. Родовые структуры Черной Африки уже задолго до колонизации находились под исламским влиянием. Если отвлечься от немногих, лишь недавно открытых исключений, то вряд ли можно найти общества, возникшие совершенно автохтонно. Несмотря на это необходимо иметь в виду различные формы Дифференциации, чтобы распознавать их в границах их возможностей. Тем самым мы заменяем слишком уж простой (и без ТРУДа опровергаемый) тезис об усилении дифференциации на

тезис об изменении форм дифференциации, которое при подходящих возможностях ведет к усложняющимся формам (в особенности - со "встроенными" неравенствами), совместимым с усилением дифференциации - но при этом сюда примешиваются и структурные раздифференциации, которые, следовательно, никоим образом и ни в каких отношениях не приводят к большей дифференциации. (Применительно к такому развитию достаточно вспомнить хотя бы об упразднении ролей и терминологий родства). Такое развитие повышает сложность общественной системы. Оно делает возможным большее количество более разнообразных коммуникаций в той мере, в какой основную роль по интеграции системы начинают играть всё более невероятные формы дифференциации. Соответственно - должны быть заданы или получены дополнительное развитие эволюционные достижения, которые могут редуцировать чрезмерную сложность: возьмем - называя лишь несколько примеров - письменность, систему финансовых отношений, бюрократическую организацию. Одновременно вместе с соответствующими утратами опыта растут внутренние дистанции. Ибо если в сегментарных обществах каждый, сидя дома, может составить себе представление о том, как идут дела в других местах, то эта возможность утрачивается, если общество воспроизводится, ориентируясь на внутренние неравенства. Соответственно повышается внутренняя потребность в информации. Иными словами - структурные ограничения уменьшаются ради того, чтобы добиться большей сложности с тем последствием, что возникают непрозрачности, потребность в толковании, а также самоописания системы - но это не позволяет вернуть прежние самопонятности.

Формы требуют своей дани, требуют учитывания структурных ограничений для того, что совместимо под их эгидой. В то же время в качестве условий стабильности они способствуют обнаружению дестабилизирующих тенденций - например, формированию богатства, выходящего за пределы предопределенных ограничений. Как правило, для подавления отклонений развивается нормативный аппарат. Отклонения могут прояв-

ляться только в форме бросающегося в глаза, ненормального, неспособного к консенсусу, религиозно и морально проблематичного. Но это ненадежный механизм воспрепятствования. При исключительных обстоятельствах дестабилизирующие факторы могут становиться до такой степени нормальными, что начинает вырисовываться новая форма стабильности и из более ранней формы дифференциации происходит новая. В теории систем такую смену формы стабильности системы называют еще и *катастрофой*.

Далее: такой каталог форм может подтверждать тезис о том, что видоизмененные и более претенциозные формы системной дифференциации ведут к более ярко выраженной дифференциации общественной системы. Первая дифференциация опирается на заданные природой половозрастные различия и при этом экспериментирует с другими возможностями - например, с образованием семьи на основе первоочередной потребности: обеспечить детей родителями. Тогда у единиц сегментарной дифференциации уже нет точного эквивалента во внешнем мире - даже если можно классифицировать поселки, деревни, поля и т. д. По мере того, как внутренняя дифференциация перестраивается с равной на неравную, возрастают внутренним образом порождаемое бремя контроля и возможных последствий, а соотношенная с этим коммуникация тем более вынуждает общество отличаться от своего внешнего мира. Когда зависимости от внешнего мира ослабляются или начинают зависеть от внутренних диспозиций, все больше разнообразной активности прилагается к другим активностям той же самой системы.⁷ Стратифицированные общества чтят свой специфический человеческий строй, отгораживаются от мира зверей и первобытных людей, однако же в основу этого различия кладут пока еще религиозно-космологически обоснованный смысловой континуум. Впоследствии функционально дифференцированному обществу модерна пришлось от этого отказаться, с тем результатом, что оно больше не может идентифицироваться ни с регионами, ни с конкретными, телесно и ментально существующими людьми. Максимум внутреннего неравенства и автоно-

мии частных систем в то же время обуславливает максимум несходства между обществом и окружающим миром. Теперь в этом может нас убедить лишь пока еще отчетливая и недоступная для действий граница между системой и окружающим миром. Люди начинают постепенно осознавать, что это вовсе не означает обретения обществом независимости от своего окружающего мира, все большего “овладевания” последним.

Судя по всему этому, формы дифференциации являются формами интеграции общества. Общество интегрируется не благодаря какой-то заповеди единства, не через переформулирование своего единства в качестве постулата, но в форме воспроизводства своего единства как различия. Следовательно, господствующая в то или иное время форма дифференциации определяет еще и то, как можно рассматривать единство общества в обществе и какие ограничения степеней свободы следуют отсюда для отдельных частных систем. Если – исходя из классического понятия *интеграции* – общество модерна описывалось как дезинтегрированное, потому что оно больше не может внутренним образом договориться на основе какой бы то ни было содержательной концепции единства, то предложенное здесь понятийное образование ставит противоположный диагноз. Общество модерна оказывается сверхинтегрированным и поэтому подвергается опасности. А именно: в аутопойезисе своих функциональных систем оно достигло беспримерной стабильности; ведь происходит все, что гармонирует с этим аутопойезисом. В то же время, однако, это общество подвергается такой самоирритации, как ни одно общество прежде. Множество структурных и оперативных сопряжений заботятся о взаимной ирритации частных систем, а общая система (в силу своей формы функциональной дифференциации), отказываясь от этого, должна вмешиваться в их процессирование регулятивным образом.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. II:

- * См. Луман, Никлас. Общество как социальная система (Общество общества, кн. 1). М., Логос, 2004.

- 1 Если пренебрегать этим вопросом о примате форм дифференциации, то дело доходит до переоценки исторической преемственности проблем, являющихся следствием определенных типов; в наше время так происходит в анализах так называемой миросистемы в связи с различием между центром и периферией. См., например, Christopher Chase-Dunn, *Global Formation: Structures of the World-economy*, Oxford 1989, особо р. 201 ff., а также Christopher Chase-Dunn/Thomas D. Hall (ed.), *Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds*, Boulder Cal. 1991 и, прежде всего, работы Иммануила Валлерстайна.
- * strongholds (англ.): крепости, замки – прим. пер.
- 2 Как его интерпретирует Гольденвайзер. См. Alexander Goldenweiser, *The Principle of Limited Possibilities in the Development of Culture*, *Journal of American Folk-Lore* 26 (1913), p. 259-290.
- 3 В этой связи можно напомнить о Марксовом фокусе с “двумя классами” – при пренебрежении всеми не укладывающимися в схему прослойками, например, мелкой буржуазией или чиновничеством.
- 4 См. Heinz von Foerster, *Observing Systems*, Seaside Cal. 1981, особенно статья: *Objects: Tokens for (Eigen-) Behaviors*, p. 274-285.
- 5 Это можно проверить на трудностях, с какими сталкиваются родовые общества (с этнической дифференциацией или без нее), когда мировое общество вынуждает их к образованию государств: назовем в качестве примеров Сомали и Афганистан.
- 6 Аналогичные ряды мы находим и под другими названиями – например: *первобытные общества/традиционные общества/индустриальные общества* в отношении к организации труда в: Stanley H. Udy, Jr., *Work in Traditional and Modern Society*, Englewood Cliffs, N. J. 1970. См. также Eric R. Wolf, *Europe and the People Without History*, Berkeley 1982.
- 7 Время от времени это описывалось как возрастающая “изоляция” общественной системы. См., например: Colin Renfrew, *The Emergence of Civilization: The Cyclades and the Aegean in the Third Millennium B. C.*, London 1972, особо р. 12 ff.

III. ИНКЛЮЗИЯ И ЭКСКЛЮЗИЯ

В связи с распространенным скепсисом в отношении широты охвата теории систем Дэвид Локвуд предложил различать между *системной интеграцией* и *социальной интеграцией*.¹ В первом случае речь идет о внутренней сплоченности дифференцированных систем, во втором – о соотношении между психическими системами (индивидами) и социальными системами. Это различие, конечно, является обоснованным, но в данной форме оно ведет не слишком далеко. Оно обращает наше внимание на то, что системы различаются – и ничего более.

Мы перевели тему системной интеграции в русло различия между формами системной дифференциации, которые всякий раз контролируют то, как частные системы отсылают друг к другу и друг от друга зависят. Тему социальной интеграции мы заменим различием *инклюзия/экслюзия*. При этом, как и прежде, основой остается системная референция “общество”. Следовательно, речь идет не о доступе к интеракциям или организациям.²

Здесь также можно найти точку сопряжения с социологической традицией. Так, Парсонс, используя анализы, предложенные Т. Х. Маршаллом для разработки прав гражданства³, сформулировал общее понятие *инклюзии*. Формально оно звучит так: “This refers to the pattern of action in question, or complex of such patterns, and the individuals and/or groups who act in accord with that pattern coming to be accepted in a status of more or less full membership in a wider solidary social system”.⁴ Парсонса интересует преимущественно эволюционный процесс замены инклюзий на всё большие и усложняющиеся единства, которые он понимает как требование эволюционно усиливающейся дифференциации.⁵ Условия инклюзии видоизменяются вместе с общественной дифференциацией. В обществах модерна они должны предоставлять больше возможностей, чем в традиционных, и их уже невозможно упорядочить иерархически, т. е.

III. Инклюзия и экслюзия

линейно. В соответствии с этим дела выглядят так, что растущая сложность общества (у Парсонса – следствие революций: политической, индустриальной и педагогической) нарушает классически строгие образцы инклюзии и все сильнее индивидуализирует инклюзии.

При этом возникает впечатление, будто общество предоставляет всем людям возможности для инклюзии, и вопрос состоит лишь в том, как они обуславливаются и какие результаты приносят. Это означает: с каким признанием и успехом встречаются равенство (для всех) и неравенство.⁶ Тем самым самооценка общества модерна дополнительно осуществляется по схеме *равный/неравный*. Однако же, разработанность понятия “инклюзия” оставляет желать лучшего. Прежде всего, у Парсонса – как обычно в его теории – недостаточно учтены случаи, противоречащие его категориям. Поэтому мы формулируем эту проблему, различая *инклюзию* и *экслюзию*.

В соответствии с этим инклюзию следует понимать как форму, внутренняя (инклюзивная) сторона которой характеризуется как шанс на социальное признание лиц (*Berücksichtigung der Personen*)⁷, а внешняя сторона остается немаркированной. Итак, инклюзия существует лишь тогда, когда возможна экслюзия. Только существование неинтегрируемых лиц или групп высвечивает социальную сплоченность и делает возможным специфицировать условия для нее.⁸ Но в той мере, в какой условия инклюзии специфицируются в качестве формы социального порядка, можно назвать и противоположность, исключенное. И тогда – в качестве контрструктуры – экслюзия выражает смысл и обоснование формы социального порядка. Наиболее отчетливый пример этому образуют “неприкасаемые” из индийской кастовой иерархии. Речь идет не об особой касте, т. е. не о пролетариях, которые не производят ничего, кроме потомства, – и не о нижнем социальном слое, который подлежит лишь эксплуатации. Скорее, неприкасаемые образуют символический коррелят для построения порядка инклюзии через заповеди и ритуалы чистоты. Поэтому не обязательно вести речь о большой в числовом отношении группе; достаточными являются

такие размеры этих групп, которые бы гарантировали повсеместное присутствие исключенного и показывающие, насколько необходимы заповеди чистоты.

Сколь бы по-разному ни институционализировалась форма *инклюзия/экслюзия* в различных исторических и культурных контекстах, а затем ни ощущалась как нормальная – в любом случае и здесь следует иметь в виду общие предпосылки нашей теории оперативно замкнутых систем. Поэтому *инклюзия* не может означать, что части, процессы или отдельные операции одной системы протекают в другой системе. Скорее, имеется в виду, что общественная система предусматривает индивидуальные лица и указывает им места, в пределах которых они могут действовать, дополняя ожидания друг к другу; чуть романтически можно сказать и так: могут уютно чувствовать себя в качестве индивидов.

Парсонс считает социокультурную эволюцию усилением “adaptive upgrading, differentiation, inclusion and value generalization”.⁹ Не желая оспаривать идеи такого рода, мы заменяем слишком линейную концепцию вопросом о том, как переменная *инклюзия/экслюзия* связана с системной дифференциацией общества. С этой точки зрения, правила дифференциации представляют собой правила повторения различий между *экслюзией* и *инклюзией* в пределах общества; но в то же время и формы, которые предполагают, что мы причастны к самой дифференциации и ее правилам *инклюзии*, а к тому же не исключаемся ими.

В сегментарных обществах *инклюзия* определяется принадлежностью к одному из сегментов. Вне социальных связей существовали ограниченные возможности мобильности индивидов, но у них практически не было шансов на выживание.¹⁰ Следовательно, *инклюзия* была сегментарно дифференцированной и с большей или меньшей эффективностью не исключала *экслюзии*. В стратифицированных же обществах регулирование *инклюзии* переносится на социальное расслоение. Социальный статус определяется слоем, к которому человек принадлежит. Тем самым *инклюзия* дифференцируется. Зато регули-

рование посредством *инклюзии/экслюзии*, как прежде, осуществляется на сегментарном уровне. Оно обязательно для семейств или (в случае с категориями зависимых) для семейных хозяйств. Соответственно, благодаря рождению или признанию за своего можно было оказываться внутри той или иной социальной структуры. К *экслюзии* могла приводить, например, экономическая нужда или неудачный брак. Существовало много нищих. Кроме того, в зависимости от конкретной ситуации, монастыри, “позорные” профессии¹¹ или торговый и военный флот могли набирать свой персонал из исключенных лиц. Их “приемниками” оказались пиратские корабли центрально-американского островного мира. Уже в Средние Века, а тем более в эпоху раннего Нового времени можно говорить о значительном количестве подобных исключенных лиц.¹² Область *экслюзии* следует распознавать, в первую очередь, по прерыванию ожиданий взаимности. Солидарность с исключенными могла достигаться лишь искусственно, а именно – благодаря исполнению религиозных обязанностей и для улучшения шансов на спасение души; и наоборот, у исключенных формировалась мотивация ко всевозможным фокусам и обманам, наблюдение за которыми входит в литературу о симуляции и ее раскрытии и выражается в распространившемся с началом книгопечатания недоверии по отношению к чистой видимости.¹³ В первую очередь, это могло лишь усиливать впечатление, будто люди без сословия и без дисциплины, без господина и без дома представляют опасность для общества. Отсюда в начале Нового времени возникла практически неразрешимая политическая проблема городов и территориальных государств. Как известно, на это пытались реагировать организацией труда. Однако же основной образец здесь сохранялся: системная дифференциация заботилась о различиях в области *инклюзии*. Что не было ею охвачено, оставалось недифференцированным остатком.

Этот уклад при всех его проблемах все-таки оставляет впечатление, что социальная дифференциация семей по слоям контролирует ситуацию. Даже эксплицитное или само собой возникающее распределение лиц без семьи или без семейного хо-

зайства по позициям приемных родственников, тем не менее, упорядочивается в соответствии с расслоением, а религиозное или связанное с организацией труда толкование этого заботится о том, чтобы социальный порядок не ставился под сомнение ввиду его эксклюзивных эффектов. Однако же если в простых родовых обществах в случаях эксклюзии – посредством изгнания или предания смерти – могли пресекаться всяческие контакты, то в высоких культурах, вместе с образованием городов и господством знати этого уже не происходит. Различие *инклюзия/эксклюзия* теперь воспроизводится *внутри общества*. Ради социальной сплоченности становятся обязательными оседлость, регулярная интеракция для образования надежных ожиданий, но даже это требует эксклюзий, которых люди не могут игнорировать в обществе и не могут полностью исключить из маргинальной коммуникации. Люди из этой сферы отчасти рекрутируются в общество; отчасти, странствия, кочевничество, бродяжничество сплошь и рядом выполняют социальные функции и уже не могут *eo ipso* служить индикатором эксклюзии. Странствующие подмастерья к сфере эксклюзии не относятся, но увеличивают рынок труда при большей дифференциации профессий и цехов. Наряду с этим и в области эксклюзии усиливается категориальное многообразие.

В добавление к регуляторам *инклюзии/эксклюзии*, укорененным в системе стратифицированных домохозяйств, с начала христианизации Римской империи возникает и имперско-правовой механизм эксклюзии на религиозных основаниях. Во вводных положениях Кодекса Юстиниана (С. I. II.) точно устанавливается, кто достоин имени «христианина-католика». Все еретики считались безумными и неразумными, и им приписывалось бесславие (*infamia*). Хотя закон и наделяет Бога преимущественным правом в обращении с ними (*divina primum indicta*), но поскольку это, по-видимому, функционирует с недостаточной надежностью, требуется дополнительное урегулирование средствами имперского права (*post etiam motus nostri, quem ex caelesti arbitrio sumpserimus, ultione plectendos*). После распада имперской власти, сама обладающая разветвленной юридичес-

кой организацией церковь берет на себя право принимать решения об отлучении с отягчающими последствиями для мирской жизни. И тогда религиозная эксклюзия, которой легко избежать при нормальном образе жизни, образует рамочные условия, при которых практически действующая внутриобщественная *инклюзия/эксклюзия* может быть трактована с христианской точки зрения.

Переход к функциональной дифференциации использует внутриобщественную релевантность различия *инклюзия/эксклюзия* вместе с разработанными различиями в сферах неоседлой жизни; но он ведет гораздо дальше и пробуждает изменения, масштабы которых становятся очевидными лишь сегодня. Как и при всякой форме дифференциации, регулирование инклюзии передается частным системам. Однако же теперь это означает, что конкретные индивиды больше не поддаются конкретной локализации по разным системам. Они должны участвовать во всех функциональных системах в зависимости от того, в какой функциональной области и посредством какого кода осуществляется коммуникация между ними. Уже одно толкование определенных коммуникаций, уже сам тот факт, что речь идет о платежах, или что есть возможность повлиять на какое-то решение в государственных ведомствах, или что рассматривается вопрос о том, чем в определенных случаях является право, а чем – его отсутствие, задает условия коммуникации в каждой из функциональных систем. Индивиды должны быть в состоянии участвовать во всех этих коммуникациях и соответственно время от времени менять точки сопряжения с функциональными системами. Следовательно, общество уже не придает им такого социального статуса, который в то же время определял бы, кем “является” индивид по происхождению и качеству. Общество делает инклюзию зависимой от высокодифференцированных шансов на коммуникацию, которые больше не могут гарантированно и, прежде всего, неизменно во времени координироваться между собой. В принципе, чтобы участвовать в хозяйственной жизни, каждый должен быть правоспособным и располагать достаточным денежным доходом. Каж-

дый должен реагировать на свой политический опыт участием в политических выборах. Каждый – в зависимости от своих успехов – заканчивает, по меньшей мере, среднюю школу. Каждый притязает на минимум социальных услуг, медицинское обслуживание и ритуальное погребение. Каждый может вступить в брак, не будучи зависимым от разрешений. Каждый может выбирать себе какую-либо религиозную веру или отказываться от нее. Если же кто-либо не использует своих шансов по участию в инклюзии, то ему это индивидуально вменяется в вину. Тем самым современное общество – во всяком случае, принципиально – избавляет себя от того, чтобы воспринимать в качестве феномена социальной структуры другую сторону формы, эксклюзию.

Если в соответствии с этим, инклюзия без эксклюзии понимается как инклюзия “человека вообще” в “общество как такое”, то это требует тоталитарной логики, замещающей старую логику разделения на роды и виды (как то, на *греков* и *варваров*).¹⁴ Тоталитарная логика требует, чтобы ее противоположность была искоренена. Она требует установления единообразия. Лишь теперь все люди должны становиться людьми, надеяться правами человека и приобретать шансы. Такая тоталитарная логика вроде бы сводится к логике времени. Невозможно игнорировать различия в жизненных условиях, но в качестве проблемы они соотносятся со временем. С одной стороны, мы надеемся на диалектическое развитие, при случае – при добавочной помощи со стороны революции; с другой стороны, мы беспокоимся о росте, предполагая, что количественное увеличение может способствовать лучшему распределению; или же мы усиливаем беспокойство о “помощи в развитии” или о “социальной помощи”, чтобы обеспечить отстающим возможность наверстать упущенное. В рамках тоталитарной логики инклюзии эксклюзия проявляется в качестве “остаточной” проблемы, категоризация которой не ставит под сомнение тоталитарную логику.¹⁵

Новый порядок инклюзии приводит к драматическим изменениям в самопонимании индивидов. В прежнем мире инклю-

зия конкретизировалась благодаря социальной позиции, нормативные параметры которой лишь впоследствии предоставляли возможность более или менее соответствовать ожиданиям. Никто не попадал в ситуации, где требовалось еще объяснить, кто он такой. В высшем слое общества достаточным было назвать имя, в нижних слоях люди были известны по местам, где жили. Подобающий образ жизни мог представлять собой проблему, и в этом отношении, пожалуй, каждый должен был исповедоваться. Но это становилось известным – не в последнюю очередь, благодаря публичному институту исповеди. Во всяком случае, не приходилось считаться с ситуациями, в каких само существование основывалось на видимости. Тематизация видимости, симулируемых качеств и лицемерия (*hypocrisy*) происходит только в XVI и особенно в XVII в., получив стимуляцию (в литературе) от театра, с помощью рынка, пронизывающего все хозяйство, и механизмов карьеры, основанных на придворном централизме. Начиная с эпохи “Дон-Кихота”, над возникающей отсюда ситуацией начинает рефлектировать роман. Индивид проводит жизнь в соответствии со своим чтением. Он достигает инклюзии, копируя прочитанное.¹⁶

Сегодня, скорее, типичны ситуации, когда приходится объяснять, кто мы такие; в этих ситуациях необходимо посылать тестовые сигналы, чтобы увидеть, насколько другие способны правильно оценивать, с кем им предстоит иметь дело. Поэтому человек нуждается в “образовании” или в сигналах, указывающих на способности, какими он располагает. Поэтому “идентичность” и “самореализация” становятся проблемой. Поэтому в литературе телесно-психическое существование отличается от “социальной идентичности”. Поэтому никто не может, собственно говоря, *знать*, кто он такой, но должен обнаружить, встречают ли его собственные проекции признание. И поэтому мы ищем и ценим социальные отношения интимности, в которых нас знают и принимают со всеми нашими склонностями и слабостями.

К соответствующим этому изменениям в семантике, занимающейся положением индивида в обществе, мы вернемся в

книге V. Здесь же следует лишь отметить, что семантика, эта как бы официальная память общества, в которой тематизируются условия инклюзии и в любом случае предлагаются примеры эксклюзии в качестве предупреждающих, все-таки не описывает их с соответствующей тщательностью как часть общественной действительности. Данное обстоятельство проявляется даже сегодня в бросающемся в глаза пренебрежении к указанному различению *инклюзия/эксклюзия* в социологической теории.

При старом порядке человек рассматривается как социальное существо, а “privatus”, следовательно, как “inordinatus”, т. е. как принадлежащий к сфере эксклюзии. В качестве человека (или, во всяком случае, христианина) он имеет душу и, в отличие от остальных живых существ, наделен разумом. Таковы атрибуты, которые выходят за рамки всевозможных дифференциаций, и они помогают человеку распознавать его социальный статус как природу, определяемую рождением, а кроме того, позволяют ему надеяться на компенсаторную справедливость на том свете. В первую половину XVIII в. эта семантика заменяется функционально ей эквивалентной метафизикой счастья.¹⁷ Тем самым общественная инклюзия, невзирая на все дифференциации при ее реализации, заранее гарантируется творением и природой. И поскольку дела обстоят так благодаря природе человека, то можно выдвигать и соответствующие требования. При этом индивид не может отговориться, что он не в состоянии этого сделать.

Функция семантики инклюзии еще в XVIII в. подхватывается постулатом о правах человека. “Главный удар” направлен против старых дифференциаций, и одновременно в нем обобщаются условия инклюзии всех функциональных систем, т. е. опять-таки представлен нейтральный по отношению к различиям “человеческий” принцип. Итак, свобода и равенство теперь обоснованы тем, что все ограничения и неравенства устанавливаются только через коды и программы отдельных функциональных систем, и для этого больше не существует директив в масштабе всего общества¹⁸; и, пожалуй, также тем, что

никто не может сказать другому заранее, отчего его поступок, в конечном счете, является благим. Здесь тоже эксклюзия, другая сторона формы, оказывается непроясненной. Если следовать идеологии прав человека, то единственная проблема эпохи модерна как будто бы состоит в том, что эти права пока еще недостаточно реализованы, и прежде всего, реализованы не на всем земном шаре. Но тяжесть жизненных условий в исправительных и работных домах XVIII в., стремительное ужесточение уголовного законодательства и смертной казни своеобразно контрастирует с умонастроением просветителей и моралистов. И тогда отчетливо заметно, что это сочетание крайностей может быть лишь переходным решением.

Одновременно осуществляется расцепление оснований эксклюзии и нормативной семантики. Ни религиозные ереси, ни правонарушения, ни прочие отклонения не приводят теперь к исключению из общества. Общество поручает эту проблему самому себе. XVIII и XIX века еще знают смешанные решения: увеличивается список уголовно-наказуемых деяний и разрабатывается диагностика патологий, преступников же умерщвляют и ссылают.¹⁹ Тенденция, однако же, состоит в рассмотрении отклонения от нормы – в связи с возрастающим значением критериев для легитимации – как внутриобщественной проблемы, но прежде всего, как проблемы, подлежащей терапии и контролю над последствиями; а эксклюзию – как нормативно не оправданного факта.

Заслуживающее внимания исключение из этого сплошного отсутствия рефлексии над эксклюзией имеет место в кальвинизме и в примыкающей к нему расовой идеологии Южной Африки.²⁰ В мировом масштабе эти представления ощущаются как устарелые – как по религиозным, так и по политическим коннотациям, и под давлением постулатов о правах человека от них теперь отказались. Но тем самым проблема эксклюзии оказалась скорее замаскированной, чем решенной. Разумеется, ее уже невозможно *формулировать* в виде изначального различия между оправданным и проклятым. Но то, что она характерна и для общества Нового времени – и как раз для него – едва ли

можно оспорить. В этом может убедить любой непредвзятый взгляд на регионы мирового сообщества, которые эвфемистически называют *развивающимися странами*; и касается это – как показывает случай с Бразилией – даже стран с далеко шагнувшей индустриализацией.

Идеализация постулата о полной инклюзии всех людей в общество маскирует серьезные проблемы. Благодаря функциональной дифференциации общественной системы регулирование отношений между инклюзией и эксклюзией переносится на функциональные системы, и уже не существует центральной инстанции (с какой бы охотой политика не рассматривала бы себя в такой функции), которая надзирала бы за частными системами в этом отношении. Есть ли деньги в распоряжении индивида и сколько их – решается в хозяйственной системе. Какие правовые требования и с какими шансами на успех можно выдвигать – дело правовой системы. Что считать произведением искусства – решается в системе искусства, а система религии выдвигает условия, при каких индивид может понимать себя в качестве религиозного. Что находится в распоряжении индивида в качестве научного знания и в каких формах (например, в форме таблеток) – является результатом программ и успехов научной системы. Поскольку участие возможно при всех этих обстоятельствах, мы можем предаваться иллюзии такого состояния инклюзии, которое не было достигнуто никогда прежде. Однако же фактически это не только вопрос “больше” или “меньше” и не только вопрос неизбежных разногласий между ожиданиями и реальностями. Скорее, на обочинах систем образуются эффекты эксклюзии, ведущие на этом уровне к негативной интеграции общества. Ведь фактическое исключение из какой-либо функциональной системы – безработица и отсутствие денежных доходов, отсутствие документов, отсутствие стабильных интимных отношений, отсутствие доступа к договорам и к судебной-правовой защите, невозможность отличить политические избирательные кампании от карнавальных мероприятий, безграмотность, недостаточное медицинское обслуживание и питание – ограничивает то, что достижимо в других

системах, и определяет большие или меньшие части населения, которые впоследствии зачастую изолируются и в смысле обитания, и тем самым исчезают из видимости.

Социологи, как правило, стремятся к тому, чтобы определить эту проблему эксклюзии больших и даже преобладающих долей населения из участия в функциональных системах, как проблему классового господства или социального расслоения. Тем самым они не отклоняются от обычного для них направления предвзятости. Но и это, как и семантика прав человека, уменьшает нашу проблему и в конечном счете сводится к бесконечной жалобе без адресата. У расслоения были собственные механизмы инклюзии и эксклюзии, и при весьма далеко идущей и общепринятой – если даже и иной – инклюзии они могли позаботиться о маргинализации проблемы эксклюзии, которая всегда вращалась вокруг бездомных, нищих, бродяг, клириков-расстриг и беглых солдат. Сегодня проблемы эксклюзии уже чисто количественно обладают другой важностью. Для них характерна и иная структура. Эти проблемы являются прямыми последствиями функциональной дифференциации общества, поскольку они основываются на функционально-специфических формах усиления отклонений, на позитивной обратной связи и на том, что многократная зависимость функциональных систем усиливает эффект эксклюзии. У кого нет адреса, того нельзя записать в школу (Индия). Кто не умеет читать и писать, у того едва ли есть шансы на рынке труда, и можно всерьез дискутировать (Бразилия) о том, чтобы лишить его политического избирательного права. Кто не находит иной возможности жилища, кроме как на незаконно занятой земле фавел, тот в случае серьезной опасности не может воспользоваться правовой защитой; но и собственник земли не может реализовать свои права, так как принудительное выселение с таких территорий может привести к слишком тревожной политической обстановке. Примеры можно умножать, и они вычерчивают диагональные связи между всеми функциональными системами. *Эксклюзия интегрирует гораздо сильнее, чем инклюзия* – интеграция в смысле вышеописанного понятия пони-

мается как ограничение степеней свободы выбора. Следовательно, общество – при полной противоположности режиму стратификации – *в самом нижнем слое интегрировано сильнее, чем в верхних слоях*. От степеней свободы оно может отказываться лишь “снизу”. И наоборот, его строй основан на дезинтеграции, на расцеплении функциональных систем. И это могло бы служить причиной того, почему расслоение уже ничего не говорит об общественном строе, но лишь пока еще определяет индивидуальные жизненные судьбы.

В изобилии доступный материал настраивает нас на вывод, что переменная *инклюзия/экслюзия* во многих регионах земного шара готова выступить в роли некоего метаразличия и опосредствовать коды функциональных систем. В таком случае – проявляется ли вообще различие между правом и бесправием и трактуется ли оно по внутрисистемным правовым программам, зависит, в первую очередь, от предыдущей фильтрации через *инклюзию/экслюзию*; и происходит это не только в том смысле, что исключенное исключается и из права, но и в смысле, что противостоящее ему, и особенно политика, бюрократия и полиция, не говоря уже о военных структурах, решают по собственному усмотрению, будут ли они придерживаться права или нет.²¹ И хотя это не приводит к полному исключению правового аутопойезиса – что было бы немислимо при сегодняшних отношениях – но, пожалуй, приводит к малой надежности ожиданий и к текущей ориентации еще и на другие факторы. Аналогичное касается кода политической системы *правительство/оппозиция*, о котором не принимаются решения на политических выборах (или принимаются не только на политических выборах), – а также множества не зависящих от рынка источников дохода или возможностей страхования имущества в связи с инфляцией, которые также зависят от различия *инклюзия/экслюзия* с тем последствием, что даже продуманная антиинфляционная политика зачастую остается неэффективной, поскольку хозяйственные установки не поддаются регулированию через рынок и через вмешательство в параметры рыночного процесса.

Если в области инклюзии люди считаются личностями, то представляется, что в области экслюзии речь идет чуть ли не только об их телах. Симбиотические механизмы средств коммуникации утрачивают специфическое распределение. Физическое насилие, сексуальность и элементарное, инстинктивное удовлетворение потребностей высвобождаются и становятся непосредственно релевантными, не будучи цивилизованными с помощью символических рекурсивностей. Тогда более богатые предпосылками социальные ожидания становятся неосуществимыми. Люди ориентируются на краткосрочные горизонты времени, на непосредственность ситуаций, на наблюдение за телами. Это означает также, что действовавшие с незапамятных времен в области инклюзии взаимности, растягивающие время ожидания, перестают действовать – вплоть до распада семейных связей. Это может отдаленно напоминать весьма стародавние порядки. Но фактически сегодня речь здесь идет о побочном эффекте функционально дифференцированного общества, который вызывает раздрацию, прежде всего, потому, что начинает бросаться в глаза ограниченность универсальных общественных требований к состоятельности функциональных систем.

Нельзя ожидать, что эта проблема разрешима в рамках отдельных функциональных систем; ведь с одной стороны, инклюзия мыслима лишь на фоне возможных экслюзий, а с другой, проблему взаимного усиления экслюзий невозможно упорядочить при помощи какой-либо отдельной функциональной системы. Поэтому, скорее, приходится считаться с тем, что сформируется новая, вторичная функциональная система, ответственная за последствия экслюзии при функциональной дифференциации – будь то на уровне социальной помощи или же на уровне помощи в развитии.²² Однако же зависимость этих усилий от ресурсов – с хозяйственной, политической, а также религиозной точки зрения – столь велика, что можно сомневаться, образована ли уже соответствующая общественная подсистема, или же речь идет о чрезвычайно широко распространенных усилиях на уровне интеракций и организаций. Отчет-

ливо заметно, что речь идет уже не о *caritas** или об уходе за бедными в традиционном смысле, но об усилиях, направленных на *структурные* изменения (лозунг: помощь ради самопомощи). Вероятно, мы наблюдаем здесь функциональную систему в процессе становления.

Если проявится эволюционная невероятность и рискованность какой-либо формы общественной дифференциации, то мы сможем обобщить подобные соображения – среди прочего, тем способом, каким эта дифференциация улаживает различие между инклюзией и эксклюзией и как она может использовать собственные формы для стабилизации другой, менее интегрированной инклюзии. Тогда не в последнюю очередь речь идет о том, переносится ли обратная связь из области эксклюзии в область инклюзии (и как переносится), или же ее можно перенести в нормальные тенденции эволюции, в *structural drift* частных систем.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. III:

- ¹ См. Social Integration and System Integration, in: George K. Zollschan/Walter Hirsch (ed.), Social Change: Explorations, Diagnoses and Conjectures (1964), New York p. 370-383. Вроде бы независимо от Локвуда, во всяком случае – не цитируя его, Юрген Хабермас тоже различает социальную и системную интеграцию, Jürgen Habermas, Theorie des kommunikativen Handelns Bd. 2, Frankfurt 1981. С точки зрения истории теории, это различие следует понимать на фоне неясностей в парсонсовской теории общей системы действий, которая, с одной стороны, свидетельствует об “интеграции” как специальной функции в системе действий, с другой же стороны, должна прояснять и взаимосвязь между различными функциональными системами, среди которых – личная система и социальная система. Однако же сам Парсонс различает между *интеграцией* (как специальной функцией) и *взаимопроникновением*.
- ² По поводу соотношенного с интеракциями анализа инклюзии (с совершенно других точек зрения) см.: Bernhard Giesen, Die Entdinglichung des Sozialen: Eine evolutionstheoretische Perspektive auf die Postmoderne, Frankfurt 1991, S. 176 ff.
- ³ См. T. H. Marshall, Class, Citizenship, and Social Development, Garden City N. Y. 1964, особенно статью Citizenship and Social Class, p. 65-122.

III. Инклюзия и эксклюзия

- ⁴ [Это относится к модели рассматриваемого действия или к комплексу таких моделей, а также к индивидам и/или группам, которые действуют в соответствии с этой моделью, каковая принимается, обеспечивая статус более или менее полного членства в более обширной и сплоченной социальной системе]. Talcott Parsons, Commentary on Clark, in: Andrew Effrat (ed.), Perspectives in Political Sociology, Indianapolis n. Y. p. 299-308 (306).
- ⁵ См. Talcott Parsons, The System of Modern Societies, Englewood Cliffs N. J. 1971, p. 11, 27, 88f., 92 ff.
- ⁶ Специально об этом: Talcott Parsons, Equality and Inequality in Modern Society, or Social Stratification Revisited, в его же: Social Systems and the Evolution of Action Theory, New York 1977, pp. 321-380.
- ⁷ “Лица” здесь и далее понимаются как признаки идентичности, имеющей отношение к процессу коммуникации, в отличие от фактически происходящих в соответствующих случаях в окружающем мире клеточных, органических и психических процессов. См. Niklas Luhmann, Die Form “Person”, Soziale Welt 42 (1991), S. 166-175. Стало быть, речь идет не об инкорпорации в смысле перемешивания полностью гетерогенных разновидностей аутопойезиса, но лишь о взаимопроникновении в смысле общей соотношенности с высокосложностями, по отдельности неконтролируемыми (и в то же время актуальными) процессами окружающего мира.
- ⁸ Так, например, в: Bronislaw Geremek, Les marginaux parisiens aux XIVe et XVe siècles, Paris 1976, p. 11.
- ⁹ [возможностей адаптации, дифференциации, инклюзии и генерализации ценностей] A. a. O. S. 26 ff.
- ¹⁰ И все-таки сообщают о том, что даже на непригодном для хозяйствования острове, в труднодоступной горной местности находились возможности для длительного выживания сосланных за воровство преступников. Можно догадаться, что там было достаточно много овец.
- ¹¹ См. об этом особо: Werner Danckert, Unehrlche Leute: Die verfemte Berufe, Bern 1963.
- ¹² На это, среди прочего, указывают и напоминающие гильдии взаимосвязи между нищими в Китае. Относительно Европы см., например: Christian Paultre, De la répression de la mendicité et du vagabondage en France sous l'ancien régime, Paris 1906, новое издание Genève 1975; Geremek a. a. O. (1976); John Pound, Poverty and Vagrancy in Tudor England, London 1971; Ernst Schubert, Mobilität ohne Chance: Die Ausgrenzung des fahrenden Volkes, in: Winfried Schulze (Hrsg.), Ständische Gesellschaft und soziale Mobilität, München 1988, S. 113-164; а также – что касается весьма специфических отношений в Испании

- как последствия определенной в религиозном отношении политики эксклюзии: Augustin Redondo (ed.), *Les problèmes de l'exclusion en Espagne (XVIe-XVIIe siècles)*, Paris 1983.
- ¹³ Специально об этом и о взаимосвязях с предпосылками понимания в драматическом театре см.: Jean-Christophe Agnew, *Worlds Apart: The Market and the Theater in Anglo-American Thought 1550-1750*, Cambridge Engl. 1986, особо p. 57 ff.
- ¹⁴ См. об этом Philip G. Herbst, *Alternatives to Hierarchies*, Leiden 1976, p. 69 ff.
- ¹⁵ Семантическое развитие “остаточных” понятий (например, *остаточный риск*) в самое последнее время заслуживает особого исследования. Оно происходит из-за недостаточной рефлексии о том различии, в связи с которым остаток является остатком.
- ¹⁶ См. об этом: Hans-Georg Pott, *Literarische Bildung: Zur Geschichte der Individualität*, München 1995.
- * *Privatus* (лат.): частный человек; *inordinatus*” (лат.): необычный – прим. пер.
- ¹⁷ См. Robert Mauzi, *L'idée du bonheur dans la littérature et la pensée française au XVIIIe siècle*, Paris 1960, или же в качестве типичного единичного свидетельства главу: *Conversation avec un laboureur* (Разговор с пахарем), in: Jean Blondel, *Des hommes tels qu'ils sont et doivent être: Ouvrage de sentiment*, London – Paris 1758, S. 119 ff., где в связи с возможностями счастья для сельскохозяйственного рабочего высшие слои общества побуждаются к рефлексии об их собственных шансах на счастье. Или же, если взять голос из Англии: Alexander Pope, *Essay on Man* (цитируется по: *The Poems of Alexander Pope*, Vol. III, London 1950, Epistle 3, 50-52: “Some are, and must be, greater than the rest more rich, more wise; but who infers from hence that such are happier shocks all the common sense.” [“Некоторые являются – и должны быть – более великими, чем остальные; более богатыми, более мудрыми; но кто выводит отсюда, что они счастливее, попирает всяческий здравый смысл”.]
- ¹⁸ Об этом см. также: Niklas Luhmann, *Die Homogenisierung des Anfangs: Zur Ausdifferenzierung der Schulerziehung*, in: Niklas Luhmann/Karl Eberhard Schorr (Hrsg.), *Zwischen Anfang und Ende: Fragen an der Pädagogik*, Frankfurt 1990, S. 73-111.
- ¹⁹ Эту эпоху рассматривают труды Мишеля Фуко. См. в немецком переводе: *Wahnsinn und Gesellschaft*, Frankfurt 1969; *Die Geburt der Klinik*, München 1973; *Überwachen und Strafen*, Frankfurt 1976. [Рус. пер. История безумия в классическую эпоху, СПб., 1997; Рождение клиники, М., 2000; Надзирать и наказывать, М., 1999.]
- ²⁰ См. анализ этого: Jan J. Loubser, *Calvinism, Equality, and Inclusion: The*

- Case of Africaner Calvinism*, in: S. N. Eisenstadt (ed.), *The Protestant Ethic and Modernization: A Comparative View*, New York 1968, pp. 363-383.
- ²¹ Сюда следует добавить обильный материал из Бразилии: Marcelo Neves, *Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne: Eine theoretische Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasilien*, Berlin 1992. См. также Volkmar Gessner, *Recht und Konflikt: Eine soziologische Untersuchung privatrechtlicher Konflikte in Mexiko*, Tübingen 1976.
- ²² См. Dirk Baecker, *Soziale Hilfe als Funktionssystem der Gesellschaft*, *Zeitschrift für Soziologie* 23 (1994), S. 93-110; Peter Fuchs/Dietrich Schneider, *Das Hauptmann-von-Köpenick-Syndrom: Überlegungen zur Zukunft funktionaler Differenzierung*, *Soziale Systeme* I (1995), S. 203-224.
- * *caritas* (лат.): благотворительность – прим. пер.

IV. СЕГМЕНТАРНЫЕ ОБЩЕСТВА

О первобытных, архаичных обществах мы осведомлены недостаточно. Наши знания о существенных чертах родовых (или сегментарных) обществ были почерпнуты из колонизированных территорий или же регионов, подвергшихся влиянию высоких культур другими способами.¹ Однако же на сегодня может считаться бесспорным, что сегментарная дифференциация не является начальной формой совместной жизни людей и не господствует во всей обозримой истории без исключения. Речь в этом случае идет об эволюционном достижении особого типа, а именно – о повсеместном примате определенной формы системной дифференциации.

Сегментарная дифференциация возникает благодаря тому, что общество делится на принципиально равные частные системы, взаимно образующие друг для друга внешние миры. В каких бы формах это ни происходило, предполагается формирование семей. Семья образует *искусственное* единство поверх *естественных* половозрастных различий, и происходит это благодаря инкорпорации подобных различий. Прежде чем появляются семьи, общество всегда уже наличествует. Семья конституируется как форма различия в обществе, и нельзя сказать, что, наоборот, общество складывается из семей.

В простейшей форме достаточной для этого является двухуровневая система: раздельно живущие семьи и общество, которое в этом случае называют еще и стадом. Для возникновения и воспроизводства достаточно простых демографических процессов. Если при увеличении населения его прирост слишком велик, то система может воспроизводиться через деление и принудительное переселение.² Также без особых затруднений возможно новообразование таких форм под угрозой катастроф, ставящих под вопрос выживание, а для обществ, освоивших природу в недостаточной степени и обладающих небольшими силами сопротивления, это обеспечивает своего рода гарантию

IV. Сегментарные общества

воспроизводства. Более крупные единства, имеющие уже трехступенчатое строение, т. е. образующие семьи, деревни и племена, обладают выбором в определении своих единств либо исходя из родства, либо из заселяемой местности. Все попытки возвести сегментацию лишь к одному из таких принципов могут считаться неудавшимися.³ Чаще всего мы встречаем смешанные формы и, соответственно, находим культы земли и культы предков, а также большую пространственную мобильность групп родства или мобильность родства, например, в форме усыновления и присвоения имени, в зависимости от господства территориального принципа либо принципа родства. Поскольку родство (в отличие от фактического проживания) допускает символическое манипулирование, без труда возможны комбинации, и потомки переселенцев спустя некоторое время могут фиктивным образом также переводиться в группу родства. При всем этом постоянной остается форма сегментарной дифференциации, а происхождение – если оно выходит за рамки семьи, живущей в общине совместного проживания – представляет собой немногим больше, нежели символическую конструкцию *принадлежности/непринадлежности* к сегментам общества.

Сегментарное общество предполагает, что позиции индивидов в социальном порядке являются жестко фиксированными и не могут изменяться через достижения.⁴ Это основа для умножения социальных единств, какие всегда и без сомнения можно перенести на индивидов. Несмотря ни на что – в этих рамках имеют место различия индивидуальных взглядов и даже случается изменение клановой и семейной принадлежности благодаря усыновлению. И все-таки здесь исключена интеграция индивидов, обусловленная карьерой. Фиксировано-приписанный статус, скорее, служит предпосылкой для всех дальнейших разработок, для разновидностей симметрии и асимметрии, для дуалистических оппозиций, для ритуальных функций и для всевозможных непрерывно множасьихся дополнений, которые, таким образом, сохраняют крепкую связь с индивидами. *Ascribed status* служит правилом для уклада, при котором люди знают свое место.

Сегментарная дифференциация, возможно, является предпосылкой для перехода к регулярному земледелию, для так называемой неолитической революции. Последняя, будучи, пожалуй, важнейшим изменением в истории человечества, осуществлявшимся эквивалентно во многих местах земного шара. Причины для такого перехода от изобильной жизни к жизни, полной труда и риска, неизвестны, потому что вряд ли можно согласиться с тем, что возможность прокормить больше людей могло служить в качестве “аттрактора”. Уже в обществах без отчетливого выделения семей мы обнаруживаем своего рода садовое хозяйство, но земледелие большого стиля будет предполагать, что разделение земли и труда может опираться на соответствующие социальные структуры. Лишь политически вынуждаемый подневольный труд в более поздних обществах отчасти вновь становится независимым от этого⁵; но последнее предполагает производство сельскохозяйственных излишков.

Процесс сегментарной дифференциации допускает применение такового к его собственному результату, т. е. рекурсивное повторение. Ведь поверх семей и поселений образуются еще и племена, а в некоторых случаях – союзы племен. Но вместе с этим направлением роста, которое может, в конечном счете, охватывать многие тысячи людей, все-таки уменьшается коммуникационная плотность соответствующего охватываемого единства. В конечном итоге это единство актуализируется лишь от случая к случаю, прежде всего, в связи с конфликтами между образующими его меньшими единствами, а в остальном присутствует лишь символически. За удовлетворение всевозможных нормальных потребностей повседневной жизни и за поддержание сотрудничества с соседями, как прежде, несет ответственность наименьшие единства. Преимущество здесь в том, что и более крупные объединения можно описать по образцу ежедневно ощущаемого отличия от мельчайших единств. Они могут носить имя и отсылать к мифу о возникновении, указывающему на землю или предков; но выходящее за рамки этого структурное самописание общественной системы оказывается излишним по отношению к простому повторению

принципа дифференциации. В крупных агрегатах речь не заходит о смене принципа уклада. Соответственно – функции объединений убывают вместе с их объемом. В пограничном случае “племя” – уже не более, чем общая область возможностей языкового взаимопонимания.⁶ Этнические обозначения становятся неотчетливыми и колеблющимися.⁷ В экстренных случаях общество может отказываться от крупных объединений и “сжиматься” до малого формата, не утрачивая способности к выживанию; аналогичным образом оно может справляться с выпадением многих своих сегментов при катастрофическом голоде, истреблении на войне или отделении частей. У того, что остается, все-таки есть возможность почти беспредпосылочно начать сначала.⁸ Чтобы обозначить это положение вещей и отличить его от иерархий, Саутхолл предложил понятие “пирамидальной” общественной структуры.⁹

Крупные объединения в качестве своей функции, прежде всего, должны организовывать поддержку в конфликтных случаях и смягчать последние. Дело в том, что нормативные ожидания являются ожиданиями контрафактическими, ожиданиями, которые не приспособливаются к возможным разочарованиям, но стремятся к сохранению статус-кво.¹⁰ Это едва ли возможно без перспективы поддержки в конфликтных случаях. Однако же такая связь нормирования ожиданий с перспективой поддержки вычерчивает узкие пределы для спецификации ожиданий (и тем самым – для образования права). Ибо как можно ожидать в высшей степени специфических ожиданий и, соответственно, редкостных ситуаций при иной готовности к поддержке? С одной стороны, это с необходимостью приводит к обобщению смысла ожиданий, с другой – к развитию мотивов поддержки у тех, кого ситуация напрямую не касается. Последнее происходит благодаря призыву к групповой солидарности и благодаря расширению групп при уже охарактеризованной пирамидальной структуре общества.¹¹ Но при этом эволюция снова заходит в тупик, переходя к нормализации невероятного, уже недостаточной для дальнейшей эволюции. Ведь этот порядок готовности к поддержке больше рассчитан на улаживание

споров, нежели на эволюцию права, т. е. больше имеет дело с непосредственными, чем с долгосрочными последствиями решений конфликта; а впоследствии этот порядок начинает блокировать спецификацию нормативных ожиданий из-за своекорыстия и безразличия тех, кто обязан оказывать поддержку. Из такого тупика можно выйти лишь другим путем, а именно – через организацию политической поддержки правовых ожиданий, обернувшихся разочарованием.

Эта трудность образования правовых норм в форме жестких правил принятия решений как будто бы зависит от многофункционального функционирования наличных институтов. Ведь многофункциональность означает сотрудничество в чрезвычайно разнообразных ситуациях. А это, опять-таки, препятствует универсализации и спецификации признаков, определяющих ситуации. Ситуативные признаки господствуют при переживаниях и воспоминаниях. Ситуации же становятся настолько разнообразными, что не позволяют абстрагировать всеохватывающие правила решения. Поэтому даже те структуры, которые господствуют при дифференциации общества (т. е., прежде всего, *происхождение*), невозможно использовать для жесткого определения правовых позиций.¹² Это зависит не от “недостаточности” методов, первоначально ориентированных на оппортунистическое улаживание споров. Скорее, как раз такие методы являются адекватными для общества, в котором из-за многофункциональных контекстов невозможно вывести структурно адекватные правила принятия решения. Путь к отдифференциации правовой системы заблокирован, и здесь, как и в других случаях, всякая дальнейшая эволюция невероятна.

Трудность, заключающаяся в абстрагировании правил и различении между правилами и действиями, представляет собой часть гораздо более обобщенного условия коммуникации. Пока в распоряжении нет письменности, всякая коммуникация должна происходить при присутствующих. При этом она может опираться на ситуационные признаки, видимые и привычные для всех присутствующих, а следовательно, эти признаки не надо упоминать особо; да их и невозможно упомянуть особо, потому

что это не несло бы ни малейшей информации, т. е. считалось бы излишним. Затем стали пользоваться оборотами речи, которые, как говорят лингвисты, пронизаны “indexical expressions”¹³. Эти выражения позволяют сэкономить на обобщениях и препятствуют им. Ситуации, переживаемые последовательно, соответственно и воспринимаются совместно как таковые. Схемы или сценарии могут меняться от ситуации к ситуации, но с этим не сопряжено накопление опыта несообразностей.¹⁴

Правда, и сегментарные общества проявляют тенденции к повышению собственной сложности. Однако эти тенденции ориентированы в ином направлении. До сих пор очерченная картина, которая предусматривает различия только по величине и по принципу основания (родство или территория), становится гораздо сложнее, как только начинает учитываться распределение остальных различий. При этом речь может идти, например, о брачных ограничениях и их рамках. Общество не выносит неопределенности в последующем поколении. Кроме того, в обществе может происходить обособление возрастных групп, мужских домов или прочих квазикорпоративных организаций, могут выделяться формы институционализованного решения конфликтов, а также ролевые дифференциации, при некоторых обстоятельствах определяемых наследственностью (жрецы, вожди) в особых, специализирующихся на этом семьях. Такие дополнительные дифференциации ничего не меняют в основной структуре сегментарной дифференциации, но приспособливают ее к собственным проблемам, из нее вытекающим. Они остаются зависимыми от совмещения с этой основной структурой, но делают общий образец родовых обществ чрезвычайно сложным по сравнению с другими такими обществами. Возникает впечатление, будто здесь – в зависимости от демографических и прочих условий окружающего мира – проводится эксперимент с формами, из коих лишь немногие выдержат переход к инородным формам дифференциации.

Поскольку сегментарная дифференциация делит общество на однородные частные системы, их разграничение должно выделяться в особую проблему; ведь “на другой стороне”, в

других семьях или других деревнях живут, в принципе, не иначе, но так же, как у нас. Этим могло бы объясняться, что символизация границ наделяется особой ценностью – отчасти при помощи маркировок, отчасти посредством выделения особых мест (например, для обмена), отчасти путем символического оформления переходов или признания особого статуса для чужаков как гостей. Использование пространственных и временных мест для символизации различий сохраняется даже тогда, когда различия между городом и деревней или расслоение общества уже установлены, так как основа для всех форм дифференциации заключается только в семейных экономиках (домохозяйствах). Даже в архаической греческой культуре мы еще находим разработанную символику границ и ответственного за нее бога, Гермеса, обретающегося и на Олимпе, и в преисподней и в качестве бога торговцев и воров напоминающего о границах, пересекая их. Символика оседлости или же перехода через границы в то же время определяет границы сакрального, и при своей открытой для всех наглядности и социальной приемлемости она выполняет такие функции, которые впоследствии переносятся на гражданско-правовые институты собственности и договора.

Подобно тому, как частные системы в этих обществах определяются связями родства и/или территориальности, так и сами общества понимают собственные границы через принадлежащих к ним людей и области. В этом смысле общество состоит из людей, чье индивидуальное своеобразие является известным и которому – что, в особенности, показывают новейшие исследования – оказывается должное почтение.¹⁵ Личность получает имя, к ней можно обращаться, и она способна держать ответ. Она представляет собой функцию социальных отношений и приобретает значение по мере того, как этому способствуют менее значимые сегменты этих отношений.¹⁶ Так, представителя племени динка можно распознать, не имея представления о совокупности всех динка¹⁷; ведь и стакан красного вина можно отличить от стакана белого вина, не имея ни малейшего представления о совокупности всех стаканов красного вина. Не под-

дающееся социальному определению существо не является лицом, является чужеродным, предположительно враждебным существом; и тогда не существует группового понятия человечества, которое могло бы это существо включить. Эту проблему можно рассмотреть еще и с точки зрения тех причин, по которым более поздним обществам пришлось разработать своего рода гостевое право, право для чужаков, наконец, своего рода *ius gentium**

Личность как будто бы всегда проступает там, где воспринимается двойная контингенция, которую следует регулировать. В более широком смысле это означает, что личность соотносится с коммуникативными возможностями. Но ведь, с одной стороны, существуют чужаки, по отношению к которым не формируется никаких ожиданий, т. е. с которыми нельзя вести коммуникацию. Тогда все возможно и все разрешено. С другой же стороны, наличествуют партнеры по коммуникации, т. е. отношения двойной контингенции, в областях, которые сегодня мы бы исключили: с богами и духами, с мертвыми (прежде всего, родственниками), с определенными растениями и животными и даже с неодушевленными предметами.¹⁸ Личность возникает повсюду, где представляется, что в поведении других имеет место выбор и что на него необходимо повлиять собственным поведением. Очевидно, ранние общества экспериментируют с отношением между границами общества и коммуникативно манипулируемой контингенцией, и лишь современное общество полагает первые и последнюю конгруэнтно.

Всем обществам ведом не только язык, но и вторичным образом сконденсированные в языке способы выражения, особые имена или слова, обороты речи, определения ситуаций и рецепты, поговорки и рассказы, в которых заслуживающая сохранения коммуникация сохраняется для нового употребления. Такую конденсацию мы называем *семантикой*. В сегментарных обществах мы находим для нее особые формы – отчасти потому, что нет письменности, или она не применяется, и устная традиция обнаруживает особые проблемы¹⁹; отчасти из-за того, что сегментарная дифференциация предписывает особые

формальные условия, которые должны переноситься в коммуникацию. Иначе говоря, бесписьменные родовые общества тоже должны формировать социальную память, которая способствует распознаванию и повторениям идентичного – без того, чтобы вынужденно прибегать к лабильным нейрофизиологическим и психологическим механизмам.²⁰ Память опирается, в первую очередь, на известное пространство. Она принимает топографические формы²¹ и лишь впоследствии использует и специально созданные для этого символические формы. Преимущественно она основывается на объектах и на инсценировках – таких, как обряды и праздники, – являющихся достаточно типизированными, чтобы распознаваться по значению, выходящему за рамки ситуации. Зачастую особые украшения (орнаменты, регулирование процессов) служат для выделения объектов или квазиобъектов. Повторения дают повод для изображения, для инволютивной и монотонной разработки. Праздники дают повод для изложения мифов, легенд, генеалогий и сказок незапамятных времен – всегда при условии, что речь идет о знакомой и надежной сокровищнице мысли. Если эта функция напоминания и подтверждения отпадает, то надежные формы объектов, например, домов или орудий, тоже утрачивают обязывающее содержание, а праздники теряют форму и вырождаются в поводы для индивидуальных эскапад.

Социальную память не следует безоговорочно сопрягать с такими современными понятиями, как *религия* или *искусство*. Однако же она возникает не без укоренения в социальных функциях, которые требуют многократного использования; и зачастую происходит это из-за непредвиденных единичных случаев, которые – именно из-за того, что они встречаются нерегулярно – требуют регулярности при рассмотрении, т. е. памяти. Возникновение стилизованных маркировок принадлежит к наиболее ранним достижениям, выступающим, пожалуй, уже параллельно когнитивным символизациям.²² Уже в очень ранних обществах появляются более притязательные формы. Производя выбор из обильного материала, мы ограничимся двумя примерами: *магией* и нормами *взаимности*. В первом случае речь идет

о внешних отношениях, во втором – о внутренних; в первом случае речь идет о такой смысловой области, которая впоследствии в высоких культурах будет называться *религией*; во втором – если возможно провести различие между правилами и поведением – о *праве*. В остальном, выбор примеров должен документировать еще и то, что мы не можем исходить из изначально чисто сакральной правовой культуры. Наряду с *fas*, всегда имеется еще и *ius*. Родовые общества образуются в узко очерченных границах, в малом мире с повсеместно ощущаемым различием между надежным и ненадежным. За горами и в ущельях уже начинается другой мир, где могут отказать известные непреложности. Небольшой диапазон языковых возможностей понимания также играет здесь определенную роль.²³ Религия формируется в качестве первой попытки отвести место ненадежному в надежном – пусть даже речь идет о нескольких костях в мужском доме, по которым можно идентифицировать и умиловить предков.²⁴ К таким сакральным вещам существует достаточно прагматичное, ситуативно обусловленное отношение. Поначалу кажется, будто социальных техник сохранения в тайне, ограничения доступа, ограничения коммуникации достаточно для идентификации священных объектов или имен. Лишь постепенно разнообразные ситуации объединяются в мифические повествования; и лишь очень поздно возникает эксплицитно символическое, соотнесенное с единством различия (например, скульптуры и смыслы) понимание священных предметов.²⁵ Ведь даже у христиан были связанные с этим известные трудности.

Используя фигуру из арсенала формального исчисления Джорджа Спенсера Брауна²⁶, религию тоже можно описать как “re-entry” различия между *известным* (*vertraut*) и *неизвестным* (*unvertraut*) в пределах известного.²⁷ Тогда к этой области становится легко отнести магию. Ведь в случае с магией (в противоположность распространенному мнению) речь не идет о какой-то особой добавочной причинности, которая дополняет несовершенное технологическое знание (при осознании его несовершенства!). Но дело в том, что магия предоставляет воз-

возможность параллелизировать известные причинности в неизвестном с помощью практик, которые, со своей стороны, будучи известными, имеются в распоряжении того, кто ими пользуется.²⁸ Соответственно, магическое действие часто сопровождается соответствующими речами, как если бы оно было формой, которая позволяет обходиться с неизвестным; но это, конечно, не означает, будто маг считает, что слова являются причиной действенности средств.²⁹ Речь идет не о символизации этого различия, но о его оперативном, жизненно-практическом свершении.

Итак, магия соотносится не с определенным типом целей или воздействий, каких люди пытаются достичь предназначенными для этого средствами, т. е. своего рода специальной технологией; дело в том, что проблема состоит в непривычности событий, которые указывают на близость неизвестного и с которыми надо соответственно обходиться. При этом объяснению и поступкам никоим образом не препятствует знание естественных причин и следствий, но здесь лишь открывается дополнительный смысл непривычного, ошеломляющего, незаслуженного и т. д. А вменение в вину и моральная ответственность локализуется в сфере общественного контроля, а значит – за пределами диапазона магии.³⁰ За дурные поступки нельзя оправдываться какими-то отговорками, потому что за это могут заколдовать.³¹

Поэтому предположение о магической компетенции – если оно семантически разработано – связано с опровержением случайности в том виде, как она, прежде всего, предстает на поверхности известного мира. Для случайного не находится смысла, не находится несчастных случаев; ибо если для неожиданного невозможно найти причину в области известного, то такая причина лежит в области неизвестного. И как раз структурное равенство сегментов делает различия в том, что их постигает (например, смерть или бездетность, материальные неудачи или потери), непосредственно видимыми и нуждающимися в истолковании. Итак, позднеархаические общества будут истолковывать то, что не поддается магической коррекции, при помощи религий судьбы³², от которых спасет только монотеизм.

Поэтому было бы ошибочным исходить из того, что магическая картина мира благодаря рациональной картине мира постепенно сменяется научно контролируруемыми причинностями. То, что греческая наука возникает на фоне продолжающейся веры в магию, к которой добавляется лишь техника наблюдения второго порядка³³, свидетельствует об устойчивости совершенно чужеродного для науки различия между *известным/неизвестным*. И лишь книгопечатание приуготовливает этой ситуации медленный конец; ведь оно приучает общество к мысли, что тому или иному ведомо или знакомо гораздо больше, чем об этом кто-либо может знать.

Совершенно аналогичную функцию выполняет мифическое повествование. Строго говоря, в случае с бесписьменными сегментарными обществами еще нельзя говорить о самоописаниях, поскольку привычная жизнь слишком уж самопонятна, чтобы ей можно было бы дать обобщающую тематизацию.³⁴ Но мифы замещают и дополняют коммуникативную форму самоописания, когда они рассказывают *нечто иное*, нечто странное и ни разу не пережитое, что представляет собой как бы другую сторону известных форм и в этом смысле их дополняет. Речь идет о коммуникации, но не о такой коммуникации, которая сообщает информацию и делает известным нечто неизвестное. Существенное здесь – как раз напоминание об известном с помощью неизвестного, т. е. повторяющееся возобновление удивления. Поэтому несмотря на наличие вариаций, всплывающих при повторении повествования, оно все-таки не изнашивается (в том смысле, что вся информация уже известна, а значит, повторение теряет информационную ценность). Поэтому в то же время становится понятным, почему мифы предпочитают форму парадоксальности – например: единство порождает само себя и иное; это происходит как раз потому, что удивление реактуализируется именно так, что даже не дает поставить вопрос о том, соответствует или нет информация действительности.

Мифы, конечно же, повествуют о времени основания, когда был создан и приобрел обязательный характер ныне действующий порядок. Но это прото-время – иное, нежели современ-

ность, и не предусматривает отношений исторической преемственности, а в этом смысле – и никакой истории. Точно так же в нем не рассматривается иное будущее. Скорее, речь идет о гарантии ближнего в дальнем и о подтверждении того, что отношения таковы, каковы они есть. Хотя нарративный почерк мифических повествований представляет некую последовательность, та не ищет ни малейшего контакта с современностью. Потребность в заполнении промежуточного времени между временем мифическим и современностью возникает, очевидно, лишь тогда, когда в современности появляются тяжелые конфликты (например, в связи с миграциями или завоеваниями), а прошлое принимается во внимание в качестве фона для легитимаций.³⁵ И лишь когда в распоряжении имеется письменность, становится необходимо обращать большее внимание на непротиворечивость сообщений, для общества начинает создаваться история, а для семей – генеалогия.

Если магия и примыкающие к ней дальнейшие ее религиозные продолжения вроде мифов и ритуалов надзирают за границей с неизвестным, то основная норма *взаимности* образует внутреннюю регуляцию сегментарных обществ – и притом такую, которая охватывает случаи как кооперации, так и конфликтов, т. е. оснащает и это весьма важное с точки зрения жизненной практики различие еще и нормами для обмена и для ограничения места.

Очевидно, представление о взаимности на всех уровнях инклюзии коррелирует с задающимся с помощью форм дифференциации равенством частных систем. Сколь бы значительными ни были единства, связи между ними должны строиться симметрично и обратимо, так как в противном случае асимметрия с течением времени породит неравенства и изменит форму дифференциации. К примеру, половозрастные асимметрии, но также и асимметрии на уровне экономико-демографической судьбы абсорбируются уже в наименьшем единстве, в семье, или же улавливаются дополнительными институтами (брачные правила, корпорации, расточительные праздники и т. д.). Остальное регулируется нормой взаимности, благодаря которой обусловленные

временем асимметрии предстают в виде симметрий.

Признание требований взаимности универсально распространено в сегментарных обществах.³⁶ Прежде чем дело доходит до развития перераспределительных систем управления, взаимность служит для “energy averaging”³⁷ в социальных системах. Сюда же причисляются и формы деления (sharing) случайно возникших излишков, благодаря чему избегаются или компенсируются риски, ведущие к росту вариативности.³⁸ Семантическое и структурообразующее преимущество взаимности заключается во внутренней неопределенности удвоенной контингенции, восприимчивой для всевозможных кондиционирований. Поэтому понимание взаимности в простых обществах как нормы или “воли партии” будет недостаточным. Ее формирование в виде нормативных ожиданий и рациональных калькуляций участников является лишь последствием институциональной пригодности, а последняя состоит в открытой кондиционируемости. Поэтому речь идет не только о средстве формирования будущего (представление, распространяющееся в юриспруденции вообще только в XIX в.), но и о построении связей и ограничений для проблемных случаев, возникающих при совместной жизни. А вместе с ограничениями становятся заметными и возможности, которых без них не было бы.

Как раз поэтому двойная контингенция, интерпретируемая как взаимность и использующая взаимность для легитимации обязывающей силы отношений обмена, наилучшим образом пригодна для формирования кондиционирований, которые можно закрепить с течением времени. Взаимность как будто бы служит важнейшим средством связи со временем. Вместе с даром начинается социальное время. Он делит время на воспоминание и ожидание, не зная внутренних разграничений между ними: ни отсрочки, ни промедления, ни ожидания удобных случаев. Каждый дар создает ситуацию временной некомпенсированности. Чистые подарки (не предусматривающие обязательств благодарности) неизвестны. И поскольку общество не имеет начала, но ведет коммуникацию в рекурсивной сети воспоминаний и ожиданий, то, строго говоря, не существует “добро-

вольных” услуг, которые не являлись бы уже и встречным услугами и не обязывали бы к таковым. Когда речь заходит о конфликтах, тот же принцип практикуется в негативном варианте.³⁹ У мести может быть начало, но затем одна месть порождает другую, и нет такой нормативной регуляции, которая, независимо от того, кто начинает и реагирует, могла бы способствовать принятию решения о правоте и неправоте. Существует лишь ограничение на допустимый избыток даров и, соответственно, обид.

В обоих направлениях, как в позитивных, так и в негативных отношениях, принцип взаимности обладает еще и космологическим измерением. В отношении к богам, духам или другим потусторонним силам он принимает форму жертвы. Жертва может служить умилостивлению богов, если какой-либо проступок вызвал их гнев; или же она может благотворно соответствовать намерениям, которые нуждаются в их поддержке. В обоих вариантах жертва предполагает, что максима взаимности пригодна и для отношений с потусторонним, признается богами и тем самым получает подтверждение.

Долгосрочно установленная в обществе асимметрия времени обладает функцией социального уравнивания и тем самым — сохранения равенства частных систем. Всякая единица может попасть в беду или нуждаться в помощи в особых обстоятельствах (например, в случае постройки дома). Таким образом, излишки могут преобразовываться в благодарность и могут в этом смысле накапливаться если не естественно, то социально.⁴⁰ Различия в потребностях могут с течением времени нивелироваться. Поэтому взаимность представляет собой противоположный институт по отношению к недостаточности ресурсов и функциональный эквивалент к доверию.

Это сочетание временных и социальных асимметрий ради восстановления симметрии воспринимается как настолько важное, что немедленная и точно рассчитанная ответная услуга (в смысле практикуемой нами оплаты) считается неуместной, как и отказ от дара во избежание вытекающих из принятия дара обязательств. Соответственно — отсутствуют объективные кри-

терии эквивалентности (если отвлечься от таких исключений, как отношения церемониального или символического обмена и обмен женщинами).⁴¹ Эта проблема тоже сдвигается во времени, отсрочивается, и таким образом время в известном смысле служит функциональным эквивалентом для абстрактности и неопределенности в использовании, характерных для денег. Чем плотнее и ближе переживаются отношения, например, в доме, тем менее специфичной становится связь между даром и реакцией на него, тем важнее становится всегда сохраняющееся обязательство, тем неуместнее подведение итогов и расчет. При увеличении социальной дистанции и уменьшении жизненной важности можно определеннее задействовать и модальности расчета.⁴² Также и здесь сказывается “пирамидальная” структура общественной системы.

Тем не менее, из универсального распространения и из структурной адекватности взаимности невозможно сделать вывод, что этот принцип признается и формулируется в качестве правила. Нельзя предположить даже того, что вообще правила и способы поведения могут различаться.⁴³ Соответствующие положения вещей переживаются на гораздо более конкретных смысловых уровнях, а затем и называются по-разному.⁴⁴ Иными словами, не существует такой понятийной формулировки, которая могла бы подвести к критике рассматриваемого принципа, подсказать вопросы об условиях и границах его применимости или поиски альтернатив. Дар и помощь практикуются как нечто социально самопонятное. Можно предположить, что это никоим образом не исключает ни расчетливого, ни даже манипулирующего сознания; но в любом случае дар нельзя представлять публично в качестве средства, укрепляющего зависимость.

Сегментарные общества со всеми их институтами, с возможностями расширения или сужения, с магической параллелизацией причинности и со взаимностью как формой ресимметризации временных и пространственных асимметрий настроены на то, чтобы оставаться такими как они есть. Это выражается и в их собственной семантике, но становится гораздо отчетливее, если мы будем наблюдать их, выделяя то, чего сами они

наблюдать не могут. Другой уклад для них немислим, и зачатки его должны представляться им как несправедливость, как отклонения, как нечто опасное, как то, чего следует избегать и с чем надо бороться. Поэтому притязания на лидерство (с ориентацией на политическую дифференциацию) наталкиваются на сопротивление, и по меньшей мере – на латентную враждебность, легко поддающуюся организации. И хотя возникновению различий между семьями по богатству и рангам невозможно гарантированно воспрепятствовать, они могут послужить поводом для кристаллизации отношений *патрон/клиент*, которые, со своей стороны, прокладывают путь к политической централизации лидерских ролей. Но даже когда это происходит (а тому существует множество свидетельств), это еще не означает, что лидерские роли наделяются компетенцией принятия решений и вынесения санкций. Если это случается в так называемых “обществах вождей”, то, вероятно, в них можно говорить об эволюционной рестабиллизации уже подготовленной дифференциации. Во всяком случае, в таких обществах еще не существуют крупных, равных по рангу групп, отличающих стратифицированные общества.

В системно-теоретической терминологии сравнительно быстрый переход некоторой системы к другому принципу стабильности называется *катастрофой*.⁴⁵ Как раз в этом смысле эволюция – если она затрагивает формы дифференциации – приводит к общественной катастрофе. Возникновение обществ с приматом дифференциации *центр/периферия* и/или стратификации и является такой катастрофой, хотя и смягченной тем, что в сельской местности по-прежнему живут в условиях сегментарной дифференциации, и лишь некоторые функции передаются городу или господствующему слою. В таких случаях мы говорим о “peasant societies”, а с точки зрения сельских жителей говорилось даже об *одноклассовых обществах*.⁴⁶

На современном уровне знания трудно дать логичное причинно-следственное объяснение возникновению стратификации. Предположительно существовали различные, по-разному ориентированные исходные состояния; и вопрос тогда должен

был бы звучать так: в каких отношениях заданный эгалитарный, сегментарно-дифференцированный социальный уклад подвергается переломам? Прежняя теория объясняла переход от сегментарных обществ к стратифицированным демографическим ростом населения.⁴⁷ Это не выдерживает проверки эмпирическими данными.⁴⁸ Даже если мы будем ориентироваться не на количество населения, а на его плотность, связь возникновения стратификации с этим фактором можно опровергнуть эмпирически.⁴⁹ Столь же неубедительными являются – при их взвешивании – результаты исследований других причин, считавшихся здесь определяющими, например, состояния экологического разнообразия или земледелия.⁵⁰ В последнее время в качестве причины и фактора для стабилизации ранговых различий обсуждалось значение торговли престижными товарами чужеземного производства.⁵¹ Эта точка зрения хорошо соотносится с вопросом о том, в каких отношениях могли расшатываться механизмы стабилизации сегментарных обществ. Например, престижные товары нельзя распределять эгалитарно и уничтожать их избытки на ритуальных праздниках. Кроме того, доставать их было возможно лишь посредством торговли с дальними землями, а доступ к этой торговле легко поддается ограничению. Наконец, для символизации высокого внутриобщественного статуса их можно использовать эффективнее, нежели большее количество собственных продуктов. (С практической исследовательской точки зрения, подтверждением этой роли престижных товаров послужила их хорошая археологическая сохранность.) Эта концепция, естественно, предполагает, что в более обширных взаимосвязях даже в сегментарных обществах уже имеется своего рода дифференциация *центр/периферия*, которая воздействует на периферию благодаря производству престижных товаров и торговле ими. Поэтому мы отказываемся от причинно-следственного объяснения и разбираем структурные проблемы сегментарных обществ. Тогда виднее, где располагаются зацепки для опрокидывания старого уклада, какими бы ни были конкретные причины, активизирующие эти возможности.

Вероятно, важнейшей отправной точкой здесь служит обратимость состояний, которая предполагается принципом равенства сегментирования и правилом взаимности. Эта обратимость могла быть уничтожена вызванными военными действиями наслоениями, когда один этнический слой располагается над другим. Но мыслимы и аналогичные автохтонные процессы. Некоторые семейства становятся определенно богаче в том, что касается земли, богатств и приверженцев. Кто ожидает от них помощи, уже не вправе расплачиваться “равным”. Он расплачивается признанием различия рангов, как бы увековеченным долгом благодарности, который затем служит мотивом для принятия на себя соответствующих обязанностей и готовности к послушанию.⁵² С помощью жестко приписанных ранговых различий можно справиться с растущими информационными нагрузками и нагрузками по принятию решений, причем деятельность в этой области одновременно и делает зримым, и рестабелизирует ранговое различие. Система переступает порог, начиная с которого функционирует уже не негативная, но позитивная обратная связь. Это может происходить весьма стремительно, если запущены соответствующие предварительные процессы.⁵³ Отклонения от равенства уже не воспринимаются как помехи, не устраняются (например, “праздниками” с уничтожением излишков), но обнаруживаются в собственной благоприятности, расширяются и легитимируются вставкой истории между мифическим временем и “теперь”. Само ранговое различие перенимает на себя не специфический, но применимый ко многим удобным случаям характер долга благодарности. И как раз “неестественность” предпосылок равенства, которая непрерывно подвергается испытанию влияниями самого различного рода, делает такой переход в противоположный принцип вероятным, если этому переходу ничто не препятствует. Осуществляется он благодаря дезингибированию или ингибированию естественного развития⁵⁴ и таким образом приобретает относительно наглядную форму структурного изменения.

Сегментарным обществам также в значительной мере ведомы ранговые различия (например, возрастные или на основе

неравновесия в отношениях взаимности), и эти общества развивают более или менее стереотипизированные формы, выражая подобные различия в интеракции.⁵⁵ Однако ранговые различия, например, между семьями вождей и другими семьями, сами по себе не являются стабильными эволюционными достижениями. Такие ранговые различия могут обуславливаться, к примеру, контролем над торговлей престижными товарами, или производственными отношениями, и от них можно вновь отказываться, если эти условия изменяются.⁵⁶ Во всяком случае, они не образуют такой ступени, которая бы уже с необходимостью вела к стратифицированным обществам. Скорее, они подготавливают обособление специфически политических ролей и функций.⁵⁷ Правда, можно сказать, что уже родовые общества экспериментируют с признанием ранговых различий и с соответствующей деформацией отношений взаимности. Такие формы могут перениматься в стратифицированных обществах в качестве *preadaptive advances** и развиваться дальше. Поэтому уже нет необходимости изобретать новое, поначалу кажущееся непонятным поведение. Однако же переход к использованию рангов как формы системной дифференциации предполагает, что обособляется высший слой, образуя частную систему общества, в которой внутренние интеракции рассматриваются иначе, нежели интеракции с внутриобщественным окружающим миром системы. Когда это происходит, между высшим и нижним слоем уже не признаются никакие, даже отдаленные отношения родства. Это, опять-таки, задает необходимость заключать браки только в пределах собственного слоя (эндогамия). И тогда еще раз могут дифференцироваться и формы оказания почестей, признания превосходства или первенства – в зависимости от того, основаны ли они на принадлежности к собственному слою, или же их можно рассматривать как переходящие через границы слоев. (Может быть в высшей степени неподобающим, если какой-то крестьянин относится к сыну своего господина так же, как этот сын – к своему отцу)

Использование рангового различия как формы системной дифференциации в любом случае революционизирует общество

– даже тогда, когда обособление высшего слоя поначалу ничего не меняет в жизненных формах нижнего слоя. Мыслимы многочисленные поводы, подводящие сегментарное общество на грань такого структурного перелома. Ранговое различие используется при всякой, присущей даже чрезвычайно малому обществу, избыточности возможных контактов.⁵⁸ Отсюда возникают социометрические образцы с соответствующими неравенствами. Некоторые члены общества популярнее, работоспособнее, пользуются большим спросом как партнеры, чем другие, и потому они скорее, чем другие, получают шансы осуществлять выбор среди своих контактов, и уже могут что-то требовать за свою готовность к контактам, например, признания своих мнений; или даже возражать на то, что их готовность к помощи осталась без ответа. Правящие структуры простейших обществ словно основываются на этом “механизме производства звезд”. Как правило, это бывает краткосрочным шансом, который оказывается под угрозой уже в силу того, что он используется. Но положение вождя возможно удерживать и в течение всей жизни, и опять-таки в редких случаях допускаются предпочтительные шансы на получение роли вождя его сыном⁵⁹ – вплоть до наследственного характера должности вождя в определенных семьях. Иногда статус семьи вождя определяется тем, что в ней воплощается требование обеспечить исключительный доступ к до сих пор незанятому месту, которое символизирует единство родового общества, к примеру, в форме общего предка или основателя.⁶⁰ Это может привести к возникновению широко распространенных обществ вождей, обществ, которые впоследствии наделяют эту позицию и соответствующими компетенциями (но, как правило, не компетенцией принимать коллективно обязывающие решения), не образуя социального расслоения.

Второй механизм может быть описан как “паразитарный”. Как раз по господствующим обычаям и практикам можно обнаруживать преимущества отклонения от них. Всякий порядок основан на исключениях, симметричный порядок – на исключении асимметрий. Это предоставляет шанс, которого могло бы не представиться вообще, не будь отчетливых исключений – а

именно, возможности обнаруживать и использовать в исключенном преимущества порядка И как раз хорошо структурированные порядки выявляют противоположность – не равенство, а неравенство – и при проверке дают шансы на некую *бифуркацию*, т. е. шансы пойти по иному пути; если же избирается этот иной путь, то он, в свою очередь, образует необратимую историю.⁶¹ Поэтому – совершенно в духе Мишеля Серра⁶² – могут образовываться паразиты, хватающиеся за эти возможности. Возникает паразитный порядок, куда почти незаметно соскальзывают состояние исключения или отклонения от позиции первичного порядка – лишь затем, чтобы, со своей стороны, вновь получить возможность принимать паразитов. “Эволюция порождает паразита, который опять-таки порождает эволюцию.”⁶³

Всем этим характеризуются только возможности, зависящие от структуры; как бы непрерывный шум у границ того общественного уклада, который жестко натянут на каркас сегментарной дифференциации. Для перехода к иной форме дифференциации, в первую очередь, необходимы предварительные процессы (*preadaptive advances*) на этой основе. Но должны быть и другие причины в том виде, как они дискутируются в (так (неудачно) называемых) “теориях возникновения государства”.⁶⁴ Одним из таких обстоятельств могло бы быть растущее вместе с производительностью применение насилия в позднеархаических обществах⁶⁵, которое делает очевидной слабость возможностей разрешения конфликтов в сегментарных обществах и вместе с тем недостаточность сегментарных обществ по сравнению с обществами, уже организованными в военном отношении. Для дальнейшего развития или, точнее говоря, для отбора обществ, способных к эволюции, теперь существуют две принципиально различных возможности: в дополнение к принципу родства – когда в верхних слоях может осуществляться эндогамия – начинает играть роль стратификация общества. В дополнение к равномерно распространенному принципу территориальности, могут осуществляться неравенства в упорядоченности пространства, т. е. может появляться дифференциация на городской центр и периферию. Все высо-

кие культуры, ориентированные на чрезвычайно разнообразные основы их существования, могут использовать оба принципа, — подобно тому, как и сегментарные общества не могли отказаться ни от уклада, основанного на родственных связях, ни от пространственно-территориального определения своих единств.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. IV:

- ¹ Важнейшее исключение — Новая Гвинея. См., в первую очередь: Fredrik Barth, *Ritual and Knowledge Among the Baktaman of New Guinea*, Oslo 1975.
- ² Это, естественно, предполагает, что экологические условия могут предотвратить чрезмерное увеличение населения. Отсюда, однако же, не следует, что экологические ограничения служат единственной причиной для возникновения более крупных систем с соответствующими последствиями (формирование иерархии, ролевое разделение, ритуализации). Для этого могут существовать и социально-структурные причины, например, лучшая обеспеченность информацией и лучшее распределение риска в охотничьих обществах.
- ³ Об этом см.: Isaac Schapera, *Government and Politics in Tribal Societies*, London 1956 (новое издание — 1963), S. 2 ff. О новых контроверзах по вопросам разграничения см.: Richard B. Lee, *!Kung Spatial Organization: An Ecological and Historical Perspective*, in: Richard B. Lee/Irven DeVore (ed.), *Kalahari Hunter-Gatherers: Studies of the !Kung San and Their Neighbors*, Cambridge Mass. 1976, pp. 73-97.
- ⁴ Мы используем здесь известное различие *ascribed/achieved status* [*присвоенный/достигнутый статус*], введенное в: Ralph Linton, *The Study of Man: An Introduction*, New York 1936. Парсонс переделал их в *quality/performance* [*родовое свойство/эффективность действий*] Оба обозначения терминологически неудачны, так как достигнутый статус, конечно же, еще и приписывается или же выступает как качество личности. Эта неясность скрывает недостаточность теоретического прояснения.
- ⁵ См. Stanley H. Udy, *Work in Traditional and Modern Society*, Englewood Cliffs N. J. 1970.
- ⁶ См. для такого случая: Alfred R. Radcliffe-Brown, *The Social Organization of Australian Tribes, Oceania I (1930-31)*, S. 34-63, 206-256, 322-343, 426-456.
- ⁷ Проблема, в первую очередь, для этнологов. Об этом см.: Raoul Naroll, *On Ethnic Unit Classification*, *Current Anthropology* 5 (1964), pp. 283-291; Michael Moerman, *Ethnic Identification in a Complex Civilization:*

- Who are the Lue?*, *American Anthropologist* 67 (1965), pp. 1215-1230; Morton H. Fried, *The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology*, New York 1967, p. 154 ff.
- ⁸ См. Schapera a. a. O. (1963), p. 153 ff., 175 ff., 200f.; David Easton, *Political Anthropology*, in: Bernard J. Siegel (ed.), *Biannual Review of Anthropology*, pp. 210-262 (232 ff.); Marshall D. Sahlins, *The Segmentary Lineage: An Organization of Predatory Expansion*, *American Anthropologist* 63 (1961), pp. 322-345. Примечательно, что этим феноменом занималась, прежде всего, политическая антропология, безуспешно пытавшаяся найти предшественников современного государства.
 - ⁹ См. Aidan W. Southall, *Alur Society: A Study in Processes and Types of Domination*, Cambridge n. Y. (1956).
 - ¹⁰ Можно сказать, что сохранение *должно* произойти, если принимать во внимание, что нормативное ожидание, в свою очередь, нормативно ожидается.
 - ¹¹ Альтернативой этому служат дихотомизации племени на половины, различие между которыми структурирует конфликт. См., например, P. H. Gulliver, *Structural Dichotomy and Jural Conflict Among the Arusha of Northern Tanganyika*, *Africa* 31 (1961), S. 19-35.
 - ¹² Об этом см. Sally Falk Moore, *Descent and Legal Position*, in: Laura Nader (ed.), *Law in Culture and Society*, Chicago 1969, pp. 374-400, особенно обоснование p. 376.
 - ¹³ О происхождении этого понятия [“указательные выражения”] см. различные издания работ Чарльза С. Пирса — например, *Semiotische Schriften Bd. I*, Frankfurt 1986, S. 206 ff. Социологи цитируют по большей части: Harold Garfinkel, *Studies in Ethnomethodology*, Englewood Cliffs N. J. 1967, S. 4 ff. См. также: Bernhard Giesen, *Die Entdinglichung des Sozialen: Eine evolutionstheoretische Perspektive auf die Postmoderne*, Frankfurt 1991, S. 25 ff.
 - ¹⁴ К тому же, здесь находят границы такие понятия, как коллективный дух или коллективное сознание, которые связаны с социологией Дюркгейма. Ими можно пользоваться, не предвещая каждую последующую ситуацию.
 - ¹⁵ К этому отсылает и тезис о том, что индивидуализация человека усиливается в процессе его развития. См. об этом полевое исследование Eleanor Leacock, *Status Among the Montagnais-Naskapi of Labrador*, *Ethnohistory* 5 (1958), S. 200-209.
 - ¹⁶ Здесь стоит привести весьма пространную цитату из Edward E. Evans-Pritchard, *The Nuer: A Description of a Nilotic People*, Oxford 1940, p. 136f.: “A man is a member of a political group of any kind in virtue of his nonmembership of other groups of the same kind. He sees them as groups and their members see him as a member of a group, and his relations with

them are controlled by the structural distance between the groups concerned. But a man does not see himself as a member of the same group in so far as he is a member of a segment of it, which stands outside of it and is opposed to other segments of it" ["Человек является членом всякого рода политической группы в силу того, что он не является членом других групп того же рода. Он рассматривает последние как отдельные группы, и их члены рассматривают его как члена определенной группы, а его отношения с другими группами контролируются структурным расстоянием. Но сам человек не рассматривает себя как члена определенной группы, поскольку он является членом ее сегмента, который находится вне других ее сегментов и противостоит им". — Э. Э. Эванс-Причард, "Нуэры", М., 1985, с. 123, пер. О. Л. Орестова.] См. также р. 147 f. [рус. пер. с. 134.] Применительно к нашим отношениям это выглядело бы так: римлянин в качестве римлянина — не итальянец, итальянец в качестве итальянца — не европеец, белый как белый — не человек. В сегментарных обществах индивид принадлежит к охватывающей системе не потому, что он принадлежит к принадлежащей к ней семье, но потому, что он должен поддерживать отношения с другими семьями и группами, к которым он не принадлежит, и может участвовать в этих отношениях один, а не через собственную семью. Едва ли можно отчетливее выразить, что единство общества конституируется посредством дифференциации, а не через предварительное проведение внешних границ.

¹⁷ Этот пример в: Godfrey Lienhardt, *The Western Dinka*, in: John Middleton/ David Tait (ed.), *Tribes Without Rulers: Studies in African Segmentary Systems*, London 1958, pp. 97-135.

ius gentium (лат.): право народов [в данном случае — право народов с другой религией и другими обычаями] — прим. пер.

¹⁸ См., например, A. Irving Hallowell, *Ojibwa Ontology, Behavior and World View*, in: Stanley Diamond (ed.), *Culture in History: Essays in Honor of Paul Radin*, New York 1960, pp. 19-52.

¹⁹ Сегодня существуют обширные исследования этого. См., например, Ruth Finnegan, *Oral Poetry: Its Nature, Significance and Social Content*, Cambridge 1977; Jan Vansina, *Oral Tradition as History*, London 1985; D. P. Henige, *Oral History*, London 1988.

²⁰ См. кн. 3, XIII.

²¹ См. для уже разработанных цивилизаторских отношений: Gerdien Jonker, *The Topography of Remembrance: The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia*, Leiden 1995.

²² Об этом: Margaret W. Conkey, *Style and Information in Cultural Evolution: Toward a Predictive Model for the Paleolithic*, in: Charles L. Redman et al. (ed.), *Social Archaeology: Beyond Subsistence and Dating*, New York,

pp. 61-85.

fas (лат.): разрешено; *ius* (лат.): право — прим. пер.

²³ Alfred R. Radcliffe-Brown, *The Andaman Islanders* (1922), новое изд. New York, p. 23f., где наблюдаются языковые различия уже между племенами, насчитывающими несколько сот человек, причем названия племен указывают на различия между языками. Barth a. a. O. (1975), S. 16, констатирует, что язык бактаманов обеспечивает общение приблизительно 1000 человек. Со всеми остальными едва ли существует готовность к пониманию, им невозможно передавать добрые намерения. Чужаки непонятны, они враги, они съедобны.

²⁴ Этот пример мы заимствуем из работы Барта: Barth a. a. O. (1975).

²⁵ Как показывает на примере Египта Ян Ассман (Jan Assmann, *Ägypten: Theologie und Frömmigkeit einer früheren Hochkultur*, Stuttgart 1984), такое объединение и такая символизация возникли только благодаря длительному развитию высокой культуры. Это впечатляющим образом доказывает, сколь проблематично подключение родовых культур, наблюдаемых из сегодняшнего дня, к архаическим отношениям.

²⁶ См. *Laws of Form*, новое издание New York, p. 56 f., 69 ff.

²⁷ См. кн. 2, IV

²⁸ То же касается *гадательных практик*, коренящихся в архаических временах, но рационализированных до учений мудрости только в высоких культурах, посредством письменности. Даже и здесь речь идет не столько о предсказании, сколько — скорее — о параллельном действии, направленном на достижение *благоприятных/неблагоприятных* моментов и условий для действия, о котором известно, что оно зависит от непроницаемых сил; и даже здесь правила гадания поддаются сплошной рационализации, при ориентации на сложные, но известные программы, т. е. по направлению к знанию, которое можно изучить, — так что речь здесь может идти об известном обращении с неизвестными условиями. См., прежде всего, Jean-Pierre Vernant et al., *Divination et Rationalité*, Paris, 1974.

²⁹ См. Edward Evans-Pritchard, *Witchcraft, Oracles and Magic Among the Azande*, Oxford 1937, например, p. 407, 411, 438f., 453 ff. Множество подтверждений обращения ободряющих речей к вещам мы находим и у Гомера. И даже после изобретения письменности, вплоть до эпохи книгопечатания существует обычай во время какого-либо действия произносить вслух или зачитывать рецепт, когда это не служит освежению памяти или информации. Об этом см.: Michael Giesecke, *Überlegungen zur sozialen Funktion und zur Struktur handschriftlicher Rezepte im Mittelalter*, *Zeitschrift für Literaturwissenschaft und Linguistik* 51/52 (1983), S. 167-184. Очевидно, речь здесь идет о том, чтобы завязать некое отношение между самостью и тайной вещью.

- ³⁰ См. весьма дифференцированные анализы отношения "morals" [англ. – мораль – прим. пер.] и "pollution" [англ. – здесь: "ритуальная нечистота" – прим. пер.] в работе: Mary Douglas, Purity and Danger: An Analysis of the Concepts of Pollution and Taboo, London 1966, pp. 129 ff.
- ³¹ См. Max Gluckman, Custom and Conflict in Africa, Oxford 1955, p. 85. И наоборот, идентификация ведьм и колдунов ставит общество перед моральной проблемой (если даже не перед правовой проблемой – как в раннее Новое время); ведь колдуны и ведьмы живут в пределах мира известного и поэтому не могут избежать моральной оценки.
- ³² См., например, William Chase Green, Moira: Fate, Good and Evil in Greek Thought, Cambridge Mass. 1944; Meyer Fortes, Oedipus and Job in West African Religion, Cambridge England 1959.
- ³³ Об этом множество свидетельств в: G. E. R. Lloyd, Magic, Reason and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science, Cambridge Engl. 1959.
- ³⁴ Поэтому в части о самоописаниях нет раздела о родовых обществах.
- ³⁵ См. Klaus E. Müller, Prähistorisches Geschichtsbewußtsein, Mitteilungen 3/95 des Zentrums für interdisziplinäre Forschung der Universität Bielefeld. Мюллер, а. а. О., S. 11, говорит об "обществах наслаения".
- ³⁶ Несмотря на обильную критику некоторых аспектов прежних исследований, кажется, будто этот тезис повсеместно признан и сегодня. Из классических текстов в первую очередь см.: Marcel Mauss, Essai sur le Don: Forme et Raison de l'échange dans les sociétés archaïques, цит. по изданию Sociologie et Anthropologie, Paris 1950, pp. 143-279; Bronislaw Malinowski, Argonauts of the Western Pacific, London 1922, особо p. 176 ff.; Richard C. Thurnwald, Gegenseitigkeit im Aufbau und Funktionieren der Gesellungen und deren Institutionen, in: Festgabe für Ferdinand Tönnies, Leipzig 1936, S. 275-297; Claude Lévi-Strauss, Les structures élémentaires de la parenté, Paris 1949, особо p. 78 ff.; Marshall D. Sahlins, On the Sociology of Primitive Exchange, in: Michael Banton (ed.), The Relevance of Models in Social Anthropology, London 1965, pp. 139-236; его же Tribesmen, Englewood Cliffs N. J. 1968, p. 81 ff. Спорным является, прежде всего, нормативное качество или, точнее говоря, то, насколько форма взаимности санкционируется сама собой посредством неисполнения обязательства при проступках. Критику этого см. в: E. Adamson Hoebel, The Law of Primitive Man, Cambridge Mass. 1954, p. 177 ff.; Isaac Schapera, Malinowski's Theories of Law, in: Raymond Firth (ed.), Man and Culture: An Evaluation of the Work of Bronislaw Malinowski, London 1957, pp. 139-155; но также см.: Raymond Firth, Primitive Polynesian Economy (1939), 2 ed. London 1965, особ p. 314 ff.; Georg Elwert, Die Elemente der traditionellen Solidarität: Eine Fallstudie in Westafrika, Kölner Zeitschrift für Soziologie

- und Sozialpsychologie 32 (1980), S. 681-704. При всех различиях в степени продвижения права в любом случае следует исходить из того, что здесь не имеется в виду строго синаллагматическое [от греч. synallagma "сделка", "договор", "контракт" – прим. пер.] отношение, которое урегулировало бы и неспособность к исполнению обязательств, и заблуждения или плохую работу.
- ³⁷ Согласно формулировке William H. Isbell, Environmental Perturbation and the Origin of the Andean State, in: Charles L. Redman et al. (ed.), Social Archeology: Beyond Subsistence and Dating, New York 1978, pp. 303-313. [energy averaging (англ.) – уравнивание энергии]
- ³⁸ Свидетельства об этом см. в: Elisabeth Cashdan (ed.), Risk and Uncertainty in Tribal and Peasant Economies, Boulder 1990.
- ³⁹ Об отношениях *позитивной/негативной взаимности* см.: Karl Hutterer, Reciprocity and Revenge among the Ifugao, Philippine Quarterly of Culture and Society I (1973), pp. 33-38.
- ⁴⁰ Правда, это соображение дает повод указать на значение развития возможностей накапливать пищу. Благодаря этому различие между обществами охотников и собирателей, с одной стороны, и аграрными обществами, с другой, предстает не так отчетливо, как предполагали прежде.
- ⁴¹ Об отсутствии объективных критериев эквивалентности (таких, как "цены") см.: Frederic C. Pryor/Nelson H. H. Graburn, The Myth of Reciprocity, in: Kenneth J. Gergen/Martin S. Greenberg/Richard A. Willis (ed.), Social Exchange: Advances in Theory and Research, New York 1980, pp. 214-237 (224 ff.). Однако же остается заметить, что правило взаимности никоим образом не ставится под сомнение, но, наоборот, повышает свою способность адаптации к различным ситуациям, тем самым дополнительно обеспечивая себе несомненную важность.
- ⁴² Поэтому впоследствии и рынки, в той мере, в какой речь идет об обособленных учреждениях, выходят из изначальной сферы взаимности; они не производят длительных символических качеств, но служат выравниванию излишков *ad hoc*. См. Paul Bohannan/Laura Bohannan, Tiv Economy, London 1968, особо p. 142 ff.
- ⁴³ Об этом см. Leopold Pospisil, Kapauku Papuans and Their Law, New Haven 1958; Lorna Marshall, !Kung African Bands, Africa 30 (1960), pp. 325-355; Ronald M. Berndt, Excess and Restraint: Social Control Among a New Guinea Mountain People, Chicago 1962.
- ⁴⁴ Сводку таких выражений находим в Firth а. а. О. (1965), S. 371 ff.
- ⁴⁵ Социально-научные развертки теории катастроф Рене Тома, в общем, застряли на уровне чистой метафоры. Осмысленны они лишь тогда, когда точно задается принцип стабильности, изменение которого (поскольку оно изменяет все) обозначается как *катастрофа*. В наших исследованиях это – изначальная форма общественной диффе-

ренциации. Другим, более ограниченным примером здесь можно назвать вызванный расширением торговых отношений распад иерархий, опирающихся на контроль над торговлей престижными товарами. Об этом Jonathan Friedman, *Catastrophe and Continuity in Social Evolution*, in: Colin Renfrew/Michael Rowlands/Barbara Abbott Segraves (ed.), *Theory and Explanation in Archaeology*, New York 1982, pp. 175-196. В теории биологической эволюции Уэддингтон (С. Н. Waddington, *A Catastrophe Theory of Evolution*, *Annals of the New York Academy of Sciences* 231 (1974), pp. 32-42) использует разделение *генотипа* и *фенотипа*.

* peasant societies (англ.): крестьянские общества.

⁴⁶ См. Peter Laslett, *The World We Have Lost*, 2 ed., London 1971.

⁴⁷ И это однозначно происходит под влиянием экономической теории разделения труда, которая требует достаточного порядка величин. См., например, Thomas Hodgskin, *Popular Political Economy*, London 1827, новое издание New York 1966, p. 117 ff.; Émile Durkheim, *De la division du travail social*, цит. по изданию Paris 1973, p. 237 ff.

⁴⁸ Отчетливо стратифицированное общество тикопия (Британские Соломоновы о-ва) насчитывало в момент его исследования Фёртом 1200-1300 членов. См. Raymond Firth, *We, the Tikopia: A Sociological Study of Kinship in Primitive Polynesia* (1936), 2 изд. 1965; Firth a. a. O. (1965), p. 187 ff. Таблица Middleton/Tait a. a. O. (1958), p. 28, не показывает для Африки взаимосвязей между масштабами ранговой дифференциации и подходами к последней.

⁴⁹ См. Roy A. Rappaport, *Ecology, Meaning, and Religion*, Richmond Cal., p. 20 ff.

⁵⁰ См. об этом Robert L. Winzler, *Ecology, Culture, Social Organization and State Formation in Southeast Asia*, *Current Anthropology* 17 (1976), pp. 626-632. Далее, в общем, об отказе от монофакторных (и приемлемых хотя бы статистически) объяснений в связи с социокультурной эволюцией: Kent V. Flannery, *The Cultural Evolution of Civilizations*, *Annual Review of Ecology and Systematics* 3 (1972), pp. 399-426.

⁵¹ Дискуссия возникла из критики недооценки социально-структурного значения этой торговли в теории миросистем Валлерстайна, в ходе попыток применить эту теорию к отношениям, существовавшим до Нового времени. Свидетельства см. в: Timothy B. Champion (ed.), *Centre and Periphery: Comparative Studies in Archaeology*, London 1989.

⁵² Этнология формирует для этого особую категорию "rank societies" [англ. – ранговые общества – прим. пер.]: им хотя и ведомы охватывающие целые поколения различия между семьями по рангу и богатству, но это различие еще не закрепилось в форме стратификации различий жизненной формы, равноправия и т. д. См., например, Morton H. Field, *The Evolution of Political Societies: An Essay in Political*

Anthropology, New York 1967.

⁵³ Другим также бросалось в глаза, что история возникновения цивилизаций часто описывается выражением "внезапно". С этого вопроса начинает, например, Alexander Marshack, *The Roots of Civilization: The Cognitive Beginnings of Man's First Art, Symbol and Notation*, London 1972, p. 12 (основываясь на более широком понятии цивилизации).

⁵⁴ Здесь мы берем за основу совершенно обобщенный системно-теоретический механизм. См. Alfred Gierer, *Die Physik, das Leben und die Seele: Anspruch und Grenzen der Naturwissenschaft*, 4 Aufl., München 1988, особо 137 ff.

⁵⁵ Материал для разнообразия форм в весьма различных обществах, т. е. доказательства универсальности формы "ранговых различий", мы находим в Barry Schwartz, *Vertical Classification: A Study in Structuralism and the Sociology of Knowledge*, Chicago 1981.

⁵⁶ См., например, Jonathan Friedman, *Tribes, States, and Transformations*, in: Maurice Bloch (ed.), *Marxist Analyses and Social Anthropology*, London 1975, pp. 161-202; Kristian Kristiansen, *The Formation of Tribal Systems in Later European Prehistory: Northern Europe, 4000-500 B. C.*, in: Colin Renfrew/Michael J. Rowlands/Barbara Abbott Segraves (ed.), *Theory and Explanation in Archaeology*, New York., pp. 241-280.

* preadaptive advances (англ.): преадаптивные шаги – прим. пер.

⁵⁷ Такова обычная концепция относительно "обществ вождей". Достаточно посмотреть Hans Wimmer, *Evolution der Politik: Von der Stammesgesellschaft zur modernen Demokratie*, Wien 1996, S. 193 ff.

⁵⁸ См. Elisabeth Colson, *A Redundancy of Actors*, in: Fredrik Barth (ed.), *Scale and Social Organization*, Oslo 1978, pp. 150-162.

⁵⁹ "Occasionally a son or other relative of a former headman may be chosen, although such a relationship is by no means the deciding factor" [Время от времени может избираться сын или другой родственник бывшего вождя, хотя такое родство никоим образом не является решающим фактором] – гласит типичное наблюдение Джона Гиллина, John Gillin, *Crime and Punishment Among the Barama River Carib of British Guiana*, *American Anthropologist* 36 (1934), pp. 331-344 (333). Аналогичную констатацию для другой области земного шара см. в: K. E. Read, *Leadership and Consensus in a New Guinea Society*, *American Anthropologist* 61 (1959), pp. 425-436. Что касается обобщенного различия типов, см. Marshall D. Sahlins, *Poor Man, Rich Man, Big Man, Chief: Political Types in Melanesia and Polynesia*, *Comparative Studies in Society and History* 5 (1963), pp. 285-303.

⁶⁰ См. формулировку Фридмана, Friedman a. a. O. (1975), p. 174: "... when a living lineage begins to occupy the previously 'empty category' defined by the imaginary segmentary locus at which all ancestral lines

meet." [когда живое патрилинейное родство начинает занимать бывшую "пустую категорию", определяемую воображаемым сегментарным локусом, где сходятся все линии предков].

- ⁶¹ Естествоиспытатели тоже объясняют историчность систем с помощью этой концепции. См., прежде всего, Ilya Prigogine/Isabelle Stengers, *Dialog mit der Natur: Neue Wege naturwissenschaftlichen Denkens*, München 1981, S. 165 ff.
- ⁶² Michel Serres, *Le Parasite*, Paris 1980.
- ⁶³ Serres, цит. по немецкому переводу, Frankfurt 1981, S. 282.
- ⁶⁴ См., например, Elman R. Service, *Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Revolution*, New York 1975; Klaus Eder, *Die Entstehung staatlich organisierter Gesellschaften: Ein Beitrag zu einer Theorie sozialer Evolution*, Frankfurt 1976; Henry T. Wright, *Recent Research on the Origin of the States*, *Annual Review of Anthropology* 6 (1977), pp. 379-397; Ronald R. Cohen/Elman R. Service (ed.), *Origins of the State: The Anthropology of Political Evolution*, Philadelphia 1978; Henri J. M. Claessens/Peter Skalnik (ed.), *The Early State*, Den Haag 1978; Elisabeth M. Brumfield, *Aztec State Making: Ecology, Structure, and the Origin of the State*, *American Anthropologist* 85 (1983), pp. 261-284; Henri J. M. Claessens/Pieter van de Velde/M. Estellie Smith (ed.), *Development and Decline: The Evolution of Sociopolitical Organization*, South Hadley Mass. 1985; John Gledhill/Barbara Bender/Mogens Trolle Larsen (ed.), *State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization*, London 1988.
- ⁶⁵ В этой связи можно упомянуть и сам прирост производительности – во всяком случае, в обществах Полинезии, которые известны как раз такой интенсивностью конфликтов. См. Marshall D. Sahlins, *Social Stratification in Polynesia*, Seattle 1958. Критику этого см. в работе: Rappaport a. a. O. (1959), p. 14 ff.
- ⁶⁶ Обзор и интенсивность этого нового направления исследований см. в: Michael Rowlands/Mogens Larsen/Kristian Kristiansen (ed.), *Centre and Periphery in the Ancient World*, Cambridge Engl. 1987; Timothy C. Champion (ed.), *Centre and Periphery: Comparative Studies in Archaeology*, London 1989, а также Christopher Chase-Dunn/Thomas D. Hall (ed.), *Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds*, Boulder Col. 1991. С теоретико-исторической точки зрения, это исследование мотивировано интересом к обширным хозяйственным и культурным связям, а уже затем – сравнением эволюционного значения различных форм дифференциации.

V. ЦЕНТР И ПЕРИФЕРИЯ

Высокие культуры, предшествующие Новому времени, основаны на формах дифференциации, которые могут учитывать и задействовать неравенства в некоторой структурно-определяющей позиции. Будучи хорошо развитыми, эти культуры используют как стратификационную дифференциацию, так и дифференциацию *центр/периферия*. По отношению к этим достижениям такие высокие культуры могут быть охарактеризованы как аристократические общества или даже как городские общества, однако же при этом такими признаками знатности всякий раз наделяется лишь небольшая часть населения.

Дифференциацию *центр/периферия* в зачаточном виде мы обнаруживаем уже в сегментарных обществах, и прежде всего, когда одно из таких обществ добивается доминирующей роли в торговле с отдаленными территориями.¹ Однако пока эта дифференциация еще не ставит под вопрос сегментарную дифференциацию. Происходит это лишь тогда, когда доминирующее положение центра используется для того, чтобы установить там другие формы дифференциации, и прежде всего, более отчетливую ролевую дифференциацию («разделение труда»).

Дифференциация *центр/периферия* начинается благодаря обособлению центров. Центр служит как бы очагом такой дифференциации. Поэтому центр с его собственными достижениями и дифференциациями зависит от этой формы дифференциации больше, чем периферия. Периферия же сохраняет сегментарную дифференциацию семейных хозяйств, и потому она могла бы выжить и без центра.

В зависимости от интенсивности контактов, в пределах периферии могут завязываться новые дифференциации. Поэтому полупериферия находится в более тесных отношениях с центром в том, что касается эксплуатации (но и защиты!), тогда как жители отдаленной периферии едва ли знают, что такие отношения существуют.² И точно так же может существовать мно-

жество центров, один из которых осуществляет гегемонию над другими. Такие дубликации центров в то же время делают возможным восприимчивость к изменениям. Множество центров – в отличие от случая с ранговой дифференциацией – не обязательно служат признаком стабильности.

К тому же (и именно в данном случае) если рассматривать форму дифференциации как определяющий признак общественной формации, то следует иметь в виду, что одного этого недостаточно для того, чтобы описать возникновение и проблематику таких общественных систем типа высоких культур. Абстрагируясь от условий пропитания и демографических условий, нужно указать на один фактор, усложняющий картину. В сравнении с сегментарными обществами, количество и сложность внешних контактов, которым способствует формирование центра (но еще и высшего слоя), неизмеримо возрастает. Система должна держать наготове соответствующие мощности по обработке информации и упорядочивать их иерархически. Тем самым растет и восприимчивость к информации, влияние которой сказывается лишь косвенно. На оперативном уровне дело доходит до расширения коммуникационных возможностей, которое в ряде случаев приводит к образованию обширных территориальных империй. Их количество, естественно, гораздо меньше, чем количество сегментарных обществ, но все-таки достаточно велико для того, чтобы можно было думать об эволюционной конкуренции и отборе.³

И в архаическом мире родовых общественных систем коммуникация через системные границы была уже возможной – коммуникация с соседними родами, а в некоторой мере даже торговля с отдаленными территориями. Итак, в зачаточном виде уже существовали основания для формирования более крупных систем, но эти системы впоследствии идентифицировались конкретно, в пространстве, но не воспринимались как дифференцированные системы, обособляющиеся как направленные волны. Соответственно – еще в родовых обществах космология была настроена на различие *центр/периферия*; или, во всяком случае, сегментарные общества воспринимали самих себя как

(единственный) центр мира и как выделенную начальную точку сотворения мира и человечества. С расширением коммуникации, ее перешагиванием через границы, такое положение меняется. Обширные торговые отношения существовали уже между родовыми обществами. А о форме дифференциации нового типа мы будем говорить лишь в том случае, если структурные особенности в центрах обусловлены соблюдением различия между центром и периферией⁴, например, говоря современным языком, основаны на накоплении капитала.⁵

О переходном периоде мы знаем мало, так как археология, да и обычная этнология с их методами исследования, ориентированными на изолируемые единицы, уделяли этому процессу недостаточное внимание.⁶ Более далеко идущие взаимосвязи описывались смутным понятием диффузии, следы которой можно было устанавливать на местах. Но ведь можно предположить и сформулировать как гипотезу, что возрастание сложности коммуникации, переходящей через границы, вместе с растущими внутренними последствиями успехов этой коммуникации, будет иметь как минимум три следствия, а именно: (1) возникновение форм территориальной дифференциации, (2) воздействие рефлексии (как правило, в религиозной форме) на собственную идентичность и разнообразие и (3) интерес к эффективному контролю над процессами по ту сторону границ, т. е. тенденцию к расширению территориального господства. Соответственно – возникают центры, которые вырабатывают символически оформленный и смыслообразующий приоритет центра и, отпавляясь от этого, от случая к случаю преследуют миссионерские цели; и другие центры, ограничивающиеся организацией власти и ресурсов, эксплуатацией периферии.⁷ Самое позднее во втором тысячелетии до н. э. отчетливо распознается возникающая на Ближнем Востоке в связи с образованием империй семантика многонациональности.

В связи с исследованиями древней Месопотамии такое развитие можно хорошо наблюдать по его семантическим («географическим») следствиям.⁸ Древнейшая модель как будто бы сплошь состояла в строгом разделении между обитаемой и за-

селенной землей и пустошью. На собственной, цивилизованной земле можно жить, строить, учреждать культы. Здесь присутствуют память и цивилизация. На окружающей пустоши прячется много ошеломляющего и ужасного. Эта модель еще лежит в основе более поздних рассказов о героических экспедициях царей в окружающую пустошь. Экспедиции могут быть мотивированы военными или торговыми причинами. Они стилизуются под героические деяния и становятся предметом легенд, так как предполагается, что внешний мир еще представляет собой опасную, неведомую пустошь. С ростом торговли такая география сдвигается в сторону описания проездных дорог. Семантика проездных дорог обладает тем преимуществом, что она может выразить в едином символе близость (достижимость) и даль (инобытие). Она не зависит от возможности идентифицировать проведенные в пространстве линейные границы между центром и периферией. Центр и периферия остаются формой различия.

Расширение возможностей коммуникации через границы империи следует необходимости подразделять людей в зависимости от того, причисляют ли они себя к области собственного уклада или же живут по ту сторону границ. Это требует, с одной стороны, обобщенного понятия *человека* (с соответствующими последствиями для космологии и, в особенности, религии, признаваемой в империи), а с другой – административного деления, разработанного в центре и подтверждающего самопонимание данного центра.⁹ Можно было бы говорить о конкретно обоснованной универсальной семантике. Как бы там ни было, в мир следует внести различия и сознания ограниченности – и не только как в сегментарных обществах (предполагая «и так далее» чего-либо подобного), но и как инкорпорацию инородности иного.¹⁰

Как бы там ни было, литература не дает ясного представления о внешних границах описываемых крупных комплексов, или империй, или миросистем (“world-systems”). В зависимости от того, исходим ли мы из торговли, из военного контроля, или из диффузии культуры, достигаются весьма различные ре-

зультаты.¹¹ На это мы можем прореагировать тезисом, что границы располагаются там, где их видит центр – независимо от того, насколько уменьшаются контакты с соседями на периферии. А значит, в центре необходимо решать, к примеру, насколько обширной должна быть военная защита торговых интересов и как следует рассматривать отношения опорных пунктов к прилегающим территориям.

Во всяком случае, незначительность контроля над коммуникацией препятствует образованию такого политического уклада, который можно считать предшественником современного территориального государства.¹² Весьма типично – причем независимо друг от друга возникающих случаях – центр видит свою задачу, скорее, в поддержании космических отношений общества, в проведении основанных на этом обрядов и в содержании соответствующей религиозно-политической бюрократии, тогда как регулирование экономических связей и конфликтов по-прежнему передается семейным экономиком и иногда – специально образованным для этого корпорациям (храмам, гильдиям, цехам). Неслучайно, что при таких условиях не возникает ни гражданское право, ни рыночное кондиционирование индивидуального поведения.

Схема *центр/периферия* обнаруживает самые разные формы своего применения. Можно отправляться от городов, как от центров. Затем почти неизбежно речь заходит о признании множества таких центров с соответствующими (сельскими) перифериями. Другим случаем является образование великих империй, у которых есть возможность воспринимать самих себя в качестве центра мира, а все остальное – как периферию. Поэтому Китай даже в середине XIX века считал себя единственной «Поднебесной империей», а не, например, одной из культур, не говоря уже о самопредставлении как государства среди государств. Тем самым форма дифференциации в то же время оказывалась космологией.

О возникновении первых великих империй известно мало.¹³ Расширение фигур коммуникации за пределы рода осуществляется посредством торговли. Затем свою роль здесь играют

военные потребности безопасности и культурная (религиозная, миссионерская) экспансия, в особенности – после создания мировых религий. В качестве вторичных образований можно наблюдать номадизацию окраинных регионов, вступающих в отношения с империей и нередко также копирующих ее институты господства.¹⁴ Сюда же относятся портовые города на чужой территории и развивающиеся с их помощью дуальные экономики.¹⁵ Пожалуй, особенно бросается в глаза такой признак данных империй как бюрократическая форма господства и скрывающаяся за нею стратификация, сводящаяся к различиям в богатстве и в возможностях.

Здесь невозможно предполагать значительную плотность коммуникации и внутреннем направлении. Большинство жителей таких великих империй как будто бы вообще не знали о том, что они живут в империи (что мы можем представить себе по картам их стран). Соответственно – имперские идеологии, например, конфуцианство Китая, или письменно разработанные мировые религии оставались в значительной степени неизвестными или известными лишь в популярных изложениях; а представители бюрократических элит тоже едва ли интересовались тем, что происходило в головах простых людей.

Чтобы чуть строже очертить понятие *империи*, империи здесь будут пониматься исторически как квазиестественный побочный продукт расширения пространства коммуникации. Поэтому с формой империи, как уже сказано, сопрягается отсутствие окончательных границ. Вместо них мы обнаруживаем горизонты, определяющие достижимое и варьирующиеся вместе с ним.¹⁶ Таким образом, империя представляет собой смысловой горизонт коммуникаций, а именно коммуникаций бюрократических элит, которые исходят из уникальности своей империи и считают пространственные границы лишь преходящими ограничениями области их фактического влияния. (Пока что) последним случаем такой империи – в контексте социалистического Интернационала и научно предсказанной мировой революции – оказался Советский Союз.

Можно придерживаться мнения, что в случае таких бюрок-

ратических империй перед нами предстает особая, не предусмотренная в нашем каталоге форм дифференциация. Но, пожалуй, речь все-таки идет лишь о сложной форме дифференциации *центр/периферия* с империей и имперской бюрократией в качестве центра. Как бы там ни было, повторяются те типично структурные проблемы, а именно – проблемы диффузии и контроля, что характерны для этой формы дифференциации.¹⁷ Располагать письменностью было непременно необходимо, чтобы сохранять обзор ситуации, по меньшей мере, из центра и фиксировать исходящую из него коммуникацию.¹⁸ При этом такие формы письменности, как китайская, или собственный письменный язык (клинописный аккадский, арабский в африканских территориальных империях, латынь в Священной Римской империи Средневековья), могли быть важны, так как они делали сеть записок и посланий независимой от местных разговорных языков и могли избежать проблемы перевода. Однако же не следует переоценивать тематический диапазон и глубину контроля, которые достигались таким образом. Эффективные возможности коммуникации (почта Римской империи – титаническое усилие на этом фоне) оставались незначительными и недостаточными для фактического осуществления господства. Приходилось довольствоваться взысканием податей, принудительным набором рабочей силы и карательными акциями, напоминающими боевые походы. В связи с незначительными возможностями информации и контроля была почти исключена возможность добиваться послушания уже одними угрозами санкций. Поэтому фактически находящийся в распоряжении потенциал власти остается небольшим, а проводившиеся от случая к случаю и все более суровые акции вынуждали сельское население к позиции избегания контактов и к сохранению изначальной сегментарной дифференциации.¹⁹ Также, как правило, оказывается трудным держать под контролем местную аристократию – например, в форме принуждения время от времени присутствовать в столице (Япония). Тем сильнее бросаются в глаза различия, возникшие между имперскими культурными центрами и сельской жизнью: отчетливый мотив для возникно-

вения и самоинтерпретации «высоких культур».²⁰ Как следствие семантика теперь подразделяется на *High Tradition* и *little tradition*, а также ступенчатый *folk/urban* * континуум.²¹

В центре речь идет о более значительных дифференциациях самого разнообразного рода и о “sharing of facilities”.²² Последнее благоприятствует развитию, которое можно было бы описать как все большее уплотнение сетей интеракции, и одновременно становится возможным благодаря такому развитию.²³ В имперских центрах, прежде всего – в сравнении с локальными связями периферии – поддерживаются внутренне более сложные и в то же время регионально более дальние контакты. Местные взаимоотношения (и это касается и языковых связей) могут сильно различаться и не быть известными друг другу. Национальные языки возникают лишь вместе с книгопечатанием. Центр обосновывает себя в качестве центра с помощью космологической конструкции. Так – посредством письменной фиксации основополагающих текстов – появляется неколебимая семантическая стабильность. Даже в смутное военное время великого переселения народов в Риме говорили о *pax romana* * и, недолго думая, рекрутировал вторгающихся варваров в наемники.

Один из важнейших аспектов схемы *центр/периферия* таков: эта схема в центре (в больших городах или в связи с образованием империй) обеспечивает такую стратификацию, которая выходит далеко за пределы того, что было возможно в небольших обществах прежнего типа. В особенности это относится к возможности выделения аристократии посредством эндогамии – одновременно к тому, что в сегментарных обществах сохраняется заповедь экзогамии для отдельных семей. Поскольку лишь сравнительно небольшое количество семей может относиться к аристократии (так как в иных случаях недостает ресурсов, а многократное увеличение знати обесценило бы ее), стратификация требует достаточно большого брачного рынка, т. е. большей области территориального включения и большей плотности населения в столицах. Потому с этой точки зрения различие *центр/периферия* в то же время предоставляет с одной его стороны, в центре, возможности для других форм диф-

ференциации и, в первую очередь, для стратификации. Это различие – если можно дать заостренную формулировку – представляет собой дифференциацию форм дифференциации, когда на селе дифференциация еще остается сегментарной, а в городе уже становится стратифицированной.²⁴

Тем самым большие империи могли сочетать две разных формы дифференциации на основе неравенства и надстраивать над этим сочетанием дифференциации *центр/периферия* и стратификации. Развитая в этих империях форма опирающегося на бюрократию господства представляет собой ту форму, что, дифференцируясь, способствует возникновению указанной комбинации. Поэтому и современниками, и в исторической ретроспективе воспринимался, прежде всего, блеск такой унитарной формы бюрократического господства, которая обеспечивает господство властителя и одновременно им же легитимируется. При этом прежде всего структура расслоения общества остается на заднем плане оптически, но не функционально. Официально воспринимающая себя в качестве центра разделенная на ведомства бюрократия образует видимую структуру империи и берет на себя ее религиозное или этическое самоописание. Осуществление господства и религия неотделимы друг от друга. При этом структура имперских должностей требует значительной степени мобильности и обеспечивает такую мобильность, так что этим маскируется слоевая дифференциация и это препятствует структурному и семантическому завершению процесса.²⁵ Однако же слоевая дифференциация оказывает непосредственное воздействие, когда она регулирует доступ к шансам на образование и карьеру. И не в последнюю очередь значительную роль здесь играет протекция как внутренний инструмент власти и как механизм связи по отношению к социальному расслоению.

Во всяком случае, стратификация становится столь мощной, что обширной империей оказывается невозможно управлять ни посредством аристократии, ни вопреки последней. Система господства не может работать исключительно посредством делегирования власти на места²⁶, она должна опираться на мест-

ные источники, т. е. на землевладение аристократии. Проблему отражают такие правила: губернаторов провинций не следует назначать из местных семейств или же их следует чаще менять. Ведь при таких условиях ситуация часто доходит до соперничества в рамках самой аристократии, до образования фракций, до убийства королей и истребления целых семей, что приводило к таким циркулярным отношениям, когда аристократия стремится оказывать влияние на правительственные дела, а король хочет получить контроль над аристократией, благодаря чему оказывал влияние на самого себя.²⁷ Эта постановка проблемы в эпоху раннего Нового времени наложила в высшей степени определяющий отпечаток даже на учение о *государственном интересе*²⁸, хотя государство Нового времени уже приступает к тому, чтобы лишать эту доктрину структурных принципов (и не только в форме политических консультаций).

Описания мира и империй, предуготовленные такими условиями, исходят из центра, но ради полноты охватывают и периферию, и то, о чем еще следует задуматься по ту сторону типичного для империи уклада. Для своего мироописания они стремятся к полноте (и тем самым обречены на безальтернативность). Они переходят границы неравенств, территориализуют неравенства, и тем самым поверх воображаемого упорядочения пространства устанавливают единство различий. Сегодня мы читаем такие описания как развернутые парадоксы, разрешающиеся пространственным способом. Поэтому способность к чрезвычайно длительной и стабильной передаче по традиции таких моделей уклада находится во взаимозависимости со структурной релевантностью проблемы (имперского) единства различий, т. е. ее следует объяснять эффективным удовлетворением некоей потребности в семантике для господствующих слоев империи.

Не во всех случаях общество получает импульс, приводящий – именно с помощью расширения области коммуникации – к образованию империи. Географические условия, например, в Эгеиде²⁹, или даже пограничное положение между двумя великими империями, как в случае с Израилем, способствовали

исключениям, и притом исключениям с далеко идущими последствиями для семантических инноваций. Парсонс называл такие общества “seed-bed societies”.³⁰ Однако и для таких обществ важны такие формы дифференциации, как *центр/периферия* и стратификация. Речь здесь идет о городских и аристократических обществах. Но, очевидно, отклонения от типики великой империи было достаточным для формирования значительных возможностей для самокритической семантики – в Израиле в форме пророчеств, в Греции в форме новой разновидности основанного на письменности стремления к познанию³¹; и в обоих случаях – в не привязанной к установившимся должностям форме наблюдения второго порядка: наблюдения за наблюдениями. К смене формы дифференциации, к новой «катастрофе» такие общества, однако же, не подготовлены, и семантические инновации не подготовили в данной точке отрыв, произошедшей с Европой в эпоху раннего Нового времени.

Эволюционный потенциал бюрократических империй, но также и других форм высокой культуры, следует оценивать, скорее, как незначительный. При примечательной динамике роста и падения, при частом географическом смещении центров и при хрупком балансе между политическими лидерами, религиозными элитами и основанной на землевладении аристократией речь, скорее, идет о циклических процессах, о вариациях в рамках стабилизировавшихся неравенств, но не о переходе к принципиально иной форме дифференциации. Коллапсы³² приводят к тому, что начинаются попытки вновь установить форму дифференциации *центр/периферия*, а в ней – стратификацию. Функциональные комплексы, особенно религия и (после введения золотых монет) денежное хозяйство, приспособляются к этому укладу и к его территориальным режимам. Ведь в конечном итоге трудно себе представить, чтобы религия или торговля образовывали другое, независимое общество. Или же – когда речь заходит о таких представлениях, как Августиново учение о «двух градах» (*civitates*), необходимо уяснить, что только один из этих градов (империй) может быть от мира сего, а другого приходится ждать.

Изменение вырисовывается лишь тогда, когда большинство функциональных систем примерно одновременно вступает на путь отдифференциации с оперативной автономией, а следовательно, ни одна из этих систем не образует новое общество, но общественный порядок должен переключаться на различие между функциональными системами. Под эгидой старых форм дифференциации это происходит только в Европе в эпоху раннего Нового времени.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. V:

- ¹ Обзор и интенсивность этого нового направления исследований см. в: Michael Rowlands/Mogens Larsen/Kristian Kristiansen (ed.), *Centre and Periphery in the Ancient World*, Cambridge Engl. 1987; Timothy C. Champion (ed.), *Centre and Periphery: Comparative Studies in Archaeology*, London 1989. См. также Christopher Chase-Dunn/Thomas D. Hall (ed.), *Core/Periphery Relations in Precapitalist Worlds*, Boulder Col. 1991. С теоретико-исторической точки зрения, это исследование мотивировано интересом к обширным хозяйственным и культурным связям, а уже затем – сравнением эволюционного значения различных форм дифференциации.
- ² См. David Wilkinson, *Cores, Peripheries, and Civilizations*, in: Chase-Dunn/Hall, a. a. O., pp. 113-166, со ссылкой на Carroll Quigley, *The Evolution of Civilizations: An Introduction to Historical Analysis*, New York 1961, pp. 85-87.
- ³ Относительно обзора и анализа внутренней проблематики таких имперских образований см. Shmuel N. Eisenstadt, *The Political Systems of Empires*, New York 1963. Что касается дифференциации центр/периферия, см. *paperback*-издание этой же книги, New York 1969.
- ⁴ Одной из причин для интенсификации торговли могло бы быть то, что первые высокие культуры, способные образовывать центры, возникают в явно бедных сырьем областях: в долине Нила и в Месопотамии.
- ⁵ Нет необходимости разделять мнение, будто это и есть «материалистическая» теория истории (как, например, в Barry K. Gills/Andre Gunder Frank, *5000 Years of World System History*, in: Chase-Dunn/Hall a. a. O., pp. 67-112). Наоборот: накопление материи еще долго не является формированием капитала – ведь при формировании капитала ресурсы используются для целей, которые не сводятся к чистой материальности.
- ⁶ Соответствующие критические замечания в контексте семиотических интересов, см. в работе: Dean MacCannell/Juliet F. MacCannell, *The Time of the Sign*, Bloomington Ind. 1982, p. 76 ff.

- ⁷ Об этом различии (относительно Африки) см. Shmuel Noah Eisenstadt, *Social Division of Labor, Construction of Centers and Institutional Dynamics: A Reassessment of the Structural-Evolutionary Perspective*, *Protosoziologie* 7 (1995), p. 11-22 (14f.) со ссылкой на S. N. Eisenstadt/Michel Abitbol/Naomi Chazan (ed.), *The Early State in African Perspective: Culture, Power and Division of Labor*, Leiden 1987. Аналогичное различие см. также в работе: Chase-Dunn/Hall a. a. O. (1991), p. 19 ff.
- ⁸ Я следую здесь Gerdien Jonker, *The Topography of Remembrance: The Dead, Tradition and Collective Memory in Mesopotamia*, Leiden 1995, особо p. 38 ff., 117 ff.
- ⁹ См. Rudolf Stichweh, *Fremde, Barbaren und Menschen: Vorüberlegungen zu einer Soziologie der "Menschheit"*, in: Peter Fuchs/Andreas Göbel (Hrsg.), *Der Mensch – das Medium der Gesellschaft?*, Frankfurt 1994, S. 72-91.
- ¹⁰ Модель, превосходно соответствующая таким требованиям, анализируется в работе: Rainer Grafenhorst, *Das kosmographische System der Purānas: Zur Funktion und Struktur indischer Kosmographie*, Diss. Hamburg 1993. Земной диск оказывается разделенным на центральный континент и шесть остальных, его окружающих, разделенных морями островных континентов с отклоняющейся от центрального континента структурой – и все эти континенты населены людьми. В соответствии с этим, каждый континент окружен *другим* внешним миром, а последний – морем, достигающим границы земли. Качество жизни на отдельных континентах – при таких одинаковых требованиях к порядку, как религия и политическое господство, – ухудшается с удалением от центра, но требования к порядку еще и подтверждают то, что должно считаться самопонятным порядком. Лишь на последнем островном континенте все, что имеет значение, упраздняется. Этот континент дополняет порядок мирового общества его отрицанием – но он пространственно отдален и практически недоступен, так как располагается на краю света. По сравнению с преданиями, коренящимися в (сегментарно дифференцированном) более раннем (ведическом) обществе, перестройка простых пространственных представлений отчетливо проявляется по различиям, которые обозреваются и которым обучают из центра; обобщить же их можно лишь по парадоксальности включения противоположного.
- ¹¹ Сжатый обзор см. в Chase-Dunn/Hall a. a. O. p. 8 ff. См. также Owen Lattimore, *Studies in Frontier History: Collected Papers 1928-1958*, Paris 1962, p. 480.
- ¹² Преобладающая литература делает другой терминологический выбор и уже в этом пункте говорит об «образовании государства», что дает ей возможность работать с грубым различием догосударствен-

- ных и государственных обществ. (Лит. см. выше, прим. 64 к гл. IV) Тем самым, однако, стирается различие, которое появляется только в начале Нового времени и называется «государством»: речь идет об отдифференциации конкретной политической системы. Вместо этого в ранних структурах господства мы подчеркиваем примат дифференциации на центр и периферию.
- ¹³ Поскольку это обсуждение притязает на построение теории, демографические анализы располагаются на переднем плане. Поскольку же в последнее время мы встречаем и тезис, будто уменьшение населения благоприятствует возникновению территориально-политического господства (см. Henry T. Wright/Gregory Johnson, *Population, Exchange, and Early State Formation in Southwestern Iran*, *American Anthropologist* 77 (1975), pp. 267-289), результат этой постановки вопроса кажется нелогичным. О представлениях, использующих эксплицитно экологический (и тем самым также демографический) подход, см. Robert MacAdams, *The Evolution of Urban Society: Early Mesopotamia and Prehispanic Mexico*, London 1966; William T. Sanders/Barbara T. Price, *Mesoamerica: The Evolution of a Society*, New York 1968.
- ¹⁴ Наиболее известный пример дает северная граница Китая. См. Owen Lattimore, *Inner Asian Frontiers of China*, New York 1940; его же *The Periphery as Locus of Innovation*, in: Jean Gottmann (ed.), *Centre and Periphery: Spatial Variation in Politics*, Beverly Hills Cal. 1980, pp. 205-208; Thomas Barfield, *The Perilous Frontier: Nomadic Empires and China*, Cambridge Mass. 1989. Но следует подумать и о формировании кочевнических племен на Ближнем Востоке, что символизируется «Исходом из Египта». В том, что касается номадизации Палестины последнего столетия третьего тысячелетия до н. э., см. Talia Shay, *A Cycle of Development and Decline in the Early Phases of Civilization in Palestine: An Analysis of the Intermediate Bronze Period (2200-2000 BC)*, in: John Gledhill/Barbara Bender/Mogens Trolle Larsen (ed.), *State and Society: The Emergence and Development of Social Hierarchy and Political Centralization*, London 1988, pp. 113-120. Важно, что речь тут идет не об изначальной форме общества.
- ¹⁵ См. позднее наблюдение J. H. Boeke, *Economics and Economic Policy of Dual Societies as Exemplified by Indonesia*, New York 1953.
- ¹⁶ В отношении Советского Союза см. об этом Alexander Filippov, *The Observer of the Empire*, Moscow 1991.
- ¹⁷ См. Edward Shils, *Centre and Periphery*, in: *The Logic of Personal Knowledge: Essays Presented to Michael Polanyi*, London 1961, pp. 117-131; его же, *Center and Periphery: Essays in Macrosociology*, Chicago 1975. Далее, например, Shmuel N. Eisenstadt, *Social Differentiation and Stratification*, Glenview Ill. 1971; Stein Rokkan/Derek W. Urwin (ed.),

- The Politics of Territorial Identity: Studies in European Regionalism*, London 1982; их же, *Economy, Territory, Identity: Politics of West European Peripheries*, London 1983. О важной роли географических исследований см. также Jean Gottman (ed.), *Centre and Periphery*, London 1980. Между прочим, мы обнаруживаем и примечательные монографии, работающие с этой схемой. Напр.: John Bannerman, *The Lordship of the Isles*, in: Jennifer M. Brown (ed.), *Scottish History in the Fifteenth Century*, New York 1977, pp. 209-240, или Jack P. Greene, *Peripheries and Center: Constitutional Development in the Extended Policies of the British Empire and the United States 1607-1788*, Athens Ga. 1986.
- ¹⁸ См. Rudolf Schieffer (Hrsg.), *Schriftkultur und Reichsverwaltung unter den Karolingern*, Opladen 1996. О нестабильности зачатков формирования империи в бесписьменных обществах Африки см. Jack Goody, *Die Logik der Schrift und die Organisation von Gesellschaft*, нем. пер. Frankfurt 1990, S. 187 ff.
- ¹⁹ Типичные примеры предлагает Китай (см., например, Jacques Gernet, *La vie quotidienne en Chine a la veille de l'invasion mongole 1250-1276* (1959), цит. по изданию 1978, p. 177f.) Многие особенности старокитайского общества – многофункциональная значимость большой семьи и наличие гильдий с функциями защиты от политики, а также отсутствие развития гражданского права, которое было бы сравнимо с римским или английским, могли бы найти здесь объяснение. И не в последнюю очередь, такие реликты защитных механизмов могли бы еще объяснить, отчего в Китае переход к современной цивилизации оказался гораздо труднее, чем в Японии. В явственном контрасте к этому, европейское Средневековье, особенно в Англии, уже знает высокую меру индивидуализации собственности с эффективной защитой права. См. Alan MacFarlane, *The Origins of English Individualism*, Oxford 1978.
- ²⁰ То, что это осуществляется и без формирования империи, а только в связи с формированием городов, можно наблюдать на «полисной» культуре Греции. Впоследствии это формулируется и эксплицитно благодаря различению *polis/oikos*, тем самым давая повод для возникновения «этнополитической» традиции Запада, под которой первоначально подразумевалось лишь развитие возможных только в городе установок и предприимчивости.
- * folk/urban (англ.): народный/городской – прим. пер.
- ²¹ Об этом см. публикации Роберта Редфилда, например, *Robert Redfield, Peasant Society and Culture: An Anthropological Approach to Civilization*, Chicago 1956. Правда, здесь следует заметить, что это различие не идентично различию *центр/периферия*, но, не в последнюю очередь, служит тому, чтобы отображать, т. е. повторять различие между цен-

- тром и периферией на периферии. [sharing of facilities (англ.): общее пользование удобствами]
- ²² Rokkan/Urwin а. а. О. (1983), p. 7.
- ²³ Обобщенно об этом Bruce H. Mayhew/Roger L. Levinger, Size and Density of Interaction in Human Aggregates, American Journal of Sociology 82 (1976), pp. 86-110. См. также их же, On the Emergency of Oligarchy in Human Interaction, American Journal of Sociology 81 (1976), pp. 1017-1049.
- ²⁴ рах гомана (лат.): римский мир – прим. пер.
- ²⁴ В какой степени это обязательно значило, что во всех обществах, предшествовавших модерну (за важным исключением европейского Средневековья), всякая аристократия была городской, – вызывает споры. См. Gideon Sjoberg, The Preindustrial City: Past and Present, Glencoe Ill. 1960, где отстаивается этот тезис; а его критический анализ с профессиональной исторической точки зрения см. в работе: Paul Wheatley, "What the Greatness of a City is said to be": Reflections on Sjoberg's "Preindustrial City", The Pacific Viewpoint 4 (1963), pp. 163-188. Отчасти это, разумеется, вопрос критериев, которые кладутся в основу причисления к аристократии, а, как известно, эти критерии даже в Европе позднего Средневековья – пока не распространилось требование к государственному признанию или назначению (в начале конечного периода стратификации) – были еще весьма смутными и допускали интерпретацию.
- ²⁵ Потому мы вправе сомневаться, можно ли Древний Египет или Китай, т. е. наиболее впечатляющие прототипы бюрократических империй, несмотря на значительные и стабильные различия в богатстве населения, называть стратифицированными обществами. Однако же более точные исследования мобильности, опирающейся на бюрократию, на китайском материале показывают усилившееся впоследствии – и очень стремительно – влияние расслоения, и притом как раз на основе системы проверок, ориентированной на критерии достижений. См. Francis L. K. Hsu, Social Mobility in China, American Sociological Review 14 (1949), pp. 764-771; E. A. Kracke, Jr., Civil Service in Early Sung China: 960-1067, Cambridge Mass. 1953; Robert M. Marsh, The Mandarins: The Circulation of Elites in China 1600-1900, Glencoe Ill. 1961; Ho Ping-ti, The Ladder of Success in Imperial China: Aspects of Social Mobility 1368-1911, New York 1962. Wolfram Eberhard, Conquerors and Rulers: Social Forces in Medieval China, 2 ed. Leiden 1965, p. 7, где по этому поводу замечено, что ассимиляция различных слоев зависела также от плотности населения, и в городах и густонаселенных областях оказывала более сильное воздействие, чем где бы то ни было.
- ²⁶ Этот постулат в XVI веке назовут «суверенитетом», и лишь в XVII

- веке на некоторых территориях, прежде всего во Франции, удастся его эффективное проведение в жизнь.
- ²⁷ Отсюда – очень короткое время правления отдельных властителей и отдельных династий. John H. Kautsky, The Politics of Aristocratic Empires, Chapel Hill NC 1982, p. 247f., показывает, что оно – в зависимости от империи – исчисляется такими сроками, как 6, 11, 14 лет, что явно меньше жизни поколения. См. также Elisabeth H. Brumfiel, Aztec Statemaking: Ecology, Structure and the Origin of the State, American Anthropologist 85 (1983), p. 261-284. Однако же отсюда не надо делать вывод о нестабильности форм дифференциации.
- ²⁸ См. Niklas Luhmann, Staat und Staatsräson im Übergang von traditionaler Herrschaft zu moderner Politik, in: Gesellschaftsstruktur und Semantik Bd. 3, Frankfurt 1989, S. 65-148; Michael Stolleis, Staat und Staatsräson in der frühen Neuzeit: Studien zur Geschichte des öffentlichen Rechts, Frankfurt 1990.
- ²⁹ См. об этом Colin Renfrew, The Emergence of Civilization, The Cyclades and the Aegean in Third Millennium B. C., London 1972, особо p. 440 ff.
- ³⁰ См. Talcott Parsons, Societies, Evolutionary and Comparative Perspectives, Englewood Cliff N. J. 1966, p. 95 ff. ["seed-bed societies" (англ.) – общества-рассады]
- ³¹ Специально об этом G. E. R. Lloyd, Reason and Experience: Studies in the Origin and Development of Greek Science, Cambridge England 1979,
- ³² Об этом монография – монография Дж. Тэйнтера: Joseph A. Tainter, The Collaps of Complex Societies, Cambridge Engl. 1988. То, что все империи, существовавшие до Нового времени, обрушились (поскольку имеет место не просто смена господства), Тейнтер объясняет их чрезмерными требованиями к собственной сложности. Расходы на содержание империй оказались в конечном счете столь высоки, что политический контроль над системами не удовлетворял предъявляемым к нему требованиям.

VI. СТРАТИФИЦИРОВАННЫЕ ОБЩЕСТВА

Все высококультурные, располагающие письменностью общества были аристократическими. Сколь бы различными ни были экономические основы выделения высшего слоя, едва ли можно оспорить, что высший слой существовал и что почитались его жизнь и привилегированное положение в коммуникации. Важные различия здесь состоят в том объеме, в котором за это несут ответственность либо формальный “бюрократический” уклад имперской системы, либо городское управление греко-эллинистического типа. Но даже если это было не так, и акцент ставился на формально-объективном привлечении или равном участии всех граждан, то высший слой обладал отчетливо привилегированным доступом к управлению и явно более мощным влиянием; например, в случае с Китаем это происходило потому, что только этот слой мог гарантированно получить необходимое для карьеры образование; а в случае с Грецией – потому, что невозможно было обойтись без поддерживаемых им дальних региональных контактов.¹ Аналогичное верно и для городов итальянского Средневековья и раннего Ренессанса, в которых “народ” сумел лишиться власти (еще проживавшую в сельской местности) аристократию (пример – Генуя), однако же фактически это свелось к замещению старых семей новым слоем знати. При этом под высшим слоем, т. е. под стратификационной дифференциацией, имеется в виду не индивидуальный, а семейный уклад, т. е. социальное вознаграждение за происхождение и родственные связи. И в отношении к принятым сегодня представлениям важно то, что принадлежность к тому или иному слою оказывала многофункциональные воздействия, т. е. связывала воедино преимущества и недостатки практически во всех функциональных областях общества и тем самым воздвигала для функциональной дифференциации едва ли преодолимые преграды.

О стратификации мы будем говорить лишь тогда, когда об-

щество репрезентируется в виде рангового порядка, а порядок становится непредставимым без ранговых различий.² Поскольку высший слой больше не признает отношений родства с представителями нижнего слоя или воспринимает их как досадные аномалии, общество уже не может описываться как система родства через общее происхождение. На место этого приходит представление о необходимом для порядка ранговом различии – не в последнюю очередь, имея в виду отношения между различными обществами. Итак, стратифицированное общество неизбежно разрушает представление о том, что само общество сводится к родственным связям. Это позволяет ему принять централизованное политическое господство и управляемую жречеством религию и свести их отношение к ранговому порядку родов на уровень проблемы набора персонала.

Стратификация основана на признанных различиях в богатстве. Кроме того, от стратификации требуется (и это тоже показывается рангом), чтобы высший слой был относительно небольшим, но несмотря на это мог самоутверждаться.³ В дальнейшем – чтобы отметить замкнутый характер линий родства (но, разумеется, и по экономическим причинам) – вводится эндогамия. Эндогамия позволяет отказаться от жестких брачных правил (в том виде, как мы их часто встречаем в сегментарных обществах), т. е. наделить большей структурной гибкостью выбор супруга (супруги). Теперь браки могут использоваться для заключения семейных союзов, с помощью которых высший слой может принимать в расчет сменяющиеся исторические данности и, прежде всего, собственную нестабильность. Если формулировать в терминологии анализируемой эпохи, речь идет о политическом обществе (*civitas civilis*), члены которого содержат собственные дома, непосредственно или косвенно знакомы друг с другом и не встречают трудностей при необходимости устанавливать контакты. Контакты в пределах высшего слоя оснащаются специфическими, равноправными формами общения, что не исключает выражения существующих ранговых различий (совершенно недоступных для распознавания крестьянину). Невероятность такого уклада можно увидеть еще

и в том, что различие, теперь фундаментальное для общества, — в отличие от сегментирования и дифференциации *центр/периферия* — уже не может репрезентироваться пространственно. Оно требует абстракций при символизации, которые часто обеспечиваются политико-теологическими параллельными конструкциями, т. е. работают с космическими аналогиями. Но, прежде всего, это требует стилизации интеракций, выходящих за пределы слоя, посредством форм почтения (зачастую и языка), распределения инициатив и компетенций по темам; словом, непрерывного, как церемониального, так и коммуникационно-практического воспроизводства ранговых различий среди присутствующих. Итак, стратификация воспроизводится посредством того, что она дает о себе знать всякий раз, когда собираются представители различных рангов.

Невозможно себе представить, что какой-нибудь высший слой — сколь бы мал он ни был — “управляет”. Работу по установлению порядка в относящихся к соответствующим общественным формациям родовых обществах и в обществах вождей невозможно заменить одним лишь формированием слоев. Поэтому в стратифицированных обществах мы всегда обнаруживаем, кроме прочего, параллельно существующий политический централизм. При этом современный уровень исследований оставляет открытым вопрос о том, создает ли высший слой политический централизм, чтобы защитить свои привилегии, или политический централизм ставит принадлежащих к нему в положение высшего слоя, или же — что следует добавить, имея в виду Китай — контакт с ученой политической бюрократией остается закрепленным за высшим слоем.⁴ Эта проблема дискутируется под примечательной формулировкой “происхождение государства”.⁵ Во всяком случае, с точки зрения истории общества, не возникает ярко выраженной стратификации без сопутствующего ей политического централизма. Поэтому переход к стратифицированным обществам в то же время служит подготовке к функциональному обособлению политической системы.

С формальной точки зрения, при иерархической стратифи-

кации речь идет о двух последовательностях, которые, однако, *представлены в виде одной*⁶. Существует последовательность рангов сверху вниз, если рассматривать сверху, и их последовательность снизу вверх, если рассматривать снизу. Это удвоение выражается в совершенно различных способах переживания. Кроме того, отсюда следует, что продолжение иерархии вверх через производство лучших ранговых позиций всегда одновременно порождает и худшие позиции; а также что восхождение может происходить лишь таким способом, что позиции, которые мы оставляем за собой по пути вверх, теперь становятся более низкими, так что те, кто был прежде равен нам по рангу, теперь должны рассматриваться как люди более низкого ранга. Однако, этот парадокс двойной последовательности рангов маскируется тем, что иерархия описывается как объективный ступенчатый порядок, где может быть занята только одна позиция, а порядок позиций семантически заполняется предположениями о различных качествах (природа) и различных ожиданиях (мораль).

В нижеследующем анализе по причинам недостаточного пространства и материала мы ограничимся примером общества с особенно отчетливым приматом стратификации как формы общественной системной дифференциации — Европой от позднего Средневековья до раннего Нового времени. Само собой разумеется, и в бурных перипетиях эпохи переселения народов, и в раннем Средневековье существовал высший слой, наделенный полномочиями господства и владения. Но далее развившийся феодальный строй принес с собой примечательный разрыв с прежними социальными структурами, которые были основаны преимущественно на родстве. Родство сменяется отношением господина и вассала, т. е. ранговым отношением, что — несмотря на всяческие трудности и ограничения — утверждается вопреки семейным интересам. Такое же изменение отражается в формировании церковных интересов к дарениям и пожертвованиям, а также в требовании безбрачия для священнослужителей. С тех пор в Европе больше не было основанной прежде всего на семьях и кланах — т. е. сегментарной — диффе-

ренциации. Кроме того, что касается персонального состава, феодальный строй способствовал значительным изменениям, — прежде всего, возведению прежде несвободных министерялов и рыцарей невысокого происхождения в аристократию. Только на протяжении Средневековья происхождение утверждается как существенный критерий аристократии, компенсированный сначала редкими, а затем участвовавшими политическими нобилитациями; и лишь тогда *nobilitas*, а затем знать превращается во всеобъемлющее и обособленное понятие, на которое могут ориентироваться брачная практика и привлечение к политической деятельности. В дальнейшем, не имея здесь возможности уделять внимание значительным региональным различиям, мы будем исходить из этой фиксированной формы аристократического общества.⁷

Если верен наш тезис, что первенство какой-либо формы дифференциации проясняет и те места разлома, в которых подпитываются паразиты, завязываются бифуркации и можно идти по новым судьбоносным путям, то неслучайно, что катастрофа Нового времени произошла здесь и только здесь. При этом следует подумать и о европейской особенности, заключающейся в корпоративных сословных уставах, гарантировавших сословиям возможности для совместного обсуждения вопросов в зарождающихся территориальных государствах; т. е. уставах, способствовавших договорному установлению привилегий, но тем самым принесших с собой и значительную меру коллективной прозрачности и уязвимости. Организационная и правовая фиксация всегда подсказывает возможность изменений. Значит, в общем и целом не удивительно, что лишь в Европе перестройка общественной системы произошла вместе с переориентацией на примат функциональной дифференциации.

Разумеется, одного этого объяснения недостаточно. В дополнение к этому, мы должны принимать в расчет историко-ситуативные условия, например, географические различия, предварительное структурное развитие (например, особое значение права), проживание аристократии в сельской местности и значительную степень уже распространившейся нетождественно-

сти между религией, денежным хозяйством и территориальным политическим господством, взрывающей имперскую форму. Кроме того, сравнение с кастовой системой Индии проясняет, что происшедшая в Европе стратификация не основана на религиозно ритуализируемом понятии *чистоты*, но имела истоки этого понятия в землевладении, а в конечном счете едва ли не исключительно в правопорядке.⁸ Если признавать все эти благоприятствующие условия, то господствующая форма сословной дифференциации в течение длительного многовекового процесса вновь и вновь наглядно показывала то, чем *уже невозможно* было пользоваться и что проявило себя как *препятствие*, а в конечном итоге даже как *излишество* — по мере того, как отдифференцирующиеся функциональные системы могли организовывать собственный аутопойезис. Чем *теперь невозможно* было пользоваться, так это политическим фактором землевладения (земли в конечном счете оказались возможным покупать и продавать и — с введением учета инвестиционных затрат — вести на них рациональное хозяйство); кроме того, *отныне* оказывались бесполезными статус сына аристократа и связи в аристократических семьях. Хотя *Royal Society of London for the Improving of Natural Knowledge* предпочитает “джентльменов” в своих рядах, но происходит это на том основании, что у них больше свободного времени, чем у купцов.⁹ И во второй половине XVIII в. мы встречаем произведения, в которых прославляются особые качества отпрысков благородных семейств, но делается это, пожалуй, лишь с той целью, чтобы выяснить, для чего еще при случае ими можно воспользоваться, — например, для командных позиций в армии или для дипломатической службы.

Если мы будем описывать особую форму дифференциации в стратифицированных обществах, то, в первую очередь, необходимо отказаться от расхожего для социологии понятия *стратификации* или же ограничить это понятие. Обычно это понятие подразумевает ранговую упорядоченность различных позиций, которая опирается на дифференцирующее распределение материальных и нематериальных преимуществ.¹⁰ Напро-

тив, мы основываем понятие стратификации на *внутренней системной дифференциации* общества и говорим о стратификации, если и поскольку частные системы общества обособляются с точки зрения рангового различия в сравнении с другими системами их внутриобщественного окружающего мира. И примат стратификационной дифференциации имеет место лишь тогда, когда другие способы дифференциации (прежде всего: сегментарная дифференциация семейных хозяйств) ориентируются на стратификацию.

Кроме того, стратификация возникает не посредством разделения целого на части (как по большей части изображают в литературе), но через отдифференциацию и замыкание высшего слоя. Замыкание осуществляется, прежде всего посредством эндогамии (правда, в дальнейшем часто нарушаемой). Но высший слой и семантически должен “выделиться” по отношению к нижнему слою – к тому нижнему слою, который первоначально, конечно, даже не знает, что он таков или будет таковым. Поэтому только высший слой пользуется особой изощренной семантикой, специфическими самоописаниями, генеалогиями и осознает свои характерные признаки. Поэтому и в исторической перспективе верхний слой распознать легче, нежели нижний. И если в первом случае гомогенность зависит от изощренных критериев, то во втором случае она получается из того, что этот слой существует на грани прожиточного минимума. Высший слой обладает возможностью выбора по отношению к образу жизни, стилю и вкусу. Нижний слой имеет дело с необходимостью. Высший слой вырачивает охотничьих собак, нижний – мулов; высший слой долго спит, нижнему слою придется вставать до восхода солнца.¹¹ Высший слой *susceptible de plusieurs formes*, что явствует из наблюдения за *ame bien née*, и затем из презрения по отношению к нижнему слою: “il y a du rustique et stupide d’être tellement pris a ses complexions qu’on ne puisse jamais en relacher un seul point”¹² Само собой разумеется, описания нижнего слоя (хотя таковых почти нет) создавались высшим слоем; подобно тому, как описания женщин давались мужчинами.

Распознаваемое участниками и коммуникативно практикуемое образование частных систем предполагает, что *внутренняя* слоевая гомогенность – поверх ранговых различий – *ограничивается по направлению вовне*, и о примате этой формы дифференциации можно говорить лишь тогда, когда она выдерживается в качестве жизненной формы и этоса при любых обстоятельствах. Формально это происходит через описание аристократического образа жизни.¹³ Это подразумевает утверждение рангового различия, проявляющегося в манере поведения и в отношении слоев друг к другу.¹⁴ Правда, внутреннее для слоя равенство не следует воспринимать как согласие и единодушие; оно структурирует и повышает шансы на кооперацию и на конфликт, и как раз староевропейская аристократическая этика, делавшая акцент на таких ценностях, как *valor* и *honestas*, а также на таких образовательных достоинствах, как *eloquentia*, имеет сплошь и рядом спорные черты. Кооперация и конфликт основаны на отдифференциации высшего слоя и тем самым на концентрированном распоряжении ресурсами.

Как бы ни подчеркивались моральные критерии, как бы часто их ни выделяли в качестве единственно верных описаний сущности аристократии, – это, конечно, не может означать, что различие *знать/простонародье* приравнивается к различию *моральный/аморальный*. Здесь, как и в других случаях, системная дифференциация позволяет осуществлять большее число дифференциаций в других отношениях – по классификациям, по различиям.¹⁵ Вертикальная классификация, однако, может привести к приписываниям власти или к моральным суждениям, которые не покрываются реальностью. В остальном и здесь на дискуссии о критериях сказываются селективность и принадлежность к высшему слою: здесь формулируются ориентированные на аристократию ожидания, а различие между высшим и нижним слоем предполагается как само собой разумеющееся. Нижний слой волен жить по другой морали, нежели верхний.

Общая важность расслоения для всех жизненных обстоятельств и для кооперации и конфликта проявляется в том, что

принадлежность к слоям распределяется по рождению, т. е. в соотношении с семьями и личностями: стратификация управляет инклюзией людей в общество посредством того, что она устанавливает инклюзию и эксклюзию с опорой на частные системы. Можно принадлежать только к одному слою, и как раз поэтому быть исключенным из других слоев. Эта соотношенность со способом существования, определяющая аристократа как такового, описывается понятием “природа”. Качество знатности является “inherent and natural”¹⁶. Это может удивлять в связи с практикой политического жалования или политического признания аристократического достоинства; но по представлениям описываемой эпохи, король функционирует здесь в качестве *iudex*, речь здесь идет о “признании” качества, а не о конститутивном волевом акте. В остальном староевропейское понятие *природы* включает в себя такую природу, которая знает сама себя и сама себя мотивирует необходимостью соответствовать собственной природе. И кроме того, в этой связи природа противопоставляется не искусству, а мнению, т. е. исключает лишь тот случай, когда простая самооценка или оценка со стороны других оказывает какое-то воздействие на аристократию.

Слоевая дифференциация в Европе опирается в значительной степени на правовые различия. Однако она подтверждается и в сфере повседневно воспринимаемого. Ее можно опознать по различиям в одежде, в поведении и в жилищах. Эта наглядность способствует и плановому подходу — вплоть до городского планирования на основе стратификационной дифференциации.¹⁷ Что в области норм все еще способствует отклонениям и вызывает критику, в воспринимаемом мире дополнительно оснащается фактичностью и очевидностью. Кроме того, таким способом документируется, что речь идет не об отдельных личностях, но о безальтернативно видимом общественном укладе.

Признание чьей-либо благородной природы осуществляется через рождение в благородной семье, а благородство последней, в свою очередь, следует признавать по происхождению предков. Ни один плебей не может стать знатным исключитель-

но благодаря моральной добродетели.¹⁸ В противном случае порядок оказался бы действительно нарушенным. И крестьянин остается крестьянином, каким бы дельным и богатым он ни был¹⁹, а философ — только философом.²⁰ В античности такие воззрения коренились в предположении, что начало (*arché*) определяет сущность, и что вследствие этого происхождение (например, в том виде, как оно явствовало из генеалогий) гарантирует подобие сущности. Вплоть до эпохи раннего Нового времени прошлое, т. е. здесь знатность предков, считалось частью настоящего совершенно иначе, нежели мы можем представить себе сегодня. Даже авторы, которые видят сущность аристократии в блеске выдающейся доблести, предполагают, что воспоминание о предках и принятие их за образец оказывается достаточным, чтобы сделать благородным и потомство.²¹ В Афинах эти воззрения благодаря “демократизации” системы аристократических понятий особым образом расширились, но не прервались (*areté* каждого отдельного гражданина). В Средние века эта традиция сохраняется как текстовая, однако дополняется более развитой юридической системой, зависимостью прав от статуса. Эта отчетливо юридическая фиксация также имеет в виду, что сопровождающие ее речи о моральных качествах аристократии обладают легитимационными функциями, но не определяют статус.²² При этом критерий рождения играл столь же необходимую, сколь и сомнительную роль, и основная часть литературы анализируемых эпох об аристократии рассматривает вытекающие отсюда проблемы. Еще Аристотель в весьма значимом месте своего текста называет прошлые (т. е. наличествующие уже при рождении) богатство и доблесть критериями “благородства”.²³ Оба критерия часто бывают связанными. Если речь идет, к примеру, о заслуге (*mérite*), то и само рождение зачастую считается заслуженным. Даже если в качестве критерия благородства выдвигается добродетель (как, прежде всего, в итальянском Ренессансе), то само собой это не открывает путей восхождения, и даже в этом случае требуется древняя и продолжительная добродетель.²⁴ И так, схему *происхождение/доблесть* нельзя интерпретировать в духе

старое/новое. Скорее, тот, кто стремится получить заслуги, не будучи благородным, должен сначала узнать, как это делается, а потом всю его жизнь его будут признавать как применяющего выученное. Тем самым связь богатства и доблести или рождения и заслуг предполагается *нормой* у Аристотеля и всех его последователей с тем выводом, что отклонения можно узнать и устранить; эта связь соответствует природе.

Разумеется, невозможно не увидеть того, что эти критерии не обязательно согласуются и что даже “в семье аристократов не без уродов”²⁵, но в первую очередь, речь идет о прояснении вопроса о том, какие ожидания на кого распространяются. В итоге аристократия посредством воспитания настраивается на предусмотренный для нее образ жизни. Наряду с необходимым образованием, это еще означает, что должно следить за тем, как бы аристократ не оказался “испорченным” из-за непосильного труда, чрезмерного бодрствования и голода²⁶, а чтобы избежать этого, необходимо унаследованное богатство. Тогда моральная форма дополнительных компонентов могла позаботиться о вдобавок и о сохранении структуры: если аристократ оказывается “выродком”, то виновен он сам – а не общество, и даже не его семья. В эпоху, когда аристократия уже превратилась в государственный институт, можно в конечном итоге согласиться даже с тем, что критерий рождения служит только юридическим целям: он способствует однозначному распределению людей по слоям.²⁷ Это также исключает и возможность представления пороков – в их юридически непредрьявимой форме – в качестве основания для лишения аристократического достоинства; ведь для этого – считает, например, Генри Пичем²⁸ – пороки слишком широко распространены.

Впрочем, двойной критерий, состоящий в рождении и доблести, доказывает, что было бы неверным характеризовать традиционные общества через приписываемый, а современные общества – через приобретенный статус²⁹. Само это различие, как показывает наш пример, имеет смысл, прежде всего, для обществ, которые регулируют инклюзию посредством стратификации, и как раз в силу этого направляют внимание на осо-

бые заслуги.³⁰ Итак, не следует особо подчеркивать лишь одну сторону этого различия. Скорее, внимания заслуживает сформулированное Парсонсом “измерение” *quality/performance*, тогда как прочие *pattern variables* отступают на задний план. Для обществ Нового времени, ориентированных на индивидуальные карьеры, это различие не столь важно. Правда, оно допускает аргументацию, что – “вопреки всему” – приписанный статус невозможно исключить полностью.

Форма конкретной, ориентированной на личность в целом инклюзии в конечном счете определяет и то, как в литературе представлена мораль. Она *образцово* представлена в фигурах королей, принцев или прочих лиц высочайшего происхождения, ибо только для них может осмысленно утверждаться внутренняя независимость от жизненной канители, только они имеют собственную судьбу. И в то же время их судьба как раз поэтому является целиком и полностью их собственной. Для них нет различия между (в зависимости от состояния сознания) аспектами вменяемости и аспектами невменяемости, т. е. нет различия между судьбой заслуженной и незаслуженной. Возможно, это связано с тем, что в устном героическом эпосе герои упоминаются в качестве предков – будь то рода или тех, кто дает поручения, которые необходимо выполнить, – а не в качестве образцовых индивидов.³¹ “Образцовость” героев и, прежде всего, их востребованность в контексте аристократических генеалогий встречается уже в обществах с устной традицией, но затем с помощью письменности она подчиняется требованиям логической непротиворечивости и селективно систематизируется.³² Это проявляется в морали, сильнее ориентированной на принципы поведения, на установки; сильнее возводимой к этосу – и не только в похвальных усилиях героев, но и в их способности смиряться с судьбой. Такой “фаталистический” аспект стало возможным в конце концов рекомендовать и нижним слоям, у которых и без того не было другого выбора.

Несмотря на важность равенства в пределах слоя (например: способности предоставить сатисфакцию на дуэли), нельзя исходить из того, чтобы слои воспринимали отношения между

собой как неравенство – ведь это предполагало бы, что представители различных слоев сравнивали бы друг друга, кладя в основу сравнения общие критерии, и в результате приходили бы к констатации неравенства. Тем не менее, в абстрактных определениях принципа *ordo* встречается различие между равным и неравным; ведь *ordo*, прежде всего, означает гармонию вопреки неравенству. Дальнейшие соображения на эту тему требуют рассуждений о справедливости – в дополнение к Аристотелевским различиям равного и неравного.³³ Однако что касается возможностей повседневного взаимопонимания в анализируемую эпоху, то речь тогда шла попросту о разнородных, об инородных людях, а инобытие – это качество, а не отношение. Поэтому правопорядок не ведает заповеди равенства для разных рангов и считает совершенно нормальным, если противоправные деяния – в особенности, наказуемые поступки – высшестоящих по отношению к нижестоящим оценивались иначе, нежели в противоположных случаях.³⁴ Столь же мало в отношениях, распространявшихся поверх ранговых различий, действовало правило: “Ты – мне, я – тебе.” Различия между людьми воспринимались не по схеме *равный/неравный*, но с учетом различных прав и обязанностей в контактах друг с другом. А впоследствии эти различия “морализируются”.³⁵ Поэтому при помехах в отношениях, при волнениях и бунтах мы не обнаруживаем тенденций к нивелированию подходов (эти тенденции всегда характеризуют уже переход к обществу Нового времени), но обнаруживаем лишь реакции на ухудшение собственного положения, что вменяется в вину другой стороне.³⁶ Представители другого слоя суть нечто иное, нежели мы сами; они другие по рождению и качеству. Не в последнюю очередь этому учит весьма излюбленная в то время метафора организма. Ибо даже сегодня никому не пришла бы в голову идея охарактеризовать голову и желудок как нечто “неравное”. Скорее мы вообще откажемся от сравнения организма с обществом.

Дифференциация по слоям не означает, что частные системы – по сравнению с сегментарными обществами – менее зависимы друг от друга. Верно противоположное. Более притяза-

тельные формы дифференциации (это и подавно справедливо для функционально дифференцированного общества Нового времени) всегда должны быть в состоянии комбинировать повышенные зависимости с повышенными независимостями – отсюда резкое сокращение еще возможных на этом этапе форм. Иными словами, можно также сказать, что всякая форма дифференциации требует и образует согласованные с ней формы *структурного сопряжения* – а именно формы, которые интенсифицируют контакты, а вместе с ними – взаимные ирритации между частными системами, и в то же время исключают или маргинализируют другие возможности.

Форма, канализирующая зависимость в стратифицированных обществах и делающая ее совместимой с независимостью, – это “экономическое” единство *домохозяйства*.³⁷ Домохозяйство, как сообщество, занимающееся приобретением и распределением, построено непосредственно вокруг потребления и поэтому прозрачно в том, что касается уровней интересов. Предусмотренные роли – даже если трудовые отношения фиксируются письменно, – рассчитаны на интеракцию между присутствующими и подвержены моральной оценке. Особая функция домохозяйства для структурного сопряжения между зависимостью и независимостью применительно к слоям могла бы объяснить тот факт, что в Европе родственники хозяина дома, со своей стороны, не подвергаются повторной ранговой дифференциации внутри своего слоя. Ведь не существует даже особого понятия или хотя бы особого слова, посредством которого знатная семья (в сегодняшнем смысле слова “семья”) могла бы быть отграничена или обозначена как часть своего домохозяйства.³⁸ Ограничивались учением о том, что супруга, дети и слуги подчинены хозяину дома, но отсюда не выводилось различие социальных рангов в пределах элементарной семьи³⁹; последняя, скорее, считалась частью дальнейших родственных связей, охватывавших множество домохозяйств. При уже сравнительно крупных княжеских дворах позднего Средневековья *familia* князя – это узкий круг доверенных лиц, куда могли приниматься, например, ученые и художники, благодаря формальному

обозначению *familiaris*, каковое служило формой отличия, а то и предварительной ступенью нобилитации, но, разумеется, не имело ничего общего с родством.⁴⁰

Значение домохозяйств для стратифицированных обществ трудно переоценить. Домохозяйства, а не индивиды, являются единствами, на которых основана стратификация. Поэтому упорядоченность домохозяйств является ее предпосылкой. Речь идет как об упорядоченности родства семьи в более узком смысле, так и об упорядоченности отношений членов семьи к слугам. Для копирования в домохозяйствах общественной ранговой структуры требуются соответствующие внутренние для домохозяйств отношения рангов, которые дифференцируются по схемам *мужчина/женщина (господин/госпожа), отец/дети, хозяин/слуга*. В этом порядке неизбежно подчинение женщины мужчине (что, конечно же, мало говорит о реальных властных отношениях). Поэтому тот, кто делает акцент на равенстве полов, должен практиковать безбрачие или рекомендовать не имеющее домохозяйств сообщество женщин.⁴¹

Другая функция уклада домохозяйств – в том, что им сохраняются шансы для индивидуальной мобильности. И карьерное восхождение индивидов неизбежно уже по одним демографическим причинам, но также и из-за колоссальных различий в способностях. Пока жесткая сословная локализация домохозяйств сохраняется и возраст семьи остается одним из факторов, определяющих ее социальный ранг, мобильность будет восприниматься как исключение, даже если в эпохи демографических или политических кризисов она выражается в сравнительно больших цифрах. Согласно основному принципу сословного общества, принадлежность к рангу фиксирована, а мобильность в любом случае допускается по внесистемным причинам: семьи вымирают, позиции должны занимать, а индивидуальная нобилитация стилизуется под “признание”, как исправление ошибки, допущенной природой в распределении рангов. Однако вместе с консолидацией современных территориальных государств речь все больше заходит о запланированных нобилитациях. Подвижность системы увеличивается по

внутрисистемным (прежде всего, политическим) причинам.

Домохозяйство – это в конечном итоге такая система, для которой общество может предусмотреть относительно большую (пусть даже по идее почетную) свободу интеракции, какую никогда не может позволить себе политическое общество. В домохозяйстве вместе работают представители различных слоев, самостоятельные и несамостоятельные. И прежде всего, место и признание здесь находит себе женщина. В отличие от кастовой системы Индии, для этого не используется сложная ритуалистика контактов. А в отличие от Китая, домохозяйство с его структурой *попечения/поощрения и почтения/послушания* одновременно не является религиозной общиной (культу предков), а следовательно, и моделью всего общества.⁴² Дело в том, что резкое разделение политики и экономики отличает их как два типа систем и перенимает из домашнего уклада ради политических целей только гарантированные через это независимость домохозяина и возможность для него отлучаться из домохозяйства. Поэтому забота о собственной экономии, о поддержании собственной жизни принадлежит к *политическим* обязанностям тех, кто образует политическое общество (т. е. задает *re-entry*, повторное вхождение, различения *экономика/политика* в политике).⁴³ Это верно даже тогда, когда в домохозяйствах знати соблюдаются подсудность и прочие публичные функции, если домохозяин отлучился ради исполнения дипломатической миссии или живет при дворе. Во всяком случае, это каналирование взаимозависимости слоев, в свою очередь, основано на сегментарной дифференциации домохозяйств и при этом на структурном разделении, которое теперь, однако же, социально (или, как говорят: “политически”) имеет второстепенное значение. В хорошем обществе неприлично вести приятельские беседы о собственном домохозяйстве.

Нормативная структура домохозяйства подчеркивает необходимость господства (= порядок) и право на деятельность, требующуюся для поддержания жизни. Эти притязания можно было бы дифференцировать по социальным слоям; значит, они были настроены на стратификационную дифференциацию. Но

не на денежное хозяйство. Вместе с переходом к денежному хозяйству и в силу растущей зависимости товарного хозяйства от рынка указанные критерии пошатнулись, в результате чего усилились конфликты ожиданий между правообладателями — господами и сельским населением, принужденным к исполнению повинностей, но также правообладателями в отношении сохранения собственной жизни.⁴⁴ Только характерное для Нового времени понятие о собственности приносит (зачастую откровенно насильственное) разрешение этих конфликтов.

В расширенном — выходящем за пределы экономической функции домохозяйства — смысле подобную функцию выполняют отношения между патроном и клиентом.⁴⁵ Эти отношения помогают открыто использовать ранговые различия ко взаимной выгоде. Они применяются для связи “провинции” с политическим центром, но, кроме того, и для мобилизации добровольной личной помощи. Решающим здесь (и потому этот институт сравним с отношениями *дядя/племянник* в сегментарных обществах) является то, что различия могут сглаживаться и что как раз в этом заключается привлекательность и преимущество этого института. Отношения *патрон/клиент* реорганизуют взаимность для этого случая и при этом предполагают стратификацию как бесспорно гарантированную. В то же время они служат опосредованием между укладом стратификации и формирующимся территориальным государством.⁴⁶ Это имеет особое значение, потому что — исключая суды — не существовало местных административных организаций, которым центр мог бы давать указания. В XVI в. альтернативу этому откроет книгопечатание. Оно предоставит другие информационные возможности⁴⁷, будет способствовать новому, независимому от придворной службы “политическому гуманизму” (как у Томаса Мора, Эразма Роттердамского, Клода Сесселя)⁴⁸, и оно будет, прежде всего, в религиозных делах, рекомендовать населению следовать другим магнатам, нежели магнаты.⁴⁹

Для стратификации, в первую очередь, требуется простое различие — знати и простого народа. Существуют люди с *dignitas** и люди без нее.⁵⁰ Асимметрия усиливается тем, что количество

знати остается незначительным, а возможности распоряжения ресурсами расширяются. В этих рамках развиваются дифференциации в дифференциациях, прежде всего — тончайшие различия в пределах аристократии, которые важны для брачных целей или для церемониальных вопросов, но едва ли они могут считаться чем-то большим, нежели частные системы в частных системах. Только в усложняющемся обществе XIII в. возникает отчетливое различие между высшей и низшей аристократией, которое впоследствии порождает дальнейшие различия.⁵¹ Среди простого народа также возникают разнообразнейшие ранговые различия.⁵² Большая хозяйственная подвижность, способность зависимых (рабов, крепостных, колонов или обязанных обрабатывать иные повинности) к протестам, а также потребность в рабочей силе для поместных хозяйств и городских ремесленных предприятий, производят в эпоху “позднего феодализма” новую потребность в различии, даже в самом нижнем слое. Если в политической литературе речь идет о *populus, popolo, peuple, people**, то по большей части имеются в виду только независимые собственники домохозяйств, и даже здесь брачные союзы ориентируются на ранговое положение партнера, в особенности — на приданое и имущество. По обе стороны основного различия в частных системах сложно выделить дальнейшие частные системы. Вместо этого работает различие между городом и деревней. Но и критерии дальнейшей дифференциации различаются согласно основополагающему сословному укладу: в рамках аристократии играют роль в значительной степени искусственные и церемониальные ранговые различия, внутри городской буржуазии — профессии, а в слое крестьян по истечении феодально-правовых определений статуса — размеры земельного надела. В любом случае посредством повторения ранговой иерархии в разделяемых ею системах размещение по рангам превращается в повседневный опыт, а во всех жизненных вопросах хорошим советом будет знать и обращать внимание на то, направлен ли контакт вверх, вниз, или же от равного к равному. В терминологии того времени это и есть необходимое “политическое” знание.

По сравнению с ним учение о трех сословиях (духовенство, дворянство и третье сословие) представляет собой семантический артефакт.⁵³ Фактически высшее духовенство происходит из знати и оставляет незнатным людям мало возможностей для карьеры⁵⁴ (предположительно – не больше, чем в армии). Так называемое “третье сословие” и без того было контрастным понятием – если угодно – *unmarked space* для выделения знати. Учение о трех сословиях тем самым скрывает принципиальную двойственность стратификационного различия, служит отображению функционального различия (*orare, pugnare, laborare*), описывает различия между моральными ожиданиями, а впоследствии – вместе с зарождением территориального государства – и различия в правовой позиции. И как раз из-за отчетливости, с какой разработаны эти признаки, это учение становится и показательным документом отмирания старого мира.

Все общества должны выдерживать демографическое давление. Сегментарные общества делают это с помощью независимости от собственных размеров, благодаря росту или свертыванию, или же путем отщепления, или же вбирания новых сегментов. В стратифицированных обществах сюда добавляется высокая степень мобильности между слоями, посредством которой могут компенсироваться демографические потери высшего слоя. Даже если жизненные ожидания у аристократии являются более притязательными, чем у других слоев населения, больше представителей знати умирают в войнах или в монастырях, не оставив потомства. Сегодня, пожалуй, неоспоримо, что расслоение совместимо с более высокой мобильностью индивидов и отдельных семей.⁵⁵ Значительная подверженность общества детской смертности, эпидемиям и насильственным убийствам не могла допустить свертывания мобильности. Это становится особенно очевидным, если вспомнить о том, что на карту были поставлены интересы отдельных семей. Настойчиво внедряемое с эпохи Средневековья различие аристократических качеств на *добродетель* и *благородство*, очевидно, служит структурированию карьерных интересов и тем самым – наставлению для политических нобилитаций и их легитима-

ции.⁵⁶ Вопрос может быть лишь о том, как контролировалась мобильность и как массовое карьерное продвижение вверх и вниз препятствовало нивелировке расслоения. В Китае это достигалось посредством поощрения сверху индивидов, делающих карьеру (*sponsorship*). В Европе действовало правило, более связанное со статусом (хотя и нарушаемое региональными исключениями), что если мужчина женился “вверх” или “вниз”, то он не мог приобрести ранг своей супруги. Поэтому пришлось ослабить заповедь эндогамии, и в отдельных случаях (прежде всего, среди высшей знати) произвести необходимую адаптацию посредством повышения политического ранга у удачливого соискателя. Повсеместно считается, что основания карьеры должны определяться не только лишь экономическими критериями.⁵⁷ Однако так же без возражений дело доходило до вознаграждения заимодавцев короны дворянскими титулами, а у обнищавших аристократов возникала возможность поправить свои дела после женитьбы на богатых дочерях буржуа. Не в последнюю очередь, существовали случаи территориально-политического использования нобилитаций – например, консолидация управлявшихся из Турина савойских территорий в современное территориальное государство с помощью нобилитаций и правового регулирования знатности⁵⁸, признание чешской знати Веной после Тридцатилетней войны или нобилитация шотландских *clan-chiefs** английской короной в качестве награды за измену. Все это принималось, но компенсировалось особой оценкой древних семей и задержавшимся на столетия признанием равноправия новой знати. Но ведь медленное признание означает, что испытания выпадали на долю не только индивидов, но и семей. В целом, общество переоценивает жесткость своих подразделений и тем самым – статику своей структуры, когда рассматривает переходы с одного рангового уровня на другой как особые случаи.

То, что мобильность должна была означать скорее восхождение, чем упадок, напрашивается уже по чисто демографическим причинам. Лишь небольшой верхний слой, а не остальное население, должен был компенсировать потери, и, естествен-

но, его интересы были ориентированы скорее на восхождение, чем на упадок. Но существовала проблема обнищания аристократических семей, которые уже не могли вести образ жизни, приличествующий их сословию. И существовал юридический институт утраты знатности (*dérogeance**) в связи с сословно-неприемлемыми занятиями, прежде всего, с хозяйственной деятельностью в торговле и неаграрном производстве. Этот запрет и санкция на него не могли реально осуществиться во Франции уже по причинам региональных различий⁵⁹; но очевидно, что на нем приходилось настаивать, поскольку освобождение от налогов, каковое было гарантировано знати, не могло безгранично распространяться на торговлю и промышленность.

Зачастую утверждавшееся (и замеченное в архаическом обществе) противоречие между стратификацией и мобильностью представляет собой все-таки артефакт наблюдения и описания. Это противоречие возникает лишь тогда, когда мы принимаем, что социальная система общества состоит из людей, которые при случае меняют социальный статус. Зато если мы исходим из того, что общество воспроизводит только коммуникации, проблема решается сама собой. Тогда стабильность внутренней дифференциации предполагает только стабильность регулирования коммуникации с помощью различения *внешнего/внутреннего*, и в этом случае она совместима с высокой степенью флуктуации персонала, когда новички знают или могут узнать, что от них требуется в их новом статусе. И хотя в этом случае общество может признать, что модус его дифференциации находится в опасности из-за чрезмерной мобильности, и попытаться прореагировать на это отгораживаниями (как, прежде всего, в конце XVI – начале XVII вв.), само по себе усиление или ослабление мобильности по конкретным поводам еще не служит индикатором для нестабильности стратификационной дифференциации. Скорее, сохранение старой формы дифференциации было достаточно гибко проведено посредством мобильности. Чего, само собой разумеется, быть не могло, так это сплоченного восхождения целого слоя.⁶⁰ Но как еще старый порядок вещей был разрушен, если не через восхождение нового класса?

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. VI:

- 1 Это можно очень хорошо проследить на семейных традициях верхнего слоя, которые в Афинах (иначе, нежели в Риме) отдавали приоритет не занятию городских должностей, но, скорее, военным и спортивным успехам, миссиям, мирным переговорам и прочим разновидностям улаживания международных отношений; а в первую очередь, естественно, денежной щедрости. См. Rosalind Thomas, *Oral Tradition and Written Record in Classical Athens*, Cambridge Engl. 1989, p. 95 ff.
- 2 Общая семантика *ranking*, наблюдения за ранговыми различиями, разумеется, практиковалась задолго до этого. Об этом см. Richard Newbold Adams, *Energy and Structure: A Theory of Social Power*, Austin 1975, p. 165 ff.
- 3 Тем самым мы исключаем, прежде всего, наслоение поверх туземного народа слоя народа завоевателей, которое может привести к дифференциациям, каковые тоже могут воспроизводиться сравнительно долго.
- 4 “Such people who were able to deal with the governmental officials are those who were called gentry”. Hsiao-tung Fei, *China's Gentry: Essays on Rural-Urban Relations* (1953), Chicago 1972, p. 83.
- 5 Сводку литературы см. в Jonathan Haas, *The Evolution of the Prehistoric State*, New York 1982. Более систематические разработки: Morton H. Fried, *The Evolution of Political Society: An Essay in Political Anthropology*, New York 1967, и Elman R. Service, *Origins of the State and Civilization: The Process of Cultural Evolution*, New York 1975. Кроме того, по этой проблеме существует масса региональных исследований. См. прим. 63 к гл. X.
- 6 Мы следуем здесь соображениям Жюль Делёза, Gilles Deleuze, *Logique du sens*, Paris 1969, особ. p. 50 ff. [Делёз Ж., *Логика смысла*, М., 1998]
- 7 Имеющиеся исследования по большей части касаются отдельных регионов. Общеевропейский обзор дать трудно. См., например, Wilhelm Stoermer, *Früher Adel: Studien zur politischen Führungsschicht im fränkisch-deutschen vom 8. bis 11. Jahrhundert*, 2 Bde., Stuttgart 1973, или Philippe Contamines (ed.), *La noblesse au moyen âge, XIe – XIIe siècles*, Paris 1976.
- 8 См. относительно сложных понятийных и правовых вопросов, например, о разграничении *dignitas/nobilitas*, которое связано с проблемой сановничества и в обоих случаях производит дифференциацию от плебса, Bartolus a Saxoferrato, *De dignitatibus*, цитируется по изданию Omnia, quae extant, Opera, Venetiis 1602, Bd. VIII, fol 45v – 49r. *Естественно-правовое обоснование особого социального положения аристократии при таких обстоятельствах не учитывалось. Все – и благо-*

родные, и “подлые” – происходят от Адама. Правда, можно было бы дискутировать о том, идет ли речь только о *гражданско-правовом* институте, или же можно ради облегчения межрегиональных контактов применять некое *ius gentium* – а если применять, то только ли в духе его римских источников. Впоследствии, вместе с развитием современного территориального государства, дифференцируется и право знати, и лишь во вторую половину XVI столетия – с опорой на книгопечатание и понятие *чести* – консолидируется характерная для ранней эпохи модерна обобщенная система понятий, относящихся к знати. О развитии этой системы в средневековой Италии, заметной уже на уровне городских республик, см. Claudio Donati, *L'idea di nobilita in Italia: Secoli XIV-XVIII*, Roma-Bari 1988.

- * “Лондонское Королевское общество по усовершенствованию естествознания” (англ.) – прим. пер.
- ⁹ Зависит это и от того, что в Англии больше, нежели во Франции, по-прежнему продолжали высоко ценить “красноречие” знати, которое приспособлявали к новым формам знания. См., например, Henry Peacham, *The Compleat Gentleman*, 2nd ed. Cambridge 1627.
- ¹⁰ И это даже тогда, когда это понятие употребляется не с позиций классовой теории в контексте критики несправедливого распределения, но в связи с теориями дифференциации. См., например, Shmuel N. Eisenstadt, *Social Differentiation and Stratification*, Glenview Ill. 1971, или, исходя из ролевой дифференциации, Bernard Barber, *Social Stratification: A Comparative Analysis of Structure and Process*, New York 1957. В этом смысле речь идет о всеобщем для всех обществ измерении (за исключением раннепервобытных), но как раз такое своеобразие социологического понятия критикуется социальными антропологами. См. Michael G. Smith, *Pre-Industrial Stratification System*, in: Neil J. Smelser/Seymour M. Lipset (ed.), *Social Structure and Mobility in Economic Development*, Chicago 1966, pp. 141-176.
- ¹¹ Эти легко узнаваемые различия называет Кристофоро Ландино, Landino, *De vera nobilitate* (ок. 1440), цит. по изданию Firenze 1970, p. 41.
- * Соответственно: “способен принимать множество форм”; “благородная душа” (франц.) – прим. пер.
- ¹² [“есть нечто сельское и глупое в том, чтобы так отдаваться своим трудностям, чтобы никогда не расслабляться хотя бы в одной точке” (франц.) – прим. пер.] Так в Nicolas Faret, *L'honeste homme, ou l'art de plaire a la Cour*, Paris 1925, p. 70, цит. по изданию Paris 1925, p. 70.
- ¹³ Относительно сложностей завязывающегося здесь юридического контроля в связи с конкретными иллюстративными примерами см. Etienne Dravasa, *Vivre noblement: Recherches sur la dérogeance de noblesse du XIVe au XVIe siècles*, *Revue juridique et économique du Sud-Ouest*, série

juridique 16 (1965), pp. 135-193; 17 (1966), pp. 23-129.

- ¹⁴ Это верно даже тогда, когда особое положение аристократии основано на особой профессии [призвании], а именно на военной службе. Ибо здесь речь идет, конечно же, не о свободно избираемой профессии, но о некоей миссии (*vocation*), к которой человек предназначен, если он *родился* аристократом. О пережитках этого ориентированного на профессию [призвание] описания знати, особенно во Франции вплоть до кризисов второй половины XVI в., см. Arlette Jouanna, *L'idée de race en France au XVIe siècle et au début du XVIIe*, 2 éd., 2 t.. Montpellier 1981, t. I, p. 323 ff.; Ellery Schalk, *From Valor to Pedigree: Ideas of Nobility in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries*, Princeton N. J. 1986. То, что это представление весьма надолго пережило изменения в оружии, организации войска и боевой тактики, кроме прочего, показывает, что оно уже давно исполняло существенные символические функции оправдания рангового различия.
- * Соответственно: “доблесть” (позднелат.); “честность”; “красноречие” (лат.) – прим. пер.
- ¹⁵ О различии различий по власти и моральных различий см., например, Barry Schwartz, *Vertical Classification: A Study of Structuralism and the Sociology of Knowledge*, Chicago 1981, p. 79 ff.
- ¹⁶ [“неотъемлемо присущий и естественный” (англ.) – прим. пер.] Peacham a. a. O. p. 3. Подробно в: Jouanna a. a. O. Jouanna t. I, p. 23 ff.
- * “судья” (лат.) – прим. пер.
- ¹⁷ См., например, Leon Battista Alberti, *De re aedificatoria*, Firenze 1485, цит. по латинско-итальянскому изданию, Milano 1966, Bd. I, S. 264 ff., 270 ff. Было бы интересно сравнить эти представления о городском планировании с таким городом, как Кардифф, где соответствующий порядок был установлен еще в XIX в., но только на основании собственности.
- ¹⁸ “Virtuosus si staret, et viveret per mille annos, nisi transferatur in eum aliqua dignitas, semper remanet plebeius” – так на эту тему сказано у Bartolus, *De dignitate* a. a. O. fol 45 v. и ad 93.
- ¹⁹ “Rusticus, licet probus, dives & valens, tamen non dicitur nobilis” – так у Bartolus, *De Dignitatibus* a. a. O. fol 45 v. и ad 52.
- ²⁰ Так у Джованни Франческо Поджо Браччолини (что не слишком вяжется с его собственной теорией и сказано в известной степени с сожалением), Poggius Florentinus, *De nobilitate* (1440), цит. по Opera, Basilea 1538, pp. 64-87.
- ²¹ У Поджо Браччолини a. a. O. (1538), p. 38, читаем, например: “nullo autem pacto negandum est paternam nobilitatem migrare in filios et esse et dici nobiles quorum nondum virtus est cognita.” Но также подчеркивается, что это не само собой разумеется, однако потомство должно

- оставаться на пути благородства в том, что касается образа жизни и общественной деловитости: “illozumque posteros, modo ab eorum vestigiis non discedant, sed quoad illis animi ingeniique vires suppetunt”, – как сказано у Landino a. a. O. (1440/1971), p. 41.
- * “доблесть”, “добродетель” (др.-гр.) – прим. пер.
- ²² О расхождении между юридическо-институциональной действительностью и ориентированной на традиции и тексты литературой об аристократии см. Klaus Bleeck/Jörn Garber, Nobilitas: Standes- und Privilegienlegitimation in deutschen Adelstheorien des 16. und 17. Jahrhunderts, Daphnis 15 (1982), pp. 49-114, особ. 59 ff.
- ²³ “eugeneia estin archaios ploutos kai arete”, – сказано в “Политике” 1294 a 21 f. Определение, ориентированное уже на богатство, отчетливым образом является продуктом позднего времени, когда положение знатных родов уже не утверждается городским законодательством, но все-таки непременно обращает на себя внимание. См. также Bartolus, De dignitatibus a. a. O. ad 47, 48, который добавляет, что речь идет и о том, что индивид долго (10 или 20 лет) пребывает в хорошем моральном состоянии. Итак, один-единственный героический поступок еще не делает благородным, но из-за дурного поступка благородство можно утратить.
- ²⁴ “neque eos ad breve quidem tempus, sed qui diutius in illis perseveraventur” – так у Landino a. a. O. p. 48. И: “Itaque quo antiquior erit virtus eo maior splendescet nobilitas”.
- ²⁵ Один текст XV столетия возводит это к расположению духа в час зачатия (т. е. опять-таки при рождении). См. Diego de Valera, Un petit traictyé de noblesse, издано в: Arie Johan Vanderjagt, Qui sa Vertu Anoblist: The Concept of Noblesse and chose publique in Burgundian Political Thought, Diss. Groningen 1981, pp. 235-283 (258). Впрочем, это образец светского учения об аристократии, так как с теологической точки зрения, при зачатии души не переносятся и не кондиционируются.
- ²⁶ “nec patiar illos aut assiduis laboribus aut longibus vigiliis aut nimia inedia corrumpit”, так у Landino a. a. O. (1440/1971), p. 72.
- ²⁷ Так у некого янсениста, для которого важнее другое: Pierre Nicole, De la Grandeur, in: Essai de Morale, t. II, 4 éd. 1682, p. 154 ff. (179 ff.).
- ²⁸ A. a. O. (1627), p. 9f.
- ²⁹ Дополняя различие *ascribed/achieved* (Ральф Линтон) или *quality/performance* (Толкотт Парсонс), так считали теории модернизации 50-х и начала 60-х гг. Относительно критики применения этих понятий к современному обществу см. Leon Mayhew, Sociological Inquiry 38 (1968), pp. 105-120.
- ³⁰ С этим сопряжено то, что в морали компоненты, имеющие отношение к заслугам, такие, как героизм или аскеза, ценятся больше, нежели

нормативные компоненты.

- ³¹ Относительно состояния дел в исследовании вопроса “эпического основания” см. Arthur Thomas Hatto, Eine allgemeine Theorie der Heldenepik, Vorträge G 307 der Rheinisch-Westfälischen Akademie der Wissenschaften, Opladen 1991, S. 8.
- ³² Этим может объясняться необходимость гомеровской мифологии и политеизма как формы религии в греческом полисе. Фигуры героев благодаря использованию в генеалогиях устанавливались в качестве исходных точек происхождения знатных семей. О распространении письменности в этой связи подробно см. Rosalind Thomas, Oral Traditions and Written Record in Classical Athens, Cambridge Engl. 1989, p. 155 ff. Эта взаимосвязь была замечена самое позднее Платоном и подверглась иронии в своеобразных наблюдениях второго порядка. См. замечания о тысячах богатых и бедных, принадлежавших к царскому роду и живших как рабы предках, которых имеет *каждый*, у Платона, Тезтет 175 A.
- ³³ Свидетельства в Jouanna a. a. O. t. I, p. 275 ff.
- ³⁴ Впрочем, это ни в коей мере не исключает того, что аристократы за определенные проступки наказывались строже, и им угрожала даже утрата знатности.
- ³⁵ Когда речь идет о морали, т. е. о медиуме, важном *сплошь* для всего общества, мы находим формулировки, ориентированные на равенство и неравенство. Так, у Джорджа Путтенгема читаем, George Puttenham, The Arte of English Poesie, London, новое издание Cambridge Engl. 1970, p. 42: “In everie degree and sort of men vertue is commendable but not egally: not onely because mens estates are unegall, but for that also vertue it selfe is not in every respect of egall value and estimation. For continence in a king is of greater merit, then in a carter.” А также p. 43: “Therefore it is that the inferiour persons, with their inferiour vertues have a certain inferiour praise”. Обосновывается это тем, что большие степени свободы действия в верхних слоях сильнее способствуют укреплению морального кодекса. Но за этим, разумеется, стоит и то, что мораль субстанциально относится к определению аристократии и что поэтому невозможно принять равенство морального положения для каждого, или же избавить кого-либо в обществе от моральной ответственности, от достигаемости похвалы и порицания.
- ³⁶ Так это описывается и в литературе о *moral economy*. См. только E. P. Thompson, The Moral Economy of the English Crowd in the 18th Century, Past and Present 50 (1971), pp. 76-136; James C. Scott, The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, New Haven 1976.
- ³⁷ См. Otto Brunner, Adeliges Landleben und europäischer Geist: Leben und

- Werk Wolf Helmhards von Hohberg 1612 – 1688, Salzburg 1949; его же, Das “ganze Haus” und die alteuropäische Ökonomik, in его же, Neue Wege der Verfassungs- und Sozialgeschichte, 2 Aufl. Göttingen 1968, S. 103-127. Что касается более старой литературы, см. Sabine Krüger, Zum Verständnis der Oeconomica Konrads von Megenburg: Griechische Ursprünge der spätmittelalterlichen Lehre von Hause, Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 20 (1964), S. 475-561. О явлениях ликвидации при переходе к обществу модерна см. также Wolf-Hagen Krauth, Wirtschaftsstruktur und Semantik: Wissenssoziologische Studien zum wirtschaftlichen Denken in Deutschland zwischen dem 13. und 17. Jahrhundert, Berlin 1984; Erich Egner, Der Verlust der alten Ökonomik: seine Hintergründe und Wirkungen, Berlin 1985; и о временном оживлении учения о домохозяйстве после разрушений Тридцатилетней войны, Gotthardt Frühsorge, Die Krise des Herkommens, in: Winfried Schultze (Hrsg.), Ständische Gesellschaft und Mobilität, München 1988, S. 95-112.
- ³⁸ Еще, например, у Гейнекия 1738 (1738) семья определяется как составное сообщество, состоящее из простых брачных сообществ, отношений между родителями и детьми и уклада землевладения господин/госпожа и слуги. Систематическое изложение этого относится не к естественному праву, но к основанному на естественном праве народному праву (*ius gentium*). См. Johann Gottlieb Heineccius, Grundlagen des Natur- und Völkerrechts (Elementa iuris naturae et gentium) Buch II, Kap. V., dt. Übers. Frankfurt 1994, S. 384 ff. Со ссылкой на Ульпиана.
- ³⁹ Эта особенность отчетливо проявляется при межкультурном сравнении с обществами, где часто случается как раз такое вмешательство общественного регулирования рангов в отдельные семьи. См. об этом M. G. Smith a. a. O. (1966), p. 157 ff.
- ⁴⁰ См. Martin Warnke, Hofkünstler: Zur Vorgeschichte des modernen Künstlers, Köln 1985, особ. S. 142 ff.
- ⁴¹ Платону приходится считаться с предрассудками относительно этой своей рекомендации, поэтому он обстоятельно описывает ее в Книге 5 “Государства”. Однако эта рекомендация последовательно продумана, если мы хотим предоставить женщинам равные права и равные профессиональные шансы в стратифицированном обществе, надстроенном над домохозяйствами.
- ⁴² Хотя и существуют семантические параллели – прежде всего, потому что терминология *господства* и метафора *организма* применяются к обеим областям, но это не препятствует определенному различию между экономическими и политическими делами. Семантические совпадения встречаются, скорее, в том, что мы сегодня назвали бы “обществом”.

- ⁴³ Эксплицитно об этом у François Grimaudet, Les opuscules politiques, Paris 1580, opuscules XIV, fol. 93v ff. “Que l’homme politique doit avoir esgard a se maintenir”. Это объединяет семью и потомство.
- ⁴⁴ Об этом см. Renate Blickle, Hausnotdurft: Ein Fundamentalrecht in der altständischen Ordnung Bayerns, in: Günter Birtsch (Hrsg.), Grund- und Freiheitsrechte von der ständischen zur spätbürgerlichen Gesellschaft, Göttingen 1987, S. 42-64; его же, Nahrung und Eigentum als Kategorien der ständischen Gesellschaft, in: Winfried Schulze a. a. O. (1988), S. 73-93.
- ⁴⁵ На эту тему имеется обширная литература с широким охватом регионов. Для позднего Средневековья и ранней эпохи модерна см., прежде всего, Guy Fitch Lytle/Stephen Orgel (ed.), Patronage in the Renaissance, Princeton N. J. 1981; Antoni Mnchak (Hrsg.), Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit, München 1988. Среди, скорее, сравнительно-этнографических или актуальных региональных точек зрения см. также Paul Littlewood, Patronaggio, ideologia e riproduzione, Rassegna Italiana di Sociologia 21 (1980), pp. 453-469; Luigi Graziano, Clientelismo e sistema politico: Il caso dell’Italia, Milano 1984; и специально с точки зрения формирования доверия Shmuel N. Eisenstadt/Luis Roniger, Clients and Friends: Interpersonal Relations and the Structure of Trust in Society, Cambridge Engl. 1984. О роли подобных сетей для организации политического сопротивления см. Perez Zagorin, The Court and the Country: the Beginning of the English Revolution, London 1969.
- ⁴⁶ Мы вернемся к этому чуть позже.
- ⁴⁷ См. Mervin James, Family, Lineage, and Civil Society: A Study of Society, Politics, and Mentality in the Durham Region 1500-1640, особ. p. 177 ff.; и о всеобщем распространении грамотности в Англии той эпохи David Cressy, Literacy and the Social Order: Reading and Writing in Tudor and Stuart England, Cambridge England 1980.
- ⁴⁸ Об этом J. H. Hexter, The Vision of Politics on the Eve of the Reformation: More, Machiavelli, and Seyssel, London 1973. Из современных этому явлению наблюдателей см. Estienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire (1574), цит. по Œuvres complètes, Genève 1967, p. 30: “Les livres et la doctrine donnent, plus que toute autre chose aus (sic!) hommes le sens et l’entendement des se reconnoistre et d’hair la tyrannie”.
- ⁴⁹ Об этом с дальнейшими отсылками см. Christopher Hill, Protestantismus, Pamphlete, Patriotismus und öffentliche Meinung im England des 16. und 17. Jahrhunderts, in: Bernhard Giesen (Hrsg.), Nationale und kulturelle Identität: Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, Frankfurt 1991, S. 100-120.
- ⁵⁰ “достоинство, положение” (лат.) – прим. ред.
- ⁵⁰ “Dignité est une qualité qui fait difference entre les populaires”, – сказано, в добавление к Бартолусу, у Diego de Valera, a. a. O. S. 251. O

знатных/незнатных как исходной точке всех остальных дифференциаций двести лет спустя Estienne Pasquier, *Les Recherches de la France*, Paris 1665, S. 337 ff. См. далее: Otto Gerhard Oexle, *Die funktionale Dreiteilung als Deutungsschema der sozialen Wirklichkeit in der ständischen Gesellschaft des Mittelalters*, in: Winfried Schulze a. a. O. (1988), S. 19-51. Эскле отчетливо показывает, как сильно семантические и социально-структурные процессы раннего Средневековья взаимно поддерживают друг друга. Но еще в монастырской культуре с VI по X век, а затем – вновь у цистерцианцев, *orare et laborare*, служение церкви и сельское хозяйство рассматривались в тесной взаимосвязи.

⁵¹ Об этом подробнее Josef Fleckenstein (Hrsg.), *Herrschaft und Stand: Untersuchungen zur Sozialgeschichte im 13. Jahrhundert*, Göttingen 1977.

⁵² См., например, Jan Peters, *Der Platz in der Kirche: Über soziales Rangdenken im Spätfeudalismus*, *Jahrbuch für Volkskunde und Kulturgeschichte* 28 (1985), S. 77-106. *Ранговые конфликты* описанного здесь рода (для которых параллели, разумеется, можно найти и в рамках аристократии), кроме всего прочего, являются индикатором для внутренних барьеров стратификационной *системной* дифференциации. Они как раз не ставят под сомнение системные границы, но опираются на внутрисистемные позиции. Но тем самым они в то же время копируют общую ранговую архитектуру мира и общества в частных системах, а также в ролевых и личных отношениях. В качестве относительно позднего примера для восприятия современниками таких эксцессов см. Julius Bernhard von Rohr, *Einleitung zur Ceremoniel-Wissenschaften Der Privat-Personen*, Berlin 1728, S. 105 ff. (121f. о борьбе за места в церкви).

* “народ” (лат., итал., франц., англ.) – прим. ред.

⁵³ “Plutôt une fiction commode pour obtenir le payement des impôts” – пишет Ролан Мунье, Roland Mousnier, *Les concepts d’“ordres”, d’“état”, de “fidélité” et de “monarchie” absolue en France, de la fin du XVe siècle à la fin du XVIIIe*, *Revue Historique* 247 (1972), pp. 289-312 (299). Исторические описания см., например, Ruth Mohl, *The Three Estates in Medieval and Renaissance Literature*, New York 1933; Wilhelm Schwer, *Stand und Ständeordnung im Weltbild des Mittelalters*, 2 Aufl. Paderborn 1952; George Duby, *Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme*, Paris 1978; Ottavia Niccoli, *I sacerdoti, i guerrieri, i contadini: Storia de un’immagine della società*, Torino 1979.

⁵⁴ См. основательное исследование для Франции (1516-1789), Michel Perronet, *Les Evêques de l’ancienne France*, 2 t., Lille-Paris, 1977, особ. т. I, p. 149 ff.

* “молиться, сражаться, пахать” (лат.) – прим. пер.

⁵⁵ См. основополагающую работу Pitirim A. Sorokin, *Social and Cultural*

Mobility (1927), New York 1964 [Сорокин П., *Человек, цивилизация, общество*, М., 1992, с. 295-425 – прим. пер.]; далее, что касается общего представления, Barber a. a. O. (1957), p. 334. См. также Edouard Perroy, *Social Mobility Among the French Noblesse in the Later Middle Ages, Past and Present* 21 (1962), pp. 25-38; Diedrich Saalfeld, *Die ständische Gliederung des Gesellschaft Deutschlands im Zeitalter des Absolutismus: Ein Quantifizierungsversuch*, *Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte* 67 (1980), S. 457-483 (459 f.) А интересным материалом об обнищании низшей знати в Средневековье; далее Lawrence Stone, *Social Mobility in England 1500-1700, Past and Present* 33 (1966), pp. 16-55; а сегодня, прежде всего, сообщения в: Winfried Schulze a. a. O. (1988). Об обсуждении этой темы во Франции в XVI в. см. также Jouanna, a. a. O. t. I, p. 153 ff. Даже в деревнях при весьма малой дистанции между поколениями семьи исчезали и вновь возникали больше, чем предполагалось. См. Laslett a. a. O. или MacFarlane a. a. O.

⁵⁶ См. для Бургундии, где это особенно бросается в глаза из-за активного участия населения в городском патрициате и администрации, а также из-за весьма развитых литературных интересов, Charity Cannon Willard, *The Concept of True Nobility at the Burgundian Court, Studies in the Renaissance* 14 (1967), pp. 33-48; Vanderjagt a. a. O. (1981). Кажется, что здесь впервые внедрено в практику, кроме прочего, представление о том, что *animus* или *virtus* является подлинным корнем знати.

* “спонсорство” (англ.) – прим. ред.

⁵⁷ Об этом см. Richard H. Brown, *Social Mobility and Economic Growth, The British Journal of Sociology* 24 (1973), pp. 58-66.

⁵⁸ Об этом менее известном случае см. Donati a. a. O. p. 177 f. с дальнейшими ссылками.

* “вожди кланов” (англ.) – прим. пер.

* “разжалование” (франц.) – прим. пер.

⁵⁹ Об этом см. Gaston Zeller, *Une notion de caractère historico-sociale: la dérogeance, Cahier internationaux de Sociologie* 22 (1957), p. 40-74; в дальнейшем Dravasa a. a. O. (1965/66), изложение многочисленных проникающих в конкретную юридическую практику опасений против строгого применения *dérogeance* при неаристократическом образе жизни.

⁶⁰ Критику этого мифа о восходящем классе см. у Helen Liebel, *The Bourgeoisie in Southwestern Germany 1500-1789: A Rising Class?*, *International Journal Review of Social History* 10 (1965), S. 283-307. См. также J. H. Hexter, *The Myth of the Middle Class in Tudor England*, в его же *Reappraisals in History*, London 1961, а из более новых исследований о буржуазии и буржуазности в XVIII и XIX вв. Jürgen Kocka

(Hrsg.), Bürger und Bürgerlichkeit im 18. und 19. Jahrhundert, Göttingen 1988. В основном, эта литература посвящена вопросу, можно ли и в каком смысле можно говорить о сплоченном классе. Структурный же вопрос – где тогда располагалась лестница для этого восхождения, оставлен без внимания.

VII. ОТДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ СИСТЕМ

Наш ответ гласит: старый порядок вещей был разрушен через отдифференциацию функциональных систем. В эволюционно-теоретическом контексте необходимо, в первую очередь, признать, что общественное обособление отдельных функциональных систем, ведущее к собственной, аутопойетической автономии, – а тем более, перестройка общей системы общества с приматом функциональной дифференциации – *крайне невероятный процесс*, который, однако, в конечном счете необратимо разворачивается из структурных процессов, зависящих от самих себя. Поэтому мало смысла в том, чтобы далее проследивать вопрос: почему в ходе мировой истории в крупных аграрных империях не возникло капиталистическое хозяйство¹ – как если бы существовала естественная тенденция к рациональному хозяйствованию, которая каким-то образом тормозилась, а затем – в средневековой Европе – пошла свободным ходом. Вместо этого мы исходим из того, что речь идет о возникновении формы общественной дифференциации нового типа, которая не опирается ни на сегментарные, ни на ранговые дифференциации (но, скорее, разрушает последние), и поэтому не может найти опору в обществе, где она возникает.²

Начало здесь датировать трудно, потому что его вряд ли можно отграничить от того, что мы называем предварительным развитием. Семантика этого процесса (да и как могло быть иначе!) поначалу была ориентирована на совокупность традиционных понятий. Решающим является то, что в какой-то момент рекурсивность аутопойетического воспроизводства начинает “схватывать” саму себя и достигает завершения, начиная с которого к политике причисляется только политика, к искусству – только искусство, к образованию – только способности и готовность к обучению, к хозяйству – только капитал и доходы, а соответствующие внутриобщественные окружающие миры – сюда от-

носятся и расслоение – воспринимаются только как вызывающий раздражение шум, как помехи или случайности.

Мы можем исходить из того, что ярко выраженная стратификационная дифференциация в том виде, как она сложилась на протяжении Средневековья с развитием сословного общества, поначалу благоприятствовала перестройке на функциональную дифференциацию. Ибо стратификационная дифференциация способствует концентрации ресурсов в верхнем слое системы – и это верно не только в отношении экономики, но и таких медиа, как власть и истина. Среди прочего, она способствует политико-правовому регулированию “зависимого” труда – отчасти в сельской местности, но и в форме гильдий и цехов с собственными иерархическими структурами. Если эти ресурсы не были связаны церковью, они могли инновативно внедряться и фиксироваться в правовой форме. Отсюда – особенно для Европы – вытекает особое значение собственности, смысл которой, начиная с XIV в., был переориентирован с господства над вещами на распоряжение ими.³ Даже по сей день действует остаточная привычка воспринимать “классовое общество” с позиций собственности. И все-таки в XIV столетии, и даже в начале XV столетия, вследствие эпидемии чумы, дело дошло до острой нехватки рабочей силы, что вынудило многих землевладельцев сдавать землю в аренду крестьянам, довольствуясь – соответственно – сниженным доходом. (Стало быть, не все проблемы аристократии на исходе Средневековья можно возводить к началу функциональной дифференциации.) Однако же статус правовым образом гарантированной собственности остался незатронутым этими проблемами хозяйствования.

Другая, столь же важная предпосылка могла состоять в том, что отношения родства в Европе не развились в клановые структуры. Они остались на уровне индивидуальных семей. При этом недоставало той сети безопасности, которая могла бы выровнять различия между потребностями и способностями и регулировать повседневную жизнь. Где образуются клановые структуры, они могут защищать повседневную жизнь от вторжения рыночной ориентации, правового регулирования и по-

литического вмешательства. Это “подрессоривание” не следует считать абсолютным; но, во всяком случае, оно препятствовало развитию рекурсивно действующих функциональных систем для хозяйства, права и политики. В Европе тенденции к образованию функциональных систем могли проникать в повседневное поведение, инновации (например, в аграрной технике) могли индивидуально вознаграждаться рыночным успехом, а право могло оказывать обогащающее воздействие на основе реализованных ограничений.

Необычность функциональной дифференциации, не в последнюю очередь, состоит в том, что *специфические* функции и их коммуникативные медиа должны концентрироваться в конкретной частной системе с *универсальной компетенцией*; т. е. в новом сочетании универсализма и спецификации. Средневековые обходились ролевыми дифференциациями и семантическими различиями. Поскольку единство общества обеспечивалось стратификацией, в пределах медиума “истина” Средневековье могло признавать разнообразные формы истины (например: религиозную, философскую, риторическую); или же в пределах медиума “деньги” – пользоваться разными системами валюты для ближней и дальней торговли с локально определяемыми курсами обмена; или же в пределах медиума “власть” – использовать различные очаги политически релевантного формирования власти, а именно империю, церковь, города и территориальные государства. Однако возникающие отсюда внутрифункциональные функции координации возрастали, и последующая реакция на них состояла в попытке лучше скоординировать функциональные системы *в самих себе*, наделить их монополией для каждого средства коммуникации и отказаться от координации *между* ними; причем фикция еще наличествовавшего иерархического уклада старалась скрыть драматизм и “катастрофический” характер этой перестройки до середины XVIII в.

Здесь мы не предполагаем и того, что общество подвергалось новому разделению в своего рода структурной революции и при этом перестраивалось на функциональную дифференци-

ацию. Едва ли мыслимо, чтобы перестройка с одной формы дифференциации на другую проходила по некоему плану. Обособления начинаются в благоприятствующем им окружающем мире общества. Они не обязательно взаимно предполагают друг друга, хотя, с другой стороны, их порядковые последовательности неслучайны. В ходе этого процесса дело доходит до многочисленных трудностей в отношениях функциональных систем друг к другу – до проблем и решений проблем, до структурных и семантических инноваций, с помощью которых происходит проба нового порядка перед его установлением. В отличие от Китая, в Европе образование империи потерпело крах из-за церковного сопротивления, из-за краха политической теократии; и благодаря этому был исключен также и политический контроль над охватываемыми обширные территории хозяйственными отношениями (т. е. торговлей).⁴ Денежное хозяйство еще в Средневековье ускользает от территориально-политического контроля и организует международное разделение труда, которое, со своей стороны, обуславливает политическую судьбу территорий.⁵ Единство *imperium* и *dominium* – власти, опирающейся на приказы, и землевладения – распадается. Аппаратам господства во все возрастающем объеме приходится находить дополнительные денежные ресурсы, и это может быть одной из причин, которые дестабилизируют систему двойной бюрократии – светского и церковного господства – всякий раз опирающейся на собственное землевладение.

Воспрепятствование образованию теократических империй позволяет использовать в Европе региональные, языковые и культурные различия при экспериментировании с подходами к функциональной дифференциации.⁶ Переход к сельскохозяйственному и ремесленному, а в конечном итоге – к промышленному рыночному производству, не смог произойти повсюду одновременно. Отдифференциация системы искусства происходит в Италии в XV в. при совершенно нетипичных особых условиях конкуренции со стороны мелких княжеских дворов и республик⁷, также и возникновение рынка произведений искусства в Англии в конце XVII в. требует особых условий зави-

симости интересов коллекционеров на Британских островах от импорта. Протестантская религиозная схизма, а с ней – религиозно мотивированный интерес к политике в сфере искусства и к воспитанию, следуют по пограничным линиям, возникшим из-за военных стычек, а затем политически замороженным. Лишь в *Common Law*⁸ Англии право воспринималось как национальная особенность (хотя там – решительным образом) и, таким образом, в развитии от Кока до Мэнсфилда утверждает себя против короны; но зато это привело к тому, что здесь не смогло пустить корни представление о писаной конституции.

С позднего Средневековья отдифференциации можно наблюдать на регионально ограниченном (и поэтому эволюционно менее рискованном) базисе; они ориентируются на функциональные центры тяжести и больше не подгоняются под иерархическую стратификацию. Изменения касаются, прежде всего, аристократии, а происходит это не в форме конкуренции со стороны другого высшего слоя, но через постепенное обесценивание различия, отделяющего знать от народа. Говоря о сельском населении и о городских ремесленниках, можно исходить из постоянных отношений, заходящих далеко в Новое время. Это касается формирования семей, профессиональных ролей, религиозных связей и правового оформления условий жизни. В опасность прежде всего и больше всего попадает тот сегмент общественной дифференциации, обособление которого способствовало созданию формы и эволюционной невероятности стратификационной дифференциации: высший слой. Лишь ему, при всем подчеркивании привычных ранговых различий, пришлось постепенно усвоить, что вновь образующиеся функциональные системы не зависят от аристократии и что их дифференциация может производиться без помощи аристократии.

Политика территориальных государств уже в XV в. – и притом под сенью пышно инсценированного конфликта между императором и Папой и внутрицерковного конфликта Вселенских Соборов – приобрела примечательную независимость от религиозных вопросов. Территориальные государства направляют посланников наблюдать за Вселенскими соборами и все

более рассматривают религиозные распри в качестве политических вопросов, и даже политических шансов.⁸ Когда в массовом порядке этому стало способствовать книгопечатание, т. е. с середины XVI в., наука тоже дистанцируется от религии – например, с помощью эмфатически наполненного понятия природы, посредством скандальных конфликтов (Коперник, Галилей) и благодаря использованию свободы ради скепсиса и любознательного новаторства – когда наука не могла зависеть ни от политики, ни от религии. Право активно задействуется для многих проблем, вытекающих из такого развития, например, в качестве права на собственность и договорного права для свободы, необходимой в денежном хозяйстве, или в качестве публичного права для перехода к религиозной терпимости – и благодаря тому, что оно могло оказывать такие услуги, у права растет самостоятельность по отношению к политической власти. Такие напряжения и изменения приковывают внимание современников. В то же время они не позволяют разглядеть, что эти конфликты между обособляющимися функциональными системами приведут к общим сдвигам, а именно к параллельно протекающей отдифференциации большинства функциональных систем. И лишь тогда, когда этим обособлением покрывалось достаточно много функций общественной системы, возникла возможность интерпретировать новый порядок из самого себя.

Как и при переходе от родовых обществ к высококультурным, условия трансформации лучше всего идентифицируются по структурным проблемам реализованной формы дифференциации. Мы покажем это, в первую очередь, для отдифференциации политической системы, которая в ходе этого процесса получает имя “государство”.

Как в империях, так и в городах с давних времен существовало политическое господство, которое, однако, проделало рывок к отчетливому обособлению лишь при переходе от позднего Средневековья к раннему Новому времени, в результате чего власть стала независимой от стратификации. При прежнем укладе политическая власть предстает как режим самого обще-

ства. Альтернативой политической власти был бы хаос. Властитель представляет собой момент космологически обоснованного порядка, который ограничивает его с точки зрения и природы, и морали. Поэтому требующееся от властителя знание, в первую очередь, является познанием его собственной добродетельной доблести.⁹ В латинской терминологии, где *rex* отличается от *tyrannus*^{*}, властителем считается только легитимный властитель. То же касается и *potestas*^{**}.¹⁰ Даже когда речь идет о *dominium*, это понятие предполагает включение распоряжения над экономическими ресурсами, но всегда в правовых рамках.¹¹ Смелые формулы, которые представляют князя отделенным от права и оправдывают с его стороны любое правовое установление, принадлежат к политической риторике, являются плохо понятыми цитатами из наследия римской мысли и никогда всерьез не влияли на государственную практику.

Подлинные проблемы заключались не в правопорядке, который поддается модификации соответственно неким требованиям; они состояли в отношении к форме дифференциации общества, в отношении к стратификации. Уже правопорядок гарантирует право на сопротивление, когда в нем утверждает-ся, что только легитимный князь является князем (а тиран, соответственно, не князь, а беда, наказание Божье, зло, которое необходимо устранить). И аристократия использует, как нечто само собой разумеющееся, право формировать собственное суждение и решать в соответствии с ним. Именно так мотивировалась борьба голландцев с испанцами за свободу, так мотивировалось и начало английской революции в тридцатые годы XVII столетия¹²; правда, впоследствии революция приняла другой оборот. Даже Ришелье не без труда боролся с этим умонастроением. Право – способом, который оно само не уже могло ни постигать, ни наблюдать, ни описывать – служило примату стратификационной дифференциации.

Со структурной точки зрения, этому соответствовала длительная проблема *политического соперничества*. Властитель в любой момент мог замениться соперником – из его собственной семьи, из высшей аристократии, вельможей извне, авантю-

ристом-военным, главой собственной администрации. После того, как от Макиавелли хорошие (или, как многие считали, дурные) советы достались именно *новому* государю, литература о государственном интересе определялась этой проблемой даже около 1600 г., что препятствовало ее обращению к размежеванию между династическими интересами и интересами государственными.¹³

Но политическое соперничество зависит от стратификации. Оно предполагает предварительный отбор соискателей высшим слоем (даже если цезаристские натуры время от времени могут использовать особые шансы), и в то же время стратифицированное общество непрерывно создает подпитку для выступления соперников. При желании поводы найдутся, недовольство можно будет мобилизовать. Позиции аристократии основаны на ее собственной экономии, на самостоятельно вооружаемых домохозяевах и на соответствующей свите. Что делать и допускать на этой основе – решает сам вельможа. Свои отношения к королю он воспринимает как верность, но не как зависимость. От верности он может отказаться, если поведение короля дает для этого повод. В подобных случаях можно очень легко формировать альянсы и находить политических противников, так как круг лиц, принимаемых в рассмотрение, мал и способен к интеракции. Как раз в этом смысле король обладает только легитимной *potestas*.

Реальная политика при таких обстоятельствах формирует и использует, прежде всего, отношения патрон/клиент – отчасти для того, чтобы обеспечить лояльность на собственной территории; отчасти для того, чтобы конспиративно вторгаться на чужие территории.¹⁴ В качестве ресурсов в своем распоряжении князь имеет нобилитации и раздачу должностей; в силу чего остальная его свита ограничивается ролью посредника. Особенно это касается переходного времени, когда у государства еще нет в распоряжении надежного аппарата чиновников на местах, однако же оно больше не может опираться только на власть аристократии, локализованную в землевладении. Поэтому с помощью патронажа из центра дело доходит до построе-

ния локальных систем клиентуры, которые их патрон использует – или же не использует – на службе у центра.¹⁵ Согласно современным критериям, такая система описывалась бы как “коррупция”¹⁶; но она обладала тем важным преимуществом для дальнейшего развития, что наряду с интересами к политической селекции, в то же время создавала независимые от родословной возможности для карьерного восхождения. Хотя постоянно нуждавшиеся в обновлении отношения патрон/клиент были связаны с иерархическими представлениями о порядке, они уже погребли под собой стратификационную дифференциацию общества.

На этом фоне зеркало добродетели для князей и придворных отражает и еще кое-что, а именно – опасение соперничества. Типичные амбивалентности из каталогов добродетелей (строгость и мягкость, бережливость и мотовство, справедливость и попустительство) призывают к тому, чтобы ориентироваться по ситуации. Литература о государственном интересе тоже перенимает эту проблему – например, с рекомендацией не применять право, когда это может привести к угрожающим волнениям или когда противники слишком могущественны. Сюда подходит понятие *prudentia*. Она обозначает мудрость, которая считается с тем, что существуют прошлое и будущее, равно как и хорошие и дурные люди. С помощью таких понятий, как *prudentia*, или затем *ratio status*¹⁷, властителю рекомендуется симуляция и скрытность. Говорят, что он должен хранить тайны власти (*arcana imperii*¹⁸). Тайна власти же состоит в том, что она не тайна.

В середине XVII в. отпадают предпосылки для постоянной оглядки на соперничество.¹⁷ Правда, пройдет еще много времени до того, как сама политическая система позаимствует принцип соперничества под именем “оппозиция” и тем самым приобретет право (тоже в новом смысле) называться “демократией”. Но поначалу то, что впоследствии будет закодировано этими терминами, должно получить институциональное оформление; и происходит это в форме административного и правового государства.¹⁸ В ходе этого развития аристократия, а влос-

ледствии и политическая система должна отказаться от представления о том, что этическая добродетель, определяемая через аристократические ценности, может найти выражение непосредственно в политической деятельности. Всю трудность такого отказа показывает сопротивление представлениям Макиавелли. В результате политика впоследствии соглашается на собственный государственный интерес, создавая анклав для аморальных действий (в экстренных случаях), тогда как мораль, наоборот, в согласии с издавна культивировавшимся церковным учением, может подвергаться приватизации.

Феодално-правовое наследие Средневековья проявляется, прежде всего, в непреходящем правовом статусе аристократии. В империи политическое развитие (а, например, не эволюция системы расслоения как таковой) разделяет аристократию на княжескую, или по меньшей мере непосредственно имперскую, и на территориально-государственную аристократию, которой приходилось так или иначе улаживать отношения со своим территориальным властителем, — тогда как имперская аристократия осталась особым союзом лиц и застыла в этой форме. В XVI и XVII столетиях отсюда вытекает юридически сложное переплетение сословного строя с государственным, для чего не подходит ни формула власти аристократии, ни формула господства суверенной монархии.¹⁹ В средневековой Италии на основе локальных столкновений между знатью и народом в городских республиках развиваются весьма различные политические отношения, которые вызывают сначала правовую (Бартолус, Бальдус), а впоследствии — после консолидации территориальных государств — еще и семантико-идеологическую дискуссию²⁰ — обе со значительными влияниями на аристократическую литературу того времени. К предварительному развитию более сильной политической сплоченности аристократии принадлежит практика политических нобилитаций, впервые обретших большой стиль при бургундском дворе в тумане рыцарской романтики и импортированной из Италии идеи *civiltà*.²¹ Столь же важной могла быть правовая реформа, касавшаяся освобождения от повинностей, а также привилегий, посредством которой

подчеркивалось, что от общепринятого правового положения требовалось отойти по особым причинам. Однако это отнюдь не значило, что аристократию можно было политически дисциплинировать. Например, момент чести всегда ускользал от политической диспозиции.²² Лишь обусловленная расширением денежного хозяйства финансовая нужда усиливает политическую зависимость аристократии, и в то же время новые проблемы с собой приносит территориальное государство: признание аристократии теперь “действительно” только для территории, являющейся родиной для данной семьи.²³ Однако сравнительные анализы показывают, что в различных странах по традиции передавались весьма несходные представления об аристократии²⁴, а за границей, следовательно, приходилось еще раз пытаться снискать признание собственной знатности. Так, во Франции основной мотив усилий в поддержку государственного признания старой аристократии или в поддержку возведения во дворянство мог вкладываться в освобождение от налогов.²⁵ Тогда это требовало и соответствующей юридической точности — при наличии критериев с высокой детализацией.²⁶ Во все возрастающем объеме проблемой для стратификации становились и должности, замещаемые на политических основаниях, — отчасти потому, что знати предпочитались компетентные соискатели, отчасти же оттого, что следствием стало возникновение особого рода знати (*noblesse de robe*).²⁷ Не в последнюю очередь — многочисленные тонкие различия в рамках аристократии приводили к вмешательству государства при прояснении спорных вопросов, и утвердилась практика требовать письменных доказательств, которые состояли преимущественно в официальных документах и государственной регистрации.²⁸ Все это постепенно привело к представлению о знати, как о зависящем от государства слое, и, соответственно, в салонах XVIII столетия дворянство уже не будет чересчур настаивать на соблюдении формальностей.

Результат этого процесса преобразования представлен в идее *суверенного государства*. Оно характеризуется ограничением ограничений государственного насилия. Теперь принимаются

одни лишь территориальные границы, но принимаются безусловно. Все остальные ограничения отпадают, что, однако, теперь означает: они ситуационно политизируются и входят в политический расчет “государственного интереса”. Задача последнего – самосохранение политической власти, что, с одной стороны, основано на господстве правящей династии, с другой же – прежде всего – на территориальной целостности. Подобно сети, этот новый принцип государственных границ брошен на старый уклад стратификации и вынуждает его подчиняться тому или иному государству – прежде всего, когда высший слой стремится сохранить политическое влияние. Литература на тему аристократии ищет со второй половины XVI столетия компромисс между знатью и территориальным государством – с бросающейся в глаза параллелью к провозглашенной в то же время на Тридентском Соборе перестройке отношений между религией и политикой. Дворянство приобретает репутацию государственного института, дисциплинирующего власть. Оно все больше легитимируется посредством формулы общего блага, для которого требуется и особая политическая система. Теперь дворянство оставляет за собой одно лишь “право”, но абсорбирующее много энергии: право в вопросах чести нарушать право в форме дуэли. Кроме того, даже среди юристов, было достигнуто согласие не во всех случаях применять право по отношению к дворянам высокого ранга.²⁹ И в одном известном тексте, который уже ратует за разделение властей, мы еще находим констатацию: “point de monarche, point de noblesse; point de noblesse, point de monarche. Mais on a un despote”.³⁰

Ведение войны теперь – только политическая проблема. Общество делегирует решение по этому вопросу своей политической системе (что имеет место также и сегодня, при том, что речь уже идет об оружии массового уничтожения и о политически не контролируемых локальных массовых убийствах). Если религия тяготеет к насильственным столкновениям, чтобы доказать или внушить правую веру, то ей приходится отыскивать политического заступника; политика же постепенно все более дистанцируется от ведения религиозных войн. Посколь-

ку религия способствует агрессивности, последняя должна регулироваться “церковно-политически” или субъективно направляться во внутренний мир человека в форме ригористических требований.³¹ Даже религия становится отдифференцированной системой.

Совершенно иначе развивается тенденция к функционально обусловленному обособлению в хозяйстве. После того, как торговля вышла за рамки купли-продажи престижных товаров, распространяющейся лишь на немногие предметы, ее включение в политику, или даже попросту контроль над торговлей и полученными от нее доходами, пожалуй, не удались нигде. Это касается и хозяйственных систем, охарактеризованных Поляни³² как “перераспределительные”.³³ Так или иначе, статусная система общества должна была принимать во внимание различные основания для престижа, а именно – знатность, политико-бюрократическое господство и торговое богатство; и похоже, будто стратификация в том, что касается браков, функционировала в качестве инструмента для компенсации таких напряжений. В эпоху Средневековья этот опыт в очередной раз повторяется при растущем развитии денежного хозяйства. Политику и хозяйство уже невозможно “наложить” друг на друга (несмотря на серьезное колебание выражения *dominium* между двумя сферами). Господство пока еще не закреплено территориально, и торговля переходит через границы, где бы они ни проводились. Не сельское хозяйство, но, пожалуй, денежное хозяйство (которое – особенно в Англии – уже включает в себя сельское хозяйство) развивает собственную динамику за рамками политического контроля. Характерная для раннего Средневековья экономика дарений и пожертвований находится в состоянии стагнации – вопреки всем попыткам выразить теперь ее душеспасительные мотивы через деньги. Поначалу использование денег на протяжении Средневековья возрастает до такой степени, что в результате выставленным на продажу оказывается гораздо больше, нежели сегодня: например, даже спасение души, даже государственные должности, даже источники государственного дохода. Создается впечатление, будто день-

ги движутся к тому, чтобы стать медиумом в обобщенном смысле. Структурные реликты старого различия между домом и торговлей проявляются как помехи, например, в сложных проблемах с валютой и ее пересчетом при дальней торговле, которые впоследствии приводят к изобретению новых финансовых инструментов. Излишние деньги, каковые уже не могли расходоваться в городской политике (как это могли еще щедро делать Медичи в XIV в.), навязываются государству и аристократии и приводят к долговым кризисам XV-XVI вв.³⁴ Подобно государству, но находясь в положении более безнадежном, чем государство, собирающее налоги, аристократия попадает в продолжительно несбалансированную ситуацию. Ей приходится проводить платежи, посредством которых она производит собственную неплатежеспособность; но она не хочет и не может провести такие платежи, посредством которых она могла бы вернуть себе платежеспособность через выгодные инвестиции. Аристократия все сильнее вовлекается в отдифференцирующуюся сферу хозяйства – но лишь в графе “дебет”. Хотя хозяйственные трудности и политическое рефинансирование высшего слоя существовали всегда, но теперь одновременно протекающие обособления хозяйственной и политической системы затрудняют традиционный для высшего слоя симбиоз контролей над политическими и экономическими ресурсами, а в конечном итоге и отменяют его. Даже это могло благоприятствовать распространенным тенденциям, а именно: дистанцированию в вопросах признания аристократии от переменчивых имущественных отношений и вместо этого опоре на государственную регистрацию.

Но не в этом заключается проблема, с которой приходится иметь дело развитию самого хозяйства. То новое, что возникает здесь, – не растущая денежная зависимость аристократии, но все большая независимость денег от аристократии. Сделки, опосредствованные рынками, стремительно множатся в эпоху раннего Нового времени. Локальная или региональная дифференциация рынков реформируется или даже заменяется товарно-специфической (т. е. чисто экономической) дифференциацией

цией рынков по шелку, по зерну, а в конечном счете даже по живописи, графике, скульптуре. Соответственно, понятие рынка отделяется от обозначения определенных площадей, предназначенных для совершения сделок, и становится формальным понятием, которое обозначает собственную логику сделок, не зависящих от дальнейших социальных признаков.³⁵ Тем самым начинается делящаяся с тех пор ориентация хозяйства на потребление, т. е. на само себя. Это отделяет *повышение* хозяйственной производительности от внешних директив, т. е. прежде всего, от потребности высшего слоя в ресурсах или от периодически имеющих место голода, грабежей и войн. Эти источники потребностей сохраняют значение, но теперь предстают в виде потребления, о котором возвещает рынок, – и тем самым как шансы для производства и инвестиций. Стимулирующий фактор теперь состоит в специфической для хозяйства ролевой дополненности между потребителем и производителем (как и в остальных областях, например, *правительство/подданный, учитель/ученик, художник/ценитель искусства*). *Всему* населению обещается доступ к одной из сторон этой ролевой схемы, к потреблению, и притом – в меру имеющейся покупательной способности, а не вследствие сословной принадлежности. Другая сторона выделяется для *специализации* либо по организации, либо по образованию и профессии.

Хозяйство учится регенерироваться системно-специфическими средствами: через цены (включая цену денег = проценты). Оно становится все более независимым от охватываемых стратификацией источников получения имущества. *Оплаченные* цены с этих пор считаются *объективной* основой для всякой хозяйственной, а тем самым – и всякой хозяйственно-научной калькуляции. Несмотря на религиозные сомнения особо чувствительных – например в связи с тем, что от процентных доходов прибыль получают даже по воскресеньям³⁶ – проблема процентов может быть разрешена. Гигантский приток американского драгоценного металла в XVI в. не соотносился ни с условиями, ни с заслугами; этот металл поступал как бы случайно, а в последствиях поначалу проявлялась непонятная соб-

ственная динамика. Хозяйство реагировало несбалансированностью, ростом цен, девальвацией драгоценных металлов, т. е. в рыночном порядке. Классические способы вложения денег в роскошь или в войну были в то же время способами влезания в долги при растущих ценах. Голландцы как будто бы нашли здесь столь же поразительное, сколь и парадоксальное решение. Они построили процветающую экономику как раз потому, что не располагали природными ресурсами – большая загадка, прежде всего, для английской экономической теории XVII в. То, что при этом какую-то роль играли новые финансовые инструменты, новые формы добывания денег – всем очевидно, однако теоретически не может быть адекватно осмыслено.³⁷ В результате выход обретался не в государственном финансировании и не в дорогостоящих и прибыльных колониальных экспедициях, но в развитии товарных рынков, в связи с которыми можно было производить инвестиции в средства производства. Это требовало чисто экономической формы калькуляции в отношении рентабельности инвестиций, а для этого с необходимостью повышалась ценность мотива прибыли. Хозяйство не контролируется феодальным господином феодальных господ или князем как верховным собственником, но решения принимаются на основе специфических для предприятий подсчетов прибылей и убытков, а эта калькуляция управляет производством с ориентацией на сбыт, т. е. на рынок. Поэтому обособление хозяйства поначалу воспринимается посредством собственной логики торговли³⁸, и еще Адам Смит говорит о *commercial society*. Дискуссия о процентах сдвигается в XVII в. с теолого-юридических проблем разрешения взимать проценты на внутриэкономические последствия этого. Труд теперь тоже уже не следствие грехопадения, т. е. не жизненная ситуация, в которой пребывают люди, но условие и продукт внутриэкономических процессов; и поэтому приходится переключиться со схемы *усердие/леность* на схему *труд/безработица*. Теперь – в конечном счете – решающими факторами успеха являются рынки (а не прилежание, не хорошая работа, не качество английских или итальянских сукон), и успеху должно подчиниться все – от заработной платы и инве-

стиций до валютной политики и государственного долга.³⁹ Независимо от того, разрешено ли аристократии участвовать в деловой активности собственными капиталами, способна ли она на это или нет, аутопойезис экономики развивается теперь в духе собственной структурно детерминированной системы. Решающими являются денежные платежи. Но израсходованные деньги необходимо добыть вновь, чтобы остаться платежеспособным. И если доходы от собственного имущества при традиционном способе хозяйствования оказываются недостаточными, а политические источники денег невозможно приумножать до бесконечности, то платежи следует рассчитывать так, чтобы они могли возратить деньги: т. е. необходимо инвестировать с выгодой. Прибыльному производству и торговле хозяйство предоставляет лишь одну альтернативу, а именно – работать за вознаграждение. Аристократии это не касается.

Между тем, монетаризация хозяйства уже очень давно вышла за пределы основной области сделок, осуществляемых посредством денег (получить нечто можно только за деньги). Прежде всего, технологически притязательное производство требует непрерывно возрастающих долей капитала. Рассчитывают на то, что стоимость выпущенных товаров будет больше затрат на 25-30%. Эти количества денег можно пустить в дело не только через реинвестицию собственных прибылей фирмы. Доля кредитов растет, а с ней – и зависимость от флуктуаций на международных финансовых рынках. Итак, мы видим новый централизм мирового сообщества, который, однако, проявляется не в нормах и не в директивах, но через флуктуации, а следовательно, в форме рассеянных структур. Не в последнюю очередь, из-за этого процесса хозяйственный, а затем и политический крах потерпела советская империя.

Очерченные здесь лишь наскоро изменения в ходе отдифференциации хозяйственной системы позволяют отчетливо рассмотреть, в насколько значительной степени и этот процесс поначалу еще определялся стратифицированным строением общества – и сдерживался в своем развитии. А именно: одна из его важнейших исходных точек заключалась в дальней торгов-

ле, которая сопровождается известными трудностями послонного распределения приобретаемого здесь богатства. Но затронутыми оказались, в первую очередь, высшие слои. Нижние слои ощутили изменения лишь со значительным промедлением. Приватизация общинной земли и освобождение крестьян – два движения, взваливающие на плечи фермера-одиночки весь риск, связанный с его собственным хозяйством, дают о себе знать (со значительными региональными различиями) лишь в XVIII-XIX вв. Даже в ремесленном хозяйстве доля домашней продукции – будь то в ручном производстве или в системе издательств – снижается лишь весьма постепенно.⁴⁰ Количественный поворотный пункт располагается здесь только в середине XIX столетия (во всяком случае, для Германии). И лишь тогда, собственно говоря, имеет смысл переключить описание общества с семантики необходимой для порядка сословной дифференциации на проблематичную фатальность более не оправдываемой классовой дифференциации.

В логике капитала и труда больше нет места старой дифференцированной форме стратификации. Начиная с последней трети XVIII в., всё больше говорят об общественных классах, и Маркс будет обосновывать эту терминологию различием *капитала и труда*.⁴¹ Но теперь это может значить лишь следующее: описать общество как целое из особой перспективы хозяйства.

Следовательно, распространенное в эпоху раннего Нового времени сетование на любовь высших слоев к роскоши служит хорошим индикатором напряжения между стратификацией и обособляющимся хозяйством. Это особенно проявляется в Англии, где сетуют не столько на недостаточные склонности аристократии к хозяйству, сколько на потребление, ориентированное на карьерное продвижение, когда документируется жизненный уровень, какого данный человек достичь (пока) не в силах.⁴² Сохраняющееся в неизменном виде расслоение подтачивает экономический потенциал, что к концу XVII в. приводит к формированию контраргумента, согласно которому оно будто бы создает рабочие места. И все-таки сплошь и рядом обще-

ство считается от природы разделенным на сословия, и поэтому проблема описывается в моральных понятиях как неправильное поведение.

Особого внимания заслуживает специфический рынок, а именно рынок для продукции недавно изобретенного печатного пресса. Здесь особенно отчетливо видно, как нововведенная технология обостряет проблемы функциональной дифференциации. Книгопечатание форсирует развитие дополнительной техники, а именно – техники грамотности. Это умение уже невозможно ограничивать темами определенных функциональных систем. Кто умеет читать Библию, умеет также читать памфлеты религиозной полемики, газеты, романы. Если теперь экономика регулирует, какие печатные изделия могут быть произведены и проданы, то прочие сферы коммуникации утрачивают контроль над коммуникацией. Прежде всего, этим затронуты религия и политика, и они пытаются (более или менее безуспешно) защититься с помощью цензуры или угрозы штрафов (за *libel*ⁱⁱⁱ согласно *Common law* и дополнительным законам). Но для этого необходимы решающие критерии, которые уже не исходят из общего миропознания, но должны функционально-специфическим образом развиваться, позитивироваться и при необходимости изменяться в религиозной, политической и правовой системе. Отдифференциация хозяйства означает для буржуазных слоев, а также для работающих вне дома рабочих, что трудовая деятельность отделяется от семейной жизни, по меньшей мере – в пространстве и во времени.⁴³ Функция координации труда сдвигается хозяином (домохозяином) на рынок, но в любом случае на долю хозяина выпадает интерпретация рыночных данных. В зависимости от типа организации трудовой деятельности, такое разделение в XVIII-XIX вв. превращается в нормальный случай. Вероятно, оно оказывает влияние на жизненные привычки и самовосприятие аристократии еще больше, нежели забота об источниках дохода, и даже в начале XIX в., по меньшей мере, некоторые части аристократии считают важным вести домашнее хозяйство, т. е. отказываются считать различием различие между жизнью, направленной на получение

доходов, и частной жизнью (несмотря на то, что многие уже давно состоят на государственной службе).⁴⁴

Для еще одной функциональной области, а именно – для отдифференциации интимным образом связанных, основанных на брачных узах малых семей, мы встречаем объемистые исследования, результаты которых, однако, оспариваются, прежде всего, в том, что касается датировки этого развития.⁴⁵ Следует исходить из того, что в Европе в эпоху раннего Нового времени – со сравнительной точки зрения – были реализованы особые условия, шедшие навстречу учету личных симпатий при заключении брака: прежде всего, относительно поздний брачный возраст, допустимость холостого (незамужнего) положения, предпосылка экономической самостоятельности или гарантированных жизненных условий и представление об основании новой семьи в каждом поколении. Тем самым обеспечивалась известная мера обособления – но только не для аристократии и зажиточного верхнего слоя. В других случаях обстоятельства домашнего хозяйства также следовало принимать во внимание. С тем большим основанием личную привязанность, имевшую определяющее значение, нельзя описывать как “романтическую любовь”. О возвеличении любви как страсти, которая суверенно управляет собственным царством, речь заходит лишь в XVII столетии и, в первую очередь, по поводу внебрачных связей.⁴⁶ Даже в XVIII в. заключение брака без согласия родителей было едва ли возможным (что не исключало того, что привлекательный молодой человек мог соблазнить богатую наследницу и найти священника для проведения венчания). Лишь в XVIII в. Европа приходит к необычному для остального мира представлению, что только любовь должна играть решающую роль в браке, причем по образцу романов и без каких-либо исключений для аристократии. Только теперь принцип заключения браков – по крайней мере, по идее – нейтрализует вмешательство социального расслоения.

Анализы такого рода можно проводить и для других функциональных систем. Повсюду мы встречаем переключение на собственную динамику и упразднение предпосылок, гаранти-

ровавшихся стратификацией. Это происходит отчасти необдуманно и ненамеренно – например, когда религиозная система, как установили американцы, берет для себя святых в VI-XII вв. на 90% из высшего слоя, тогда как в XIX в. – в противовес этому, только на 29%.⁴⁷ Наука формирует новое понятие очевидности, которое зависит не от языка, не от школьного тривиума* и не от стародавней риторики, и тем самым также выходит из-под зависимости от сословной заботы о воспитании. С этих пор развитие протекает – можно сказать – через невероятные очевидности. Старое понятие *securitas*** сдвигается с субъективного на объективный уровень – от старых коннотаций (простирающихся вплоть до фривольных) беззаботности к непреложному, гарантированному знанию и умению⁴⁸ и тем самым равным образом покидает область, на которую оказывает влияние расслоение. Теперь решение звучит так: *ясные, отчетливые идеи*, или даже – *удостоверение посредством эксперимента*. Благодаря всему этому старая (прежде всего, итальянская, а чуть позднее – французская) дискуссия о том, что больше отличает аристократию – военная служба или образование (*armellettere*) – утрачивает остроту: во всяком случае, она не проникает в рассмотрение научных вопросов, хотя в течение известного периода была еще достаточной для того, чтобы легитимировать любительские научные труды аристократов. Но даже в Англии – где это прежде особенно подчеркивалось и приветствовалось – теперь такое могло лишь констатироваться и никоим образом не вело к утрате *common sense*. Так, Шефтсбери говорит о студенте, изучающем математику: “All he desires is to keep his Head sound, as it was before”.⁴⁹

В дальнейшем бросается в глаза, что важнейшие новаторские движения XVI в., протестантская Реформация и политический гуманизм, были инициированы и проведены буржуазными кругами, а не аристократией. Это могло быть связано с тем, что тогда книгопечатание играло решающую роль, а в поведенческом кодексе аристократии, во всяком случае, поначалу, не было предусмотрено писать и печатать книги. Даже Шефтсбери признает, что он пользуется этой новой формой комму-

никации, лишь сознавая свое бессилие.⁵⁰

Из-за этих процессов, но также в связи с возникновением экономически и культурно передовых крупных городов, как Париж и Лондон, символы утрачивают непреложность референции. Рождение, древнее богатство (в форме землевладения) и наследственный социальный ранг остаются признанными, но дополняются и даже вытесняются на обочину новыми, с большей легкостью манипулируемыми и менее определенными критериями, такими, как манеры и прекрасный облик. Это отчетливо отражается в дискуссиях о ценностях XVII – начала XVIII вв.; назовем лишь одно имя: Бальтасар Грасиана. Раздумья об искусстве, общении и морали подхватывают эти проблемы и, если можно так выразиться, “десубстанциализируют” стратификационный уклад. Категория хорошего вкуса пытается компенсировать эту утрату социального авторитета и несомненной компетентности суждений, вновь придав значимость социальной селективности, но в более подвижных формах и с лишь утверждаемой обоснованностью. Для предметов искусства развивается, прежде всего, в Англии⁵¹, рынок и профессиональная художественная критика с функциями абсорбции неопределенности.⁵² Статусные символы нуждаются в новых формах легитимации. Такие критерии, как *bienséance* и *gout/taste*,⁵³ пытаются возвести новые проблемы к старому стратификационному укладу. Но теперь это критерии, предполагающие обучение – мы сегодня, вероятно, сказали бы: социализацию – и, во всяком случае, они не могут приобретаться по рождению.

Уже в XVIII в. о первичном разделении общества на слои, по существу, говорить уже невозможно. И все-таки официальные описания общества – прежде всего, с помощью правовых квалификаций, уставов государственной полиции и налоговой статистики – еще придерживаются старого разделения.⁵⁴ Однако тем самым тенденции развития уже невозможно понять ни в структурном, ни в семантическом отношении. То, что теперь называется “прогрессом” или “Просвещением”, упраздняет старые порядки. Французская революция уже не могла влиять на этот факт, ей пришлось его только зарегистрировать

и довести до признания в самоописании общества.⁵⁴ С последней трети XVIII в. происходит смена функциональных систем, служивших предпосылками для стратификации, и в возрастающем объеме ставится цель нейтрализации влияния слоев – это имеет место в юридическом изобретении *всеобщей правоспособности* или в переориентировании образовательной системы на публичные школы для всего населения, а затем, в XVIII в., еще и в учреждении досконально организованной системы экзаменов со специализацией на приобретаемых в самих школах и университетах знаниях и способностях. Сегодня этот процесс может считаться завершенным. Происхождение не играет почти никакой роли для функциональных систем, а при высокоструктурированной собственной сложности – например, сложности правовой системы – это можно констатировать и для всякий раз изменяющихся ролей участников.⁵⁵

Поначалу дворянство реагировало на это “инволютивно”, т. е. усиленным применением старых средств к новым ситуациям, при помощи генеалогии и геральдики.⁵⁶ Возникает изысканное, специфическое для аристократии “письмо”⁵⁷ гербов и оружия, девизов и эмблем, церемониальной привилегизации/депривилегизации с основанным на всем этом кодексе чести, задействующем своего рода “гиперкоррективный” (как сказали бы лингвисты) процесс обучения.⁵⁸ Рождение как существенный и безусловный (а также юридически легкий в обращении) критерий выдвигается на передний план, тогда как моральные заслуги оказываются дополнительным фактором: хотя их по-прежнему учитывают, они больше не являются решающими.⁵⁹ Соответственно – карьерное восхождение мыслимо теперь уже не посредством доблести (хотя в этом всегда сомневались такие юристы, как Бартолуз), но только через нобилитацию. С другой стороны, в раннее Новое время, особенно – в XVI в., собственная эпоха воспринимается как время распада, что – в пересчете на аристократию – означает, что каждый род в каждом поколении должен возрождать свое значение посредством доблести (= морали), чтобы с течением времени не выродиться. С помощью всех этих изменений знать приспособливается

к “абсолютистскому государству” и в то же время способствует тому, что в государстве, наряду с проведением реформ юстиции, аристократия утверждается в качестве средства политической консолидации. Подчеркивается требование повысить усилия по воспитанию молодого поколения аристократии, чтобы приспособить его к особенностям аристократического образа жизни; это приводит к основанию соответствующих институтов.⁶⁰ Их закрытость для нижних слоев становится отчетливой.⁶¹ На знание, распространяемое посредством книгопечатания, реагируют отвержением “педанства”⁶² и культивированием изысканной беседы, анекдотами и афоризмами, стилевыми средствами Ларошфуко.⁶³ Прежде всего, сохраняется презрение к прибыльной деятельности (исключения: Англия и Италия). Оно возникает из аристотелевского определения, что в счет идет только старое богатство (уже наличествующее при рождении).⁶⁴

Однако же, пожалуй, наиболее бросающейся в глаза новинкой является прямо-таки невротическое подчеркивание “чести” и ее защита в провоцируемой дуэли. Лучше всего понять это бросающееся в глаза, необычное по интенсивности настаивание на чести, если увидеть, от чего оно отличается, а отличается оно от действий, мотивированных случайностями и удобствами, т. е. от *fortune*. Честь придает поступкам логическую связность, а погоня за удобными случаями обращения к ней делает поступки зависимыми.⁶⁵ Посредством понятия чести аристократия реагирует на возрастающее разнообразие экономических и политических отношений, каким она открыта больше других слоев. В то же время понятие чести – как раз из-за этой защитной функции – остается специфическим для аристократии. Честь ускользает от любых рациональных соображений, даже от тех, что касаются собственной семьи и собственной жизни индивида. Это преувеличение может считаться симптомом того, что старые порядки не работают, одно лишь происхождение уже не предоставляет индивиду достаточных возможностей для выражения, индивидуальная уязвимость возрастает – и для всего этого разыскиваются опять-таки “аристок-

ратические” формы выражения и вытеснения.⁶⁶ Лишь в XVIII в. эта норма ослабляется на поведенческом уровне до расплывчатого *homme aimable*. В вопросе чести, как мы сегодня читаем, XVIII столетие является не особенно блестящим.⁶⁷ Ибо теперь честь – при более изменчивых отношениях политической оппозиции, направлений литературного вкуса, хозяйственных флуктуаций, при которых землевладение в конечном счете причисляется лишь к своего рода капиталовложениям, является своего рода кредитом⁶⁸, который можно использовать для многих пока неопределенных целей – и все еще, не в последнюю очередь, для завязывания полезных контактов. Некогда бывшее определяющим различие противоположных понятий *honestas/ utilitas** отступает на задний план и заменяется социальным престижем. Что бы ни думал отдельный представитель знати наедине с собой – литература XVIII в. производит впечатление, будто общественные отношения, восприятия и симпатии теперь рассчитывались в отношении их плодотворности индивидуально, и что только так еще можно обосновать стабильность общественного порядка.

Столь же реакционными в конце XVII – начале XVIII вв. являются попытки обеспечить общественное влияние старым способом, через личные знакомства. Необходимо было знать про других: имена и лица, мимолетные любовные интрижки и долги, склонности к вольнодумству или к набожности, милость или опалу при дворе, страсти к театру, родственные связи, регулярные контакты и пр.; но такие требования предполагают замкнутость слоя и сконцентрированную в нем распорядительную мощь. Они попадают под давление растущей сложности и, прежде всего, в ситуацию растущего отделения от частной личности и функционально-системно-специфически обусловленного ролевого поведения. И тогда может уже не хватать, например, знакомства с тысячей человек и поддержания уровня знания посредством “говорения о нем”. Но что еще может сделать аристократия? Даже в конце XVIII в. можно лишь поражаться ее компетентности в интеракции, но количество сфер, где такая компетентность задействована, стремительно умень-

шается.⁶⁹ Последнюю опору сословный строй находит в праве – пожалуй, потому, что право всякий раз должно было находить конкретные эрзац-решения для вопросов, на которые оно отвечало. Даже прусское Общее земельное право от 1794 г. предполагает сословный строй и подтверждает его.⁷⁰ Но в то же время именно решения, которые приходится принимать при юридических кодификациях, (не говоря уже о “революциях”) показывают, что существуют и другие возможности порядка.

Инволютивному, отстаивающему свои позиции поведению аристократии противостоит эволюция функциональных систем, которые всё больше берут власть себе. Общество в целом все больше поддается инклюзивной тяге собственных функциональных систем. Что является важным, решается в этих системах, и каждая функциональная система сама управляет тем, какие темы она охватывает, по каким правилам проводит коммуникацию и на какие позиции в итоге расставляет участников. При этом определенную роль играют как не зависящие от слоев обобщения (общая правоспособность, государственная принадлежность, зрелость по окончании высшей школы), так и не зависящие от слоев различия. Теперь это, прежде всего, ролевые асимметрии нового типа или продвигающиеся к новому типу, как то: *управляющий/управляемый* (в соотношении с государством, а не с общественным положением), *производитель/потребитель*, *учитель/ученик*, *врач/пациент*. Само собой разумеется, доступ к новым ролям остается зависящим от сословной принадлежности. Однако, в то же время новые асимметрии делегитимизируют старые асимметрии сословного строя и тем самым указывают на то, что общество перестроилось с примата стратификации на примат функциональной дифференциации.

Вместе с обособлением функционально-специфических ролевых дополнений изменяется не только процесс инклюзии. Вместе с инклюзией изменяется и то, что в обществе считается рациональным, т. е. допускается у индивида как разумное поведение. Подобно тому, как инклюзия связана с рациональностью, эксклюзия сопряжена с иррациональностью. Посредством семантики *рациональности/иррациональности* про-

должают восприниматься правила *инклюзии/эксклюзии*. Именно такая связь при переходе от стратификационной (ориентированной на *другие собственные* роли) дифференциации к дифференциации функциональной (ориентированной на дополнительные роли *других*) приводит к глубокой перестройке семантики и, прежде всего, к новой индивидуализации представлений о рациональности. Следствием здесь является “утилитаризм благосостояния” XVII в. с потусторонней и посюсторонней ориентацией.⁷¹ И тем самым – что бы ни взять – речь, в первую очередь, заходит о производительности и о максимизации выгоды (опять-таки, первым делом – принимая во внимание душевительные подсчеты и при текущем контроле уровня греховности), но уже не о получающемся из совокупности ролей “качестве” личности.

Поэтому индивид сам по себе становится инстанцией, задающей вопросом, какого рода обязательства и какой их объем представляются ему разумными. Относительно первостепенной в то время религии читаем, к примеру, у Томаса Брауна: “... there is no Church whose every part so squares onto my Conscience; whose Articles, Constitutions, and Customs seem so consonant unto reason, as this whereof I hold my Belief, the Church of England; to whose Faith I am a sworn Subject, and therefore in a double Obligation subscribe onto her Articles, and endeavour to observe her Constitutions. Whatsoever is beyond, as points indifferent, I observe according to the rules of my Devotion; neither believing this, because Luther affirmed it, or disapproving that, because Calvin has disavouched it”⁷². По нагромождению *I/my* мы видим, что индивид выставляет себя в качестве исходной точки для того, что кажется подобающим для его веры, разума и принадлежности к организациям.

Опять-таки средствами абстрагирующей теории можно сформулировать, что во всех функциональных системах растет пространство взаимодействия между временным измерением и измерением социальным, и тем самым индивиду выпадают функции опосредования. В политической системе это выражается в суверенности коллективно обязывающих (т. е. обязыва-

ющих и того, кто принимает решения) решений с процедурным регулированием применения к самому себе. В правовой системе этому соответствует полная позитивизация права и свобода заключения договоров. Хозяйство привязывает все сделки к платежам и благодаря этому добивается того, что доступ к дефицитным товарам уже не зависит от сословия, но ограничен лишь тем, что для этого необходимо отдать другой, искусственно дефицитный товар, а именно деньги. Наука принимает гипотетику всякой истины и тем самым подвергает то, что подлежит общественному признанию, возможной вариативности во времени. Во всех этих случаях речь идет о том, чтобы выявить больше комбинаторных возможностей в отношениях напряжения между временным измерением и измерением социальным (т. е. в отношении к социально действенным временным связям). Однако за этот выигрыш впоследствии приходится платить кондиционированиями, которые можно устанавливать только в отдельных функциональных системах: таких, как хрупкий, ненадолго достижимый политический консенсус; как рыночная цена; как (в принципе изменяемый) правовой закон; или как положенный в основу преподавания школьный учебник. Эволюционным “аттрактором”, способствующим осуществлению всего этого, служит повышенная сложность. В этом пространстве слабеют временные и социальные связи старого мира, и то, что прежде было убедительным в качестве рангового уклада, теперь кажется лишь ненужной жесткостью. Чрезмерное требование рациональности теперь называется “Просвещением”. Оно пытается связать индивида его знаниями – а уже не требованиями его сословия и еще не тем, что обещает успех в функциональных системах.

Самое позднее – в XVIII в., поначалу в “буржуазных” слоях, дело доходит до новых форм социализации, которые больше не предполагают, что ребенок получает определение уже благодаря происхождению, и что его следует лишь защищать от соблазнов и коррупции, а он должен быть обучен приличествующим статусу навыкам. Вместо этого упор все больше делается на внутренние ценности, на подготовку к пока неопределенно-

му будущему, на собственную способность суждения, на “образование”. Отсюда следует, что влияние расслоения на общественные отношения должно быть фундаментальным образом реструктурировано. Новое, возникающее с XVIII в. понятие “социального класса” дает об этом лишь немного сведений; ведь в качестве простого понятия, обозначающего подразделение, оно, скорее, скрывает подлинные механизмы, даже если мы оснащаем классы разного рода мистификациями социальных воздействий, а то и приписываем им *collective action*. Во всяком случае, в XIX в. в Европе – и в Англии тоже – мы не находим социального расслоения, зиждущегося на семейных хозяйствах.⁷³ Фактически принадлежность к слою теперь действует лишь через влияние на диапазон *индивидуальных контактов* и успешность *индивидуальных карьер* и, со своей стороны, репродуцируется через карьеры. Социальная интеграция тем самым опосредствуется организациями – например, школами и университетами; возможностями карьерного восхождения в организациях, использующих профессиональную деятельность; способностью к лучшему проявлению индивидуальности в политических партиях, по отношению к полиции или перед судом; и не в последнюю очередь – лучшим излечением в больницах. Благодаря бесчисленным статистическим исследованиям мы хорошо проинформированы об этой специфической для слоев селективности. Однако ее оценка – из-за коллективного вменения – ошибочно переносится на социальные классы. Решающим – даже в качестве препятствия для политически инспирированных контрмер – является то, что теперь в многочисленных организациях принимаются решения о том, для кого может быть рациональной ориентация на происхождение и его зримые знаки. И, прежде всего, решает то, что в современном обществе важнейшим механизмом интеграции⁷⁴ индивидов и общества служит карьера (а уже не мораль!). Больше всего это касается карьерного восхождения, но, разумеется, верно и для стагнации, перехода в низший класс, выхода из дела, поскольку это тоже последовательности событий, в которых достигнутое обуславливает еще возможное. Тем самым карьеры явля-

ются формами, в которых социальные различия стартовых позиций и селекции “свой/чужой” темпорализуются во всех пунктах изменения, т. е. становятся прошлым, имеющим значение для будущего. Если расслоение оказывает на это влияние и уже не проявляется в качестве первичной формы дефиниции общественных подсистем, то дело сводится к несравнимости современных обществ с традиционными. Мы не можем даже сказать, понижается или повышается значение расслоения благодаря функциональной дифференциации и организационной зависимости общества. Отношения здесь слишком отличаются друг от друга.

Итак, поскольку каждая функциональная система должна в самой себе “выторговывать” отношения между темпоральностью и социальностью, каждая функциональная система может утверждать, что она представляет общество, но только для собственной области. Вместе с Гордоном Паском мы можем обозначить результат как “redundancy of potential command”⁷⁵, но теперь эта избыточность не редуцируется ни к верхушечной части общества, ни к его центру. Начинают предлагаться эрзац-представления. Так, в XVIII в. от Шотландии до Польши возникают “патриоты”.⁷⁶ XIX в. обращается к национализму. Но эти новые формы, которые стремятся воспринимать общество опять-таки политически центрированно, терпят крах из-за самого государства или, точнее, из-за территориальной сегментации политической системы общества, теперь бесповоротно ставшего мировым. Репрезентация единства в единстве зависела от форм дифференциации. От такой репрезентации пришлось отказаться. Но что пришло ей на смену, было не так уж легко распознать.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. VII:

¹ Имеется в виду, естественно, постановка этого вопроса Максом Вебером. По поводу его новой версии см., например, John A. Hall, *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*, Harmondsworth, Middlesex, England 1986, Chap. 1-4. Однако же критика различий между крупными аграрными империями лишь уси-

- ливает потребность в объяснении уникальности развития, специфичного для Европы.
- 2 Нам придется слегка модифицировать это высказывание в отношении концентрации ресурсов в верхнем слое аристократического общества.
 - 3 Об этом см. Niklas Luhmann, *Am Anfang war kein Unrecht*, in ders., *Gesellschaftsstruktur und Semantik* Bd. 3, Frankfurt 1989, S. 11-64, с указаниями на исследования в области истории права.
 - 4 Об этом см. John A. Hall, *Powers and Liberties: The Causes and Consequences of the Rise of the West*, Berkeley 1986. О правовой инструментровке этой антитеократической политики и о ее связи с возникновением территориальных государств см. также Harold J. Berman, *Recht und Revolution: Die Bildung der westlichen Rechtstradition*, dt. Übers. Frankfurt 1991.
 - 5 См. Immanuel Wallerstein, *The Modern World-System: Capitalist Agriculture and the Origins of the European World-Economy in the Sixteenth Century*, New York 1974.
 - 6 На это по праву указывал Алоиз Хан, Alois Hahn, *Identität und Nation*, *Berliner Journal für Soziologie* 3 (1993), S. 193-203. Правда, мне кажется, что сложная проблема регионального сегментирования недостаточно охватывается понятием “нация”. До самого конца XVIII столетия лишь немногие территории Европы могли считаться в полном смысле объединенными с точки зрения понятия “нация”. В первую очередь, это Франция и Испания (без Португалии, но с Каталонией и Страной Басков), в дальнейшем – Англия, но без Шотландии, вплоть до упразднения клановой структуры и происшедшего в середине XVIII в. одного из крупнейших в новейшей истории геноцидов. Ни Германия, ни Австрия, ни Италия сюда не относятся. Конечно, не относятся и Польша (с Литвой или без нее, с государственной независимостью или без нее и при мощных внешних культурных влияниях). Может быть, понятие “нация” подходит к Швеции; может быть, к Дании (с Норвегией или без нее?). Возникновение наций – особый процесс, проведенный с помощью книгопечатания и государственной культурной политики (административные города вроде Монпелье, основания университетов вроде Оньяти в Стране Басков), которому благоприятствовала, в первую очередь, перестройка аристократии в государственный институт. Однако использование региональных различий для экспериментирования с функциональными центрами едва ли полагается на национальную унификацию территорий, но опирается, скорее, на заданные и переходящие различия в развитии. Словом, формирование национального единства бросается в глаза, скорее, в исторической ретроспективе, после того, как в XIX веке произошло деление географической карты на национальные государства, а не под-

- ходящие сюда структуры стали восприниматься как аномалии.
- ⁷ Вероятно, следует отметить, что в Италии политическое использование торговых прибылей не могло быть перенесено из городского контекста Средневековья на центральную власть, как происходило в других странах, в форме покупки должностей, покупки знатности или в форме кредитов, так как такой центральной власти не существовало, и вместо этого переход от средневековых городских республик к мелкому княжескому государству переживался как утрата свободы, и поэтому требовал показной легитимации. Об этом также Niklas Luhmann, *Die Kunst der Gesellschaft*, Frankfurt 1995, особ. S. 256 ff.
- * “Общее право” (англ.): правовая система в Англии, основанная на сочетании прецедентного и статутного права. — прим. ред.
- ⁸ При этом мотивы церковной реформы не должны были оспариваться князьями в связи со стагнацией внутрицерковных устремлений к реформе. Об этом см. Manfred Schulze, *Fürsten und Reformation: Geistliche Reformpolitik weltlicher Fürsten vor der Reformation*, Tübingen 1991.
- ⁹ В Европе об этом можно было прочесть практически в каждом трактате о княжеском господстве и воспитании князей — до тех пор, пока в последние десятилетия XVI в. учение о государственном интересе не ввело некий поворот, но и оно продолжало считать добродетель властителя заповедью государственного интереса. И как раз аналогичную структуру мы обнаруживаем в конфуцианской концепции господства. См. Pyong-Choom Nahm, *The Korean Political Tradition and Law*, Seoul 1967. См. теперь также Kun Yang, *Law and Society Studies in Korea: Beyond the Nahm Thesis*, *Law and Society Review* 23 (1989), pp. 891-901.
- * *tyrannus* (в отличие от *rex*): царь, правящий против воли народа — прим. ред.
- ** “власть, могущество” (лат.) — прим. ред.
- ¹⁰ Что дает о себе знать, главным образом, имплицитно, в определении *potestas* как *ius*, причем это понятие можно применять как к политическому господству, так и к домашнему хозяйству. См. также Hermann Vulteius, *Jurisprudentiae Romanae a Justiniano compositae libri II*, 6. Aufl. Marburg 1610, S. 53: “Potestas est ius personae in personam quo una praeest, altera subest”.
- ¹¹ В особенности здесь можно проследить необратимость позиционного отношения сверху и снизу вплоть до технико-юридических дискуссий. Ведь если права подчиненного по отношению к господину нехорошо называть также *potestas* или *dominium*, то здесь требуется более абстрактное понятие — а именно, понятие *ius*, которое тоже как бы предоставляет упаковку для определения прав господина.

- ¹² См. Richard Saage, *Herrschaft, Toleranz, Widerstand: Studien zur politischen Theorie der niederländischen und der englischen Revolution*, Frankfurt 1981.
- ¹³ См., например, Giovanni Botero, *Della Ragion di Stato* (1589), цит. по изданию Bologna 1930; Ciro Spontone, *Dodici libri del Governo di Stato*, Verona 1599; Giovanni Antonio Palazzo, *Discorso del Governo e della Ragion vera di Stato*, Venetia 1606.
- ¹⁴ Несмотря на многочисленные подробные исследования (прежде всего, в Англии), эта форма уклада еще мало исследована систематически. Прежде всего, это касается объема, в котором она охватывает и нижние слои. Относительно нынешнего состояния исследований см. Antoni Maczak (Hrsg.), *Klientelsysteme im Europa der Frühen Neuzeit*, München 1988.
- ¹⁵ Об этом см. анализ обострения нидерландско-испанских отношений во вторую половину XVI столетия: Helmut G. Koenigsberger, *Patronage, Clientage and Elites in the Politics of Philip II, Cardinal Granvelle and William of Orange*, in: Antoni Maczak a. a. O., S. 127-148. Об особых условиях патронирования должностей в церковном государстве см. Wolfgang Reinhard, *Freunde und Kreaturen: “Verflechtung” als Konzept zur Erforschung historischer Führungsgruppen: Römische Oligarchie im 1600*, München 1979.
- ¹⁶ В описываемые времена критики этой системы тоже хватало. См. Burg and Wim Blokman, *Patronage, Brokerage and Corruption as Symptoms of Incipient State Formation in the Burgundian-Habsburg Netherlands*, in: Winfried Schulze a. a. O. (1988), S. 117-126.
- * “благоразумие” (лат.) — прим. ред.
- ** “причина статуса” (лат.) — прим. ред.
- *** “тайны империи” (лат.) — прим. ред.
- ¹⁷ Вместе с всевозможными воздействиями на хозяйство и культуру это подчеркивает Theodore K. Rabb, *The Struggle for Stability in Early Modern Europe*, New York 1975.
- ¹⁸ То, что так называемое “абсолютистское государство” не было “правовым государством”, пожалуй, следует считать либеральной фальсификацией истории. Но, конечно, оно не было тем, что впоследствии создали либералы: оно не было “конституционным государством”, контролировавшим себя согласно высшему, но позитивному праву.
- ¹⁹ Обзор немецкой литературы по теме см. в: Bleeck/Garber a. a. O. (1982)
- ²⁰ См. Donati a. a. O. (1988).
- ²¹ [“цивилизованность, воспитанность” (итал.) — прим. ред.] Разумеется, подобные влияния существовали и прежде: например, таким образом вся германская аристократия утвердилась на обломках титулатуры Римской империи. О положении права в Средние века, когда право на нобилитацию сопрягалось с правом на законодательство и

- поэтому, несмотря на значительные расширения, было ограниченным, см. Bartolus, De dignitatibus a. a. O. ad 77 и 78.
- ²² Даже при дворе! Diomede Carafa, Dello Optimo Cortesano, цит. по изд. Salerno 1971, p. 122 f., например, делает вывод, что требовалось верой и правдой служить господину, выполнять его указания и не перечить ему – за исключением дел, затрагивающих честь.
- ²³ “La condizione della Nobilita stà sui confini del Principato” – сказано у Spontone, a. a. O. S. 274, да и практика политических нобилитаций едва ли оставляла другой выбор.
- ²⁴ Их обзор дает, например, Pietro Andrea Canonhiero, Dell’ introduzione alla Politica, alla Ration di Stato et alla Pratica del buon Governo, Anversa 1614, p. 385 ff.: испанцы придавали значение чистой крови (из-за распространенности смешения с мавританской кровью), французы – военной службе, немцы – знатному происхождению. Юридические и брачно-политические последствия были значительными. Более древнее сравнение, еще полностью основанное на региональных обычаях см. у Poggio Bracciolini a. a. O. (1532), pp. 67-72.
- ²⁵ См., например, Estienne Pasquier, Les Recherches de la France, Paris 1665, p. 120 f.
- ²⁶ См. трактат, принадлежащий перу ответственного за это чиновника: (Alexandre) Belleguise, Traité de noblesse et de son origine, Paris 1700. К примеру: для возвращения себе знатного титула после деятельности, способствовавшей разжалованию (например, продажи урожая от собственного имени), требуются *lettres de réhabilitation*, так как в противном случае дворянство утрачивалось на неделю, а затем его можно было вернуть.
- ²⁷ Укореняется различие *родовая знать/служилая знать*; время от времени это даже давало повод соответствующему расширению учения о сословиях. Дю Аиан, например, говорит о четырех сословиях: Eglise, Noblesse, Justice, или Robe, и Peuple. См. Bernard de Girard, Seigneur Du Haillan, De l’Etat et succes des affaires de France (1570), цит. по изд. Lyon 1596, p. 294. Юридическими последствиями были, например, такие, что от жалованного дворянства отказаться было можно, но отказ от родового дворянства (например, переход в купеческий мир) не допускался; и что бесчестье отца лишает потомство соответствующих должностей, но не ранга, получаемого при рождении. Так, например, в Pompeo Rocchi, Il Gentiluomo, Lucca 1568, fol. 2.
- ²⁸ См. Charles Loyseau, Traicté des ordres et simples dignitez, 2e éd., Paris 1613, p. 92. Donati a. a. O. (1988), p. 182 f. Здесь указывается на то, что эти возможности гарантированного подтверждения знатности впоследствии стали использоваться и как средство гарантии *будущего* для соответствующих семей – конечно, не в последнюю очередь, потому,

- что в них указывалась (правда, фиксированная) стоимость богатства.
- ²⁹ В литературе о государственном интересе это вполне расхожее мнение. Относительно позиции юристов см., например, Pierre Ayrault, Ordre, formalité et instruction judiciaire (1576), цит. по 2 изд. Paris 1598, p. 111.
- ³⁰ [“нет монарха – нет знати; нет знати – нет монарха. Но деспот есть”. (франц.) – прим. пер.] Montesquieu, De l’esprit des lois II, IV, цит. по изданию Classiques Garnier, Paris 1949, t. I, p. 20.
- ³¹ См. (типичный для XVII в.) пример: Jacques Le Brun, Das Geständnis in den Nonnenbiographien des 17. Jahrhunderts, in: Alois Hahn/Volker Kapp (Hrsg.), Selbstthematization: Bekenntnis und Geständnis, Frankfurt 1987, S. 248-264.
- ³² См. Karl Polanyi et al. (Hrsg.), Trade and Market in the Early Empires: Economies in History and Theory, New York 1957.
- ³³ Подробно об этом John Gledhill/Mogens Larsen, The Polanyi Paradigm and a Dynamic Analysis of Archaic States, in: Colin Renfrew et al. (ed.), Theory and Explanation in Archaeology: The Southampton Conference, New York 1982, pp. 197-229. Однако см. также Johannes Renger, Subsistenzproduktion und redistributive Palastwirtschaft: Wo bleibt die Nische für das Geld? Grenzen und Möglichkeiten für die Verwendung von Geld im alten Mesopotamien, in: Waltraud Schelkle/Manfred Nitsch (Hrsg.), Rätsel Geld: Annäherung aus ökonomischer, soziologischer und historischer Sicht, Marburg 1995, S. 271-324.
- ³⁴ Часто дискутируется. Об особых условиях в Англии, где и аристократия могла делать прибыльные инвестиции, см. Lawrence Stone, The Crisis of the Aristocracy 1558-1641, 2 ed., Oxford 1966, особ. p. 42 ff., p. 547 ff. В других странах право для аристократии заниматься хозяйственной деятельностью (вместо занятия гражданскими войнами) оказалось напрасным требованием. Впечатляющий пример: быстро забытая публикация Emeric Crucé, Le nouveau Cynée, ou discours d’estat (1623), цит. по изданию Philadelphia 1909. В Италии в отдельных территориальных государствах мы находим весьма различные решения этой проблемы и очень часто – тесную связь между аристократией и дальней торговлей после того, как проживающая в сельской местности аристократия была лишена могущества. В качестве краткого обзора новейшей литературы о так называемом “кризисе” европейской аристократии см., например, François Billacois, La crise de la noblesse européenne 1560-1640, Revue d’histoire moderne et contemporaine 23 (1976), pp. 258-277; далее – Ellery Schalk, From Valor to Pedigree, Ideas of Nobility in France in the Sixteenth and Seventeenth Centuries, Princeton 1986.
- ³⁵ Об этом см. Jean-Christophe Agnew, Worlds Apart: The Market and the Theater in Anglo-American Thought, 1550-1750, Cambridge Engl. 1986, особ. p. 57 ff.

- ³⁶ "That the usurer is the greatest Sabbath breaker, because his plough goeth every Sunday" – пишет Бэкон в трактате "О ростовщичестве" [Of Usury] – цитируется по изданию Essays, London 1895, p. 105.
- ³⁷ См. Edward Misselden, Free Trade. Or, The Meanes to Make Trade Florish, London 1622, новое изд. Amsterdam 1970, p. 9 f., с различием между "Permission Money, Banck Money and Currant Money". Однако объяснительный интерес здесь лежит, скорее, в сфере допущенных в Англии ошибок, т. е., скорее, в вопросах хозяйственной политики. При этом лишь мимоходом (а. а. О. p. 117 f.) всплывает предложение ввести и в Англии письменные долговые обязательства для торговли.
- ³⁸ См. Edward Misselden, Free Trade a. а. О. (1622); его же, The Circle of Commerce. Or The Balance of Trade, in Defence of free Trade, London 1623, новое изд. Amsterdam 1969; но также Gerard Malynes, The Center of the Circle of Commerce: or, A Refutation of a Treatise Intitulated The Circle of Commerce, London 1623. В дискуссии речь идет о вопросе, образует ли *balance of trade* или мотив прибыли (*gaine*) центр *Circle of Commerce*.
- ³⁹ "торговое общество" (англ.) – прим. пер.
- ³⁹ Об экономической теории XVII в., которая уже отчасти (хотя и противоречиво) заимствует это, см. Joyce O. Appleby, Economic Thought and Ideology in Seventeenth Century England, Princeton 1978.
- ⁴⁰ Не надо упускать из виду, что даже сегодня имеются довольно успешно работающие исключения, прежде всего, в Италии.
- ⁴¹ Об этом см. Niklas Luhmann, Zum Begriff der sozialen Klasse, in: ders. (Hrsg.), Soziale Differenzierung: Zur Geschichte einer Idee, Opladen 1985, S. 119-162.
- ⁴² "For now a days most men live above their callings, and promiscuously step forth *Vice Versa*, into one anothers Rankes" – жалуется Мисселден а. а. О. 1622, S. 12: "The *Country mans* Eie is upon the *Citizen*: the *Citizen* upon the *Gentleman*: the *Gentleman* upon the *Nobleman*". И при этом ресурсы расточительно расходуются с тем последствием, что хорошие деньги утекают за границу и становятся скудными в Англии.
- ⁴³ "клевета" (англ.) – прим. пер.
- ⁴³ Об этом см. Neil J. Smelser, Social Change in the Industrial Revolution: An Application of Theory to the Lancashire Cotton Industry 1770-1840, London 1959.
- ⁴⁴ См. ссылки в: Reinhart Koselleck, Preussen zwischen Reform und Revolution: Allgemeines Landrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791-1848, 2. Aufl. Stuttgart 1975, S. 79.
- ⁴⁵ См. только, особенно для Англии, Lawrence Stone, The Family, Sex and Marriage in England 1500-1800, London 1977, с одной стороны, а также Alan Macfarlane, The Culture of Capitalism, Oxford 1987, p. 123 ff. (с

- обзором литературы), с другой.
- ⁴⁶ Об этом Niklas Luhmann, Liebe als Passion: Zur Codierung von Intimität, Frankfurt 1982.
- ⁴⁷ Таковы результаты работы Katherine and Charles H. George, Roman Catholic Sainthood and Social Status: A Statistical and Analytical Study, Journal of Religion 35 (1955) – pp. 85-98 – к сожалению, не объясняя, возрастает или убывает в связи с этим, со своей стороны, переменная под названием "святость". Дальнейшую проверку данных с аналогичным результатом мы обнаруживаем в: Pierre Deloos, Sociologie et canonisations, Den Haag 1969, p. 413 ff.
- ⁴⁸ грамматика, риторика и философия, образовывавшие фундамент школьного образования в Средние века – прим. пер.
- ⁴⁹ "безопасность", "надежность", "непреложность" (лат.) – прим. пер.
- ⁴⁸ Об этом Emil Winkler, Sécurité, Berlin 1939.
- ⁴⁹ ["все, чего он желает – сохранять голову здоровой, как прежде" (англ.) – прим. пер.] Anthony, Earl of Shaftesbury, Soliloquy, цит. по: Characteristicks of Men, Manners, Opinions, 2nd Ed., о. О. 1714; новое издание Farnborough Hants UK 1968, p. 290.
- ⁵⁰ Отсюда интерес Шефтсбери к беседам с самим собой (*soliloquy*), которые, однако, смогли получить известность лишь благодаря их публикации.
- ⁵¹ Об этом Iain Pears, The Discovery of Painting: The Growth of Interest in the Arts in England, 1680-1768, New Haven 1988.
- ⁵² Из литературы описываемой эпохи см., например, Jonathan Richardson, A Discourse on the Dignity, Certainty, Pleasure and Advantage of the Science of a Connoisseur (1719), цит. по The Works, London 1773, новое изд. Hildesheim 1969, S. 241-346; а также об этом критически, с точки зрения художника, оспаривающего компетенцию сугубых критиков: William Hogarth, The Analysis of Beauty, written with a view of fixing the fluctuating Idea of Taste, London 1753, цит. по изд. Oxford 1955.
- ⁵³ Соответственно: "благопристойность" (франц.); "вкус" (франц., англ.) – прим. пер.
- ⁵³ См. Diedrich Saalfeld, Die ständische Gliederung der Gesellschaft Deutschlands im Zeitalter des Absolutismus: Ein Quantifizierungsversuch, Vierteljahresschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 67 (1980), S. 457-483.
- ⁵⁴ Широко распространенный взгляд сегодня. См. обзор: William Doyle, Origins of the French Revolution, Oxford 1980.
- ⁵⁵ См., например, Hubert Rottleuthner, Abschied von der Justizforschung: Für eine Rechtssoziologie "mit mehr Recht", Zeitschrift für Rechtssoziologie 3 (1982), S. 82-119; его же (Hrsg.), Rechtssoziologische Studien zur Arbeitsgerichtbarkeit, Baden-Baden 1984.

- ⁵⁶ К последствиям сохранившегося самоописания в терминах “чести” мы еще раз вернемся в кн. 5 (*Самоописание*).
- ⁵⁷ В добавление к Деррида, о нем говорит Peter Goodrich, *Languages of Law: From Logics of Memory to Nomadic Masks*, London 1990, p. 125 ff. Многочисленные наглядные свидетельства: см. Joan Evans, *Pattern: A Study of Ornament in Western Europe From 1180 to 1900*, Oxford 1931, новое изд. New York 1975, vol. I, p. 82 ff.
- * гиперкоррекцией в лингвистике называются ошибки, обусловленные ориентацией на правила, когда эти правила перестают действовать, – прим. пер.
- ⁵⁸ См. Philippe Van Parijs, *Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An Emerging Paradigm*, London 1981, p. 138 ff.
- ⁵⁹ Об этом подробно Arlette Jouanna a. a. O. (1981). См. также Ellery Schalk a. a. O. (1986), S. 115 ff.
- ⁶⁰ Об этом см., с точки зрения реакции на кризис аристократии во вторую половину XVI в., Schalk a. a. O. S. 65 ff., 174 ff. Это не исключает и подчеркивания отчетливой близости к государству вновь созданных воспитательных учреждений, см. Rudolf Stichweh, *Der frühmoderne Staat und die europäische Universität*, Frankfurt 1991. Теперь аристократия и государство стремятся к новому симбиозу. Но в то же время аристократия делает отчетливый акцент на том, что ее шансы не связаны с окончанием учебных заведений, и поэтому охотно и демонстративно отказывается от сертификатов и экзаменов. В качестве примера, подчеркивающего необходимость усилий, направленных на воспитание аристократии, со значительным скепсисом в отношении университетского воспитания см. François de La Noue, *Discours politiques et militaires*, Basel 1587, цит. по изданию Genève, 1967, p. 133 f.
- ⁶¹ Donati a. a. O. (1988), особ. p. 56 и 93, говорит о “chiusura” “aristocratizzazione culturale e sociale”.
- ⁶² Стандартное понятие литературы о куртуазности и искусстве ведения беседы. См. Daniel Mornet, *Histoire générale de la littérature française classique 1660-1700: ses caractères véritables, ses aspects inconnus*, Paris 1940, p. 97 ff.; Klaus Breiding, *Untersuchungen zum Typus des Pedanten in der französischen Literatur des 17. Jahrhunderts*, Diss. Frankfurt 1970. Помимо отвержения типа педанта, существуют тонкие и специфическим образом основанные на науке анализы. У Жака де Кайера, к примеру, речь идет о том, что научное знание делает человека негодным для жизни при дворе, так как оно всегда существует в форме цепи, обязывает к чрезмерно продолжительному изложению и отвлекает внимание от партнеров по интеракции. См. *La fortune des gens de qualité et des gentilhommes particuliers* (1658), цит. по изданию Paris 1662,

- p. 212 ff. О критике отказа аристократии от образования см., например, François Loryot, *Fleurs de Secretz moraux*, Paris 1614, S. 566 ff.
- ⁶³ О влиянии этого на моральные учения XVII в. см. Louis van Delft, *Le moraliste classique: Essai de définition et de typologie*, Genève 1982.
- ⁶⁴ Считалось, что иначе невозможно обосновать имманентное (этико-политическое) единство богатства и добродетели. См., например, Francesco de Vieri, *Il primo libro della nobilita*, Fiorenza 1574, p. 60 f. Всякая другая версия обосновывала понятие добродетели – в связи с функциональными модусами экономики – чисто хозяйственной деятельностью. Значит, на то были веские причины!
- ⁶⁵ Так в: Francis Markham, *The Booke of Honour. Or, Five Decads of Epistles of Honour*, London 1625, p. 1 f.
- ⁶⁶ Мы вернемся к этому в части о самоописании общества.
- * “любезный человек” (франц.) – прим. пер.
- ⁶⁷ Так в: Charles Duclos, *Considérations sur les Mœurs de ce Siècle* (1751), цит. по изд. Lausanne 1971, p. 239 ff.
- ⁶⁸ “Кредит” даже в XVIII веке еще сохраняет старое, иерархически-политическое значение, например, “l’usage de la puissance d’autrui” (Duclos a. a. O. p. 269), и об этом же прим. 1: “Le crédit en commerce et en finance ne présente pas une autre idée; c’est l’usage des fonds d’autrui”. Для контекста политической экономии (в частности, по отношению к государственным кредитам) см. также David Hume, *Of Public Credit* (1752), in: *Writings of Economics* (ed. Eugene Rotwein), Madison 1970, pp. 90-107. Фоновым смыслом при этом все-таки остается публичное доверие (в смысле “creditor”).
- * “честность/полезность” – прим. пер.
- ⁶⁹ Богатый материал см. в Johanna Schultze, *Die Auseinandersetzung zwischen Adel und Bürgertum in den deutschen Zeitschriften der letzten drei Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts* (1773-1806), Berlin 1975; первое изд. Vaduz 1965.
- ⁷⁰ См. другую точку зрения в Reinhart Koselleck, *Preußen zwischen Reform und Revolution: Allgemeines Landsrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848*, 2. Aufl., Stuttgart 1975, insb. S. 52 ff. См. также Hermann Conrad, *Die geistigen Grundlagen des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten von 1794*, Köln 1958.
- ⁷¹ Об этом см. подробно Anna Maria Battista, *Morale “privée” et utilitarisme politique en France au XVII siècle*, in: Roman Schnur (Hrsg.), *Staatsräson: Studien zur Geschichte eines politischen Begriffs*, Berlin 1975, S. 87-119.
- ⁷² [“...нет такой Церкви, каждая часть которой так взывала бы к моему Сознанию, чьи Уставы, Уложения и Обычаи казались бы столь созвучными разуму и были бы столь как бы соразмерными моему личному Благочестию, как та, в которую я вкладываю свою Веру, как

- ⁵⁶ К последствиям сохранившегося самоописания в терминах “чести” мы еще раз вернемся в кн. 5 (*Самоописание*).
- ⁵⁷ В добавление к Деррида, о нем говорит Peter Goodrich, *Languages of Law: From Logics of Memory to Nomadic Masks*, London 1990, p. 125 ff. Многочисленные наглядные свидетельства: см. Joan Evans, *Pattern: A Study of Ornament in Western Europe From 1180 to 1900*, Oxford 1931, новое изд. New York 1975, vol. I, p. 82 ff.
- * гиперкоррекцией в лингвистике называются ошибки, обусловленные ориентацией на правила, когда эти правила перестают действовать, — прим. пер.
- ⁵⁸ См. Philippe Van Parijs, *Evolutionary Explanation in the Social Sciences: An Emerging Paradigm*, London 1981, p. 138 ff.
- ⁵⁹ Об этом подробно Arlette Jouanna a. a. O. (1981). См. также Ellegy Schalk a. a. O. (1986), S. 115 ff.
- ⁶⁰ Об этом см., с точки зрения реакции на кризис аристократии во вторую половину XVI в., Schalk a. a. O. S. 65 ff., 174 ff. Это не исключает и подчеркивания отчетливой близости к государству вновь созданных воспитательных учреждений, см. Rudolf Stichweh, *Der frühmoderne Staat und die europäische Universität*, Frankfurt 1991. Теперь аристократия и государство стремятся к новому симбиозу. Но в то же время аристократия делает отчетливый акцент на том, что ее шансы не связаны с окончанием учебных заведений, и поэтому охотно и демонстративно отказывается от сертификатов и экзаменов. В качестве примера, подчеркивающего необходимость усилий, направленных на воспитание аристократии, со значительным скепсисом в отношении университетского воспитания см. François de La Noue, *Discours politiques et militaires*, Basel 1587, цит. по изданию Génève, 1967, p. 133 f.
- ⁶¹ Donati a. a. O. (1988), особ. p. 56 и 93, говорит о “chiusura” “aristocratizzazione culturale e sociale”.
- ⁶² Стандартное понятие литературы о куртуазности и искусстве ведения беседы. См. Daniel Mornet, *Histoire générale de la littérature française classique 1660-1700: ses caractères véritables, ses aspects inconnus*, Paris 1940, p. 97 ff.; Klaus Breiding, *Untersuchungen zum Typus des Pedanten in der französischen Literatur des 17. Jahrhunderts*, Diss. Frankfurt 1970. Помимо отвержения типа педанта, существуют тонкие и специфическим образом основанные на науке анализы. У Жака де Кайера, к примеру, речь идет о том, что научное знание делает человека негодным для жизни при дворе, так как оно всегда существует в форме цепи, обязывает к чрезмерно продолжительному изложению и отвлекает внимание от партнеров по интеракции. См. *La fortune des gens de qualité et des gentilhommes particuliers* (1658), цит. по изданию Paris 1662,

- p. 212 ff. О критике отказа аристократии от образования см., например, François Loryot, *Fleurs de Secretz moraux*, Paris 1614, S. 566 ff.
- ⁶³ О влиянии этого на моральные учения XVII в. см. Louis van Delft, *Le moraliste classique: Essai de définition et de typologie*, Génève 1982.
- ⁶⁴ Считалось, что иначе невозможно обосновать *имманентное* (этико-политическое) единство богатства и добродетели. См., например, Francesco de Vieri, *Il primo libro della nobilita*, Fiorenza 1574, p. 60 f. Всякая другая версия обосновывала понятие *добродетели* — в связи с функциональными модусами экономики — чисто хозяйственной дельностью. Значит, на то были веские причины!
- ⁶⁵ Так в: Francis Markham, *The Booke of Honour. Or, Five Decads of Epistles of Honour*, London 1625, p. 1 f.
- ⁶⁶ Мы вернемся к этому в части о самоописании общества.
- * “любезный человек” (франц.) — прим. пер.
- ⁶⁷ Так в: Charles Duclos, *Considérations sur les Mœurs de ce Siècle* (1751), цит. по изд. Lausanne 1971, p. 239 ff.
- ⁶⁸ “Кредит” даже в XVIII веке еще сохраняет старое, иерархически-политическое значение, например, “l’usage de la puissance d’autrui” (Duclos a. a. O. p. 269), и об этом же прим. 1: “Le crédit en commerce et en finance ne présente pas une autre idée; c’est l’usage des fonds d’autrui”. Для контекста политической экономии (в частности, по отношению к государственным кредитам) см. также David Hume, *Of Public Credit* (1752), in: *Writings of Economics* (ed. Eugene Rotwein), Madison 1970, pp. 90-107. Фоновым смыслом при этом все-таки остается публичное доверие (в смысле “creditur”).
- * “честность/полезность” — прим. пер.
- ⁶⁹ Богатый материал см. в Johanna Schultze, *Die Auseinandersetzung zwischen Adel und Bürgertum in den deutschen Zeitschriften der letzten drei Jahrzehnte des 18. Jahrhunderts* (1773-1806), Berlin 1975; первое изд. Vaduz 1965.
- ⁷⁰ См. другую точку зрения в Reinhart Koselleck, *Preußen zwischen Reform und Revolution: Allgemeines Landsrecht, Verwaltung und soziale Bewegung von 1791 bis 1848*, 2. Aufl., Stuttgart 1975, insb. S. 52 ff. См. также Hermann Conrad, *Die geistigen Grundlagen des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten von 1794*, Köln 1958.
- ⁷¹ Об этом см. подробно Anna Maria Battista, *Morale “privée” et utilitarisme politique en France au XVII siècle*, in: Roman Schnur (Hrsg.), *Staatsräson: Studien zur Geschichte eines politischen Begriffs*, Berlin 1975, S. 87-119.
- ⁷² [“...нет такой Церкви, каждая часть которой так зывала бы к моему Сознанию, чьи Уставы, Уложения и Обычаи казались бы столь созвучными разуму и были бы столь как бы соразмерными моему личному Благочестию, как та, в которую я вкладываю свою Веру, как

Церковь Англии; я клянусь верить в ее Веру, и потому имею двойное Обязательство подписываться под ее Уставами и соблюдать ее Уложения. Все, что помимо этого – безразличные для меня вопросы – я соблюдаю согласно правилам моего частного разума или же настрою и характера моего Благочестия; не веруя в то-то, потому что это утверждал Лютер, и не осуждая того-то, потому что это разоблачал Кальвин.” (англ.) – прим. пер.] Sir Thomas Browne, Religio Medici (1643), цит. по изд. Everyman’s Library, London 1965, p. 6.

⁷³ См. наблюдения Генри Адамса в Лондоне между 1860 и 1870 гг. и, в связи с этим, гипотезу о том, что эволюционная теория является ведущей семантикой. См. The Education of Henry Adams: An Autobiography, Boston 1918, p. 194 ff., 284 ff.

⁷⁴ “Интеграция” здесь, как и повсюду, понимается как взаимное ограничение степеней свободы в системах – а не как, например, консенсус.

⁷⁵ [“избыточность потенциальной команды” (англ.) – прим. пер.] См. The Meaning of Cybernetics in the Behavioural Sciences (The Cybernetics of Behaviour and Cognition: Extending the Meaning of “Goal”), in: John Rose (ed.), Progress in Cybernetics, London 1970, pp. 15-44 (32). Почти в том же смысле можно сформулировать и: “redundancy of potential demand” [“избыточность потенциального спроса” (англ.) – прим. пер.].

⁷⁶ Специально для Германии и для явственной в ней локальной замкнутости, как и для космополитического патриотизма см. работу: Peter Fuchs, Vaterland, Patriotismus und Moral – Zur Semantik gesellschaftlicher Einheit, Zeitschrift für Soziologie 20 (1991), pp. 89-103; и далее также: Bernhard Giesen/Kay Junge, Vom Patriotismus zum Nationalismus: Zur Evolution der “Deutschen Kulturnation”, in: Studien zur Entwicklung des kollektiven Bewußtseins in der Neuzeit, Frankfurt 1991, S. 255-303.

VIII. ФУНКЦИОНАЛЬНО ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЕ ОБЩЕСТВО

Мы определяем понятие “современное общество” через форму его дифференциации и тем самым отделяем это понятие от описаний, которые до сих пор предлагались в современном обществе для постижения его своеобразных особенностей. Разбор этих самоописаний мы переносим в следующую книгу. Пока же следует лишь констатировать, что мы понимаем современное общество как функционально дифференцированное, ниже следующие же соображения о функциональной дифференциации должны наполнить это понятие содержанием.

Всегда имеются связи между отдифференциацией и внутренней дифференциацией некоей системы, так как внутренняя дифференциация выбирает формы, для которых в окружающем мире нет соответствия. Функциональная дифференциация является наиболее радикальной формой, где действует это правило, поскольку в окружающем мире, конечно же, нет единств, настроенных на функции системы. Когда общество переходит от стратификации к функциональной дифференциации, ему приходится отказываться и от демографических коррелятов образца своей внутренней дифференциации. И тогда оно уже не может распределять по своим частным системам участвующих в коммуникации людей, как было еще возможно при стратификационной схеме или при дифференциациях *центр/периферия*. Людей невозможно распределить по функциональным системам так, чтобы каждый из них принадлежал только к одной системе, т. е. участвовал бы только в праве, но не в экономике, только в политике, но не в воспитательной системе. В конечном итоге, это приводит к тому, что уже невозможно утверждать, что общество состоит из людей; ведь люди, очевидно, больше не могут найти приют ни в одной частной системе общества, т. е. нигде в обществе.¹ И как раз поэтому параллельная семантика подчеркивает (естественную!) самостоятельность

индивида как носителя прав и как исходный пункт самореференциального, рационального расчета. Следствие здесь состоит в том, что люди затем должны восприниматься как внешний мир общественной системы (как мы делали с самого начала), и что тем самым разрываются последние узы, которые, казалось, гарантировали *matching** системы и внешнего мира.²

Функциональная дифференциация зиждется на оперативной замкнутости функциональных систем под влиянием самореференции. Отсюда следует, что функциональные системы сами себя перемещают в положение *самопорожденной неопределенности*.³ Это может выражаться в форме таких системно-специфических медиа, как деньги или власть, которые могут так или иначе принимать различные формы. Проявляется это и в виде зависимости настоящего от еще неизвестного будущего. Потому-то сложность системы всегда имеет две стороны: уже определенную и пока неопределенную. В результате операции системы наделяются функцией определения пока неопределенного и в то же время – регенерирования неопределенности.

Посредством перехода к функциональной дифференциации общество отказывается от того, чтобы навязывать частным системам общую схему дифференциации. Если в случае стратификации каждая частная система должна была определять саму себя через ранговое различие по отношению к другой и только так достигать собственной идентичности, то в случае с функциональной дифференциацией каждая функциональная система сама определяет собственную идентичность – и происходит это, как мы увидим, сплошь и рядом с помощью изоэрированной семантики самоосмысления, рефлексии, автономии. В остальном общество рассматривается только как окружающий мир функциональной системы, а не как нечто специфически ниже- или вышестоящее. Однако же это не значит, что уменьшаются зависимости частных систем друг от друга. Наоборот, они возрастают. Но они принимают форму различия между системой и окружающим миром, больше не допускают специфической нормировки, не позволяют легитимировать себя в качестве условия порядка для всего общества, но теперь состоят в общей и

сильно дифференцированной зависимости от постоянно меняющихся внутриобщественных условий окружающего мира.

Функциональная дифференциация сообщает о том, что *единство*, при котором обособляется различие между системой и окружающим миром, представляет собой *функцию*, которую исполняет обособившаяся система (а значит: не ее окружающий мир) для общей системы. Сложность этого системно-теоретического определения одновременно подчеркивает невероятность, заключенную в самом явлении, и – при должном внимании к нему – избавляет нас от ненужных контрверз. Функция состоит в соотношении с какой-то проблемой общества, а не в аутореференции и не в самосохранении функциональной системы. Хотя функция приводит к обособлению в обществе особого соотношения *система/окружающий мир*, она работает только в функциональной системе, а не в ее окружающем мире. Это также означает, что функциональная система монополизировала свою функцию для себя и рассчитывает на такой окружающий мир, какой является в этом отношении неподведомственным или некомпетентным. Иными словами, посредством функциональной дифференциации подчеркивается различие между разными ключевыми проблемами; но это различие выглядит по-разному с точки зрения отдельных функциональных систем, в зависимости от того, на каком различии между функциональной системой и внутриобщественным окружающим миром оно основано. Для науки *ее* окружающий мир является научно некомпетентным, но ведь нельзя сказать, что он некомпетентен политически, экономически и т. д. В связи с этим каждой функциональной системе приходится иметь дело с иначе сформированным внутриобщественным окружающим миром, и как раз потому, что всякая функциональная система обособляется для в каждом случае особой функции.

Будучи формой общественной дифференциации, функциональная дифференциация тем самым подчеркивает неравенство функциональных систем. Но в этом неравенстве они равны. Это значит: общая система отвергает всякие образцы упорядоченности (например, ранговой) отношений между функциональ-

ными системами. Метафора “равновесия” здесь столь же неприменима и лишь скрывает то, что общество больше не может регулировать отношения между своими частными системами, но должно уступить такую регуляцию эволюции, т. е. истории. Очевидно, это имеет последствия для понимания времени и истории и, прежде всего, для драматизации отношений между прошлым и будущим.

Прежняя социологическая теория определяла функции как предпосылки для существования общественной системы.⁴ Что под этим имелось в виду, оставалось неясным. Определение не изменилось бы решающим образом, если понятие “существование” заменить понятием “аутопойезис”. Функции могут определяться только по отношению к структурно-детерминированной системе, а структуры общественной системы являются исторически переменными в рамках того, что позволяет аутопойезис системы. Это исключает и теоретическую дедукцию каталога функций из таких понятий, как *действие* (Парсонс), *социальная система* или *общество*. Можно мыслить лишь индуктивно и посредством своеобразного мысленного эксперимента испытать, как общественная система должна изменять свои структуры ради поддержания собственного аутопойезиса, если определенные функции больше не выполняются — например, гарантии на будущее в виду наличия дефицитных товаров, или правовое обеспечение ожиданий, или принятие коллективно обязывающих решений, или воспитание, выходящее за рамки спонтанной социализации. Поэтому мы будем говорить не о предпосылках существования, но о ключевых проблемах, которые так или иначе должны решаться, если общество обязано сохранять определенный уровень эволюции, а также быть в состоянии выполнять и другие функции.

Отдифференциация каждой конкретной частной системы для каждой конкретной функции означает, что эта функция обладает приоритетом для этой (и только для этой) системы и является вышестоящей по отношению ко всем остальным функциям. Только в этом смысле можно говорить о функциональном примате. Так, например, для политической системы политический

успех (как всегда, операционализированный) важнее, чем все остальное, а успешная экономика здесь важна лишь как условие политических успехов. Это в то же время означает: на уровне охватывающей системы общества не может быть учреждена никакая общезначимая, обязательная для всех частных систем ранговая упорядоченность функций. Отсутствие ранговой упорядоченности означает также отсутствие стратификации. Скорее, каждая функциональная система получает задание переоценивать себя по отношению к другим системам, при этом, однако, отказываясь от охватывающей все общество обязательности самооценки.

На основе собственного функционального примата функциональные системы достигают оперативной замкнутости и тем самым образуют аутопойетические системы в аутопойетической системе общества. Поначалу кажется, что это противоречит понятию аутопойезиса, ведь, само собой разумеется, это не означает, что функциональные системы не ведут коммуникацию между собой, что они посредством языка и многого другого не привязаны к обществу. Однако несмотря на это рекурсивная замкнутость и воспроизводство собственных операций через сеть собственных операций достигается посредством того, что функция превращается в неизменную исходную точку аутореференции, а система использует двоичный код, который используется в этой и ни в какой иной системе. При таких условиях возможно различить принадлежащие к системе операции с практически достаточной однозначностью и тем самым отграничить собственный аутопойезис по направлению вовне. В том, что касается коммуникации, тоже могут возникнуть сомнения — например, носит ли коммуникация политический характер, стремится ли разрешить правовой вопрос или же подготовить хозяйственную сделку. Но в нормальном случае собственная сеть системы бывает достаточной для прояснения таких вопросов. Происходит либо рекурсивное возвращение к более ранним коммуникациям, либо обращение к подсоединяющимся коммуникациям.

Одной лишь функциональной ориентации для этого недо-

статочно. Если функциональные системы благодаря своей функции локализируются в обществе и посредством описания этой функции к обществу отсылают, то им требуется еще одно средство, некий двоичный код⁵, чтобы сформировать собственный аутопойезис. Оба понятия – *функция* и *кодирование* – обозначают схему контингенции, но весьма несходным образом. Если функция способствует сравнению с функциональными эквивалентами, то кодирование управляет колебанием между позитивным и негативным значениями, т. е. контингенцией оценок, на которые система ориентирует собственные операции. Если посредством функциональной ориентации система защищает превосходство собственного выбора, (надежда в будущем на деньги, а не на веру в Бога; получение образования в школах, а не посредством социализации), то в негативном значении кода этой системы отражается скудость критериев всех ее операций. Итак, для спецификации функции должно добавляться такое кодирование, функция которого состоит как раз в том, чтобы обеспечивать продолжение аутопойезиса и препятствовать тому, чтобы по достижении цели (конца, телоса) система стопорилась, а затем переставала работать. Функциональные системы никогда не бывают телеологическими. Они основывают любую операцию на различии между двумя значениями – как раз на двоичном коде – и тем самым гарантируют, что всегда возможна такая подсоединяющаяся коммуникация, которая может вызвать переход к противоположному значению. Что постулируется как право, может в дальнейшей коммуникации служить новой постановке вопроса о праве или его отсутствии, например, требовать изменения в праве. Что казалось истинным, может при новых данных или теориях нуждаться в пересмотре. Что казалось полезным для политической оппозиции, может, делаясь слишком прозрачным, уже поэтому становиться аргументом для правительства. Ориентация не на собственное единство, но только на собственное различие гарантирует, что с течением времени одни собственные операции смогут подключаться к другим. А сущность этого процесса – в том, что операции должны проводиться *в виде селекции*.

Двоичные коды являются в строгом смысле формами, т. е. двухсторонними формами, которые обеспечивают переход от одной стороны к другой, от значения к противоположному значению и обратно благодаря тому, что в качестве форм они отличаются от других форм. Это не *point attractors*, а *cyclical attractors*^{*}. Они устанавливают между позитивным и негативным значениями симметричное, циклическое отношение, которое символизирует единство системы и в то же время открывает ее для прерывания цикла.⁶ Это способствует тому, что система становится способной расти, прерывая свою цикличность, и в реакциях на события вводит все новые кондиционирования, с помощью которых можно решать, следует ли обозначать нечто как позитивное или как негативное.

Однако коды – не отображения некоей действительности значений, но просто правила дубликации. Они предоставляют негативный коррелят для всего, что предстает в области их применения (которую определяют они сами) в виде информации (которую образуют они сами). Так, например: истинный/неистинный; любимый/нелюбимый; иметь собственность/не иметь собственности; выдержать экзамены/не выдержать экзаменов; располагать служебной властью/быть подчиненным таковой власти и т. д. На основании этого все, что постигается в форме кода, предстает контингентным – т. е. как возможное и иначе. Тем самым на практике возникает потребность в правилах решения, устанавливающих, при каких условиях значение или противоположное ему значение распределяется правильно или неправильно. Такие правила мы называем *программами*. Теперь мы можем сказать, что различие между кодами и программами структурирует аутопойезис функциональных систем не допускающим путаницы образом, и возникающая отсюда семантика фундаментально отличается от традиционных телеологий, представлений о совершенстве, идеалов или ценностных отношений. Не в последнюю очередь, мы видим это по логической структуре. Ибо в каждом коде в то же время реализуется значение отказа по отношению ко всем остальным. Но это как раз не означает, что значение других значений оспаривается и что дело

с необходимостью доходит до ценностных конфликтов в духе Макса Вебера. Отвергается только другая форма, только другое различие; или, если процитировать Готтхарда Гюнтера, которому эти соображения многим обязаны: “The very choice is rejected”.⁷ Положения вещей этого типа невозможно охватить одной лишь двужначной логикой, — что осложняет их обзор. Требуются инструменты наблюдения с большим логическим структурным богатством. И только благодаря *этому* значительные части старо- и новоевропейской семантики выглядят устаревшими.

Это понятие *отказа* позволяет также прояснить отношение двоичного кода к морали (и тем самым — отношение функциональных систем к морали). Форма морали также должна иногда отбрасываться. И это, опять-таки, не означает, что в обществе речь уже не должна идти о морали, но означает лишь то, что коды функциональных систем должны фиксироваться на уровне более высокой аморальности.⁸ *Властвовать* не может быть более моральным, чем *находиться в оппозиции*. *Быть сторонником правильной теории* не может считаться лучшим в моральном отношении, чем *быть сторонником ложной теории*. И даже право должно ставить акцент на том, что констатация беззакония не ведет к моральной дисквалификации. Только когда это принято, мы видим точки внедрения морали и в двоично закодированных системах, прежде всего, там, где двоичное кодирование само преодолевается — например, при употреблении допинга в спорте, угрозам по отношению к судьям, фальсификации данных в эмпирических исследованиях. Кроме этого, мораль вторгается и неконтролируемыми путями. Соскальзывание в мораль политика, входящего в правительство, является удачей для оппозиции; а этические раздумья, хотя и не могут преобразовать истину в неистинность, затрудняют финансирование исследований.

При наличии своего кода функциональные системы осуществляют собственный аутопойезис, и лишь тогда происходит их отдифференциация.⁹ Как без труда может установить всякий наблюдатель, аутопойезис в каузальном смысле (ведь толь-

ко наблюдатель усматривает причинность!) зависим и независим от внешнего мира системы: зависим, если можно еще раз применить старую формулу кибернетики, в отношении энергии и независим в отношении информации. Аутопойезис состоит в воспроизводстве (= производстве из продуктов) элементарных операций системы, т. е., к примеру, платежей, правовых положений, коммуникации посредством учебных достижений, коллективно обязывающих решений и т. д. Отличительное качество таких элементарных операций, как и то, что их невозможно спутать с элементами других систем, основано на том, что они формируются в области контингенции некоего конкретного кода (а, например, не на том, что они обозначают позитивное значение этого кода). Они непрерывно продуцируются в соотношении с формой. Даже отсутствие права обуславливается правовой системой, а неистинность — системой науки, и этот код исключает лишь третьи возможности. Посредством всевозможных операций системы непрерывно репродуцируется бинарный код (стало быть, при исключении третьих значений), и благодаря этому с помощью всегда возможных новых собственных операций система выполняет собственную функцию.

Если и поскольку функциональная дифференциация оказывается реализована, то ни одна функциональная система не может принимать на себя функцию какой-либо другой системы. Функциональные системы представляют собой самозамещающиеся упорядоченности. При этом каждая система предполагает, что другие функции выполняются где-либо еще. Поэтому не существует и возможностей какого-то взаимного управления, ведь это до определенной степени подразумевало бы передачу функции. То, что Шиллер констатирует для отношений политики с искусством или наукой, прототипически годится для всех внутрисистемных связей: “Политический законодатель может отгородить эту область, но господствовать в ней он не в силах”.¹⁰ В отношениях функциональных систем друг к другу может присутствовать деструкция — в той мере, в какой они зависят друг от друга, — но не инструкция.

Впрочем, оперативная замкнутость функциональных систем

не исключает того, что определенные события одновременно в нескольких системах идентифицируются как операции, и тогда наблюдатель может рассматривать их как единство. Так, денежные платежи, как правило, служат выполнению долгового обязательства и в любом случае изменяют правовую ситуацию в отношении собственности.¹¹ Однако же события, которые происходят в нескольких системах одновременно, остаются связанными с рекурсивными сетями различных систем, идентифицируются с их помощью, и поэтому могут иметь совершенно различную предысторию и совершенно разное будущее – в зависимости от того, какая система выполняет операцию как единство. Откуда поступают деньги, и что получатель делает с ними в дальнейшем, совершенно не связано с правовой стороной транзакции. Только рекурсивность операционной связи отдельных систем определяет операцию в качестве системного элемента.

Как во всех аутопойетических системах, так и здесь операции вычерчивают границы системы. Когда операции происходят, они устанавливают, что принадлежит к системе, а тем самым – и что принадлежит к окружающему миру. Но так как это может произойти лишь в рекурсивной сети более ранних и возможных более поздних операций одной и той же системы, операции в то же время должны наблюдать за системой с позиции различия между системой и окружающим миром. Они сами себя утверждают – и происходит это чисто фактически, и лишь тогда, когда происходит, и лишь так, как происходит – но для наблюдения за таким установлением операции нуждаются в различении между самореференцией и инореференцией.

Поэтому даже мироописания всегда являются формулировками инореференции конкретных систем и, следовательно, зависят от того, как они распоряжаются самореференцией. Мирописание научной системы, к примеру, использует схему (понятийно обозначаемых) элементов и отношений между этими элементами¹², например, в социологии – действий и статистически подготовленных отношений. Что может быть постигнутым в этой схеме, считается в науке реальностью (сколь бы ни

противоречила этому “другая сторона”), так как сам мир остается невидимым и не могущим защититься. Мы еще увидим, что как раз поэтому должны примириться с множеством одинаково приемлемых мироописаний.

Различение между самореференцией и инореференцией располагается в “ортогональной проекции” к двоичному коду. Это означает: обе референции могут оснащаться *обоими* значениями кода. Или – иначе говоря: не существует особой связи между позитивным кодовым значением и инореференцией. *Единство* различения между самореференцией и инореференцией можно помыслить только в “воображаемом пространстве”¹³, т. е. в системе, использующей это различие, такое единство не способно быть оперативным. Но несмотря на это оно может функционировать в качестве одной из сторон дальнейшего различения, а именно – как компонент различения между референцией и кодом.

Эта идея требует глубинных перестроек в традиционной семантике и оказывает широко разветвленное воздействие на самоописание функциональных систем, а тем самым – современного общества. Истину, к примеру, не следует понимать как критерий упорядоченности инореференций познания (*adaequatio*, теория соответствия), но она соотносится с различением между самореференцией и инореференцией (конструктивизм). Тем самым нам приходится отказаться от всякой связи в определениях между истиной, смыслом и (ино)-референцией.¹⁴ Право больше не может восприниматься как средство защиты интересов (= инореференция), поскольку существуют правомерные и неправомерные интересы, а с другой стороны, правовое и противоправное употребление понятий (= самореференция). И подобно тому, как в научной теории различение между аналитической и синтетической истиной утрачивает свое старое, возводимое к Канту, значение, так же и в правовой теории обстоит дело с различением между понятийной юриспруденцией и юриспруденцией интересов.¹⁵ На месте этого выступает гораздо более абстрактное различение различений. В экономической системе соответствующие проблемы проявляются

в центральном сегодня понятии *транзакции*. В этом понятии формулируется единство между самореференцией (платежи) и инореференцией (производство товаров, предоставление услуг, удовлетворение потребностей) экономической системы, и становится очевидным, что при этом код собственности *иметь/не иметь* следует всякий раз предполагать по *обе* стороны транзакции и *дважды*: по отношению к платежам и по отношению к производству товаров.¹⁶

Эти примеры из науки, права и экономики показывают, насколько теперешняя дискуссия связана с уже обрисованной проблемной ситуацией; в то же время они демонстрируют, что дискуссии в различных академических дисциплинах протекают раздельно и что не признается единство соответствующих постановок проблем и не достигается необходимый уровень абстракции. А значит – отсутствует и идея того, что эти бросающиеся в глаза по разнообразию и схожести проблемы представляют собой структурные проблемы функционально дифференцированной общественной системы.¹⁷

Функциональные системы современного общества с помощью различения таких различий, как *самореференция/инореференция* и *позитивное значение/негативное значение кода*, производят и редуцируют сложность, релевантную только для них, только для соответствующей системы. С помощью различения референций эти функциональные системы распознают со стороны самореференции детерминированность посредством структур и операций собственной системы. Система является и всегда остается аутопойетической. Но она расширяется и свертывается в зависимости от объема операций, каковые она, таким образом, не *распознает*, но фактически *совершает*.

В этом смысле аутопойезис представляет собой принцип *или/или* для системообразования. Соответствующие системы либо существуют, либо не существуют – для экономики, права, политики, науки и т. д. Но социологически более интересный вопрос таков: какой объем экспансии внутрь тем самым производит общество, сколько монетаризации, юридизации, сциентизации, политизации оно может произвести и осилить – и сколь-

ко произвести и осилить одновременно (вместо, например, *только* монетаризации); а с другой стороны, какие могут быть воздействия при свертывании функциональных систем, когда дело доходит до демонетаризации, дерегуляции и т. д.

Для продолжения аутопойезиса достаточно простого различения между *самореференцией* и *инореференцией*. Подобно тому, как никакое сознание не может спутать себя с предметами, так и право не может работать в качестве аутопойетической системы, если оно постоянно путает вытекающие из права обязанности с простыми желаниями или с условиями морального уважения или неуважения. Другой вопрос таков: какие возможности наблюдения за системами возникают, когда речь заходит об образовании частных систем? По чисто логическим причинам, существуют три возможности, а именно: (1) наблюдение за общей системой, к которой принадлежит частная; (2) наблюдение за другими частными системами во внутриобщественном (или также: за другими системами во внешнем) окружающем мире; и (3) наблюдение за частными системами со стороны их самих (самонаблюдение). Чтобы получить возможность различить эти различные системные референции, назовем наблюдение за общей системой *функцией*, наблюдение за другими системами – *производительностью* (Leistung), а наблюдение за собственной системой – *рефлексией*.¹⁸

Эти различия имеют значительное ориентировочно-практическое значение. Если не брать их по отдельности, дело дойдет до существенной семантической путаницы. Так, понятие “государство” служит внутреннему самоописанию (рефлексии) политической системы¹⁹, и его не следует смешивать с общественной функцией этой системы: принимать коллективно обязывающие решения. Если же происходит смешение, то получается гипертрофия государственного сознания.²⁰ Аналогичное имеет место, когда в отношении экономической системы не делается различия между производительностью и функцией. Тогда хозяйство описывается как добыча материалов из окружающего мира природы и как удовлетворение потребностей, будь то человека или же других функциональных систем

общества. Однако же это только производительность хозяйства, тогда как его функция состоит в том, чтобы гарантировать в будущем снабжение продуктами в условиях их скудости. Если спутать одно с другим, то своеобразная соотношенность хозяйства с временем станет непонятной, а в высшей степени духовное производство современного общества, а именно — денежное хозяйство, будет описываться как “материалистическое”. В области науки проводится неуклюжее различие между прикладными и фундаментальными исследованиями; но, в конечном счете, речь тут идет о различии между производительностью и функцией. Если упустить это из виду, то допускающееся в качестве “фундаментального исследования” будет терпеться лишь как теоретическая работа, а система пострадает от опыта, с которым невозможно примириться: исследование основ создает лучшую научную репутацию, но получает худшее финансирование, нежели прикладное исследование.²¹

Особого внимания заслуживает сфера производительности — как раз тогда, когда мы отличаем ее от исполнения некоей функции. Ведь здесь содержатся последствия для более притязательных, иерархических концепций интеграции. Если наблюдать производительность на входе в системы или на выходе из них (а мы всегда говорим о функциональных системах, а не об организациях), то мы должны принимать во внимание, по меньшей мере, две системы, и притом, при дисперсии их взаимозависимости. Поскольку невозможно допустить, чтобы функциональные системы понимающим образом наблюдали друг за другом, т. е. могли реконструировать друг друга изнутри; и поскольку — если бы это было возможным — это стоило бы чрезмерных временных затрат, функциональные системы должны наблюдать за зависимостями производительности и за готовностью к производительности внутренним образом на самих себе и принимать их к сведению в форме ирритаций — например, по уровню образования внедряющегося в хозяйство молодого поколения; по чистой длительности и непрогнозируемости судебных процессов, когда разумными предстают внесудебные договоренности или обходные методы; по вариациям уровня вхо-

дящих налоговых платежей; по политической борьбе с финансированием науки и его временными рамками, плохо согласующимся с продолжительностью научных исследований; по семейно и фармацевтически обусловленным демографическим колебаниям; иначе говоря: всегда по фактам, каковые можно использовать в качестве индикаторов, т. е. всегда слишком поздно, чтобы было еще можно воздействовать на причины или (что прежде было возможным только на уровне организаций) договориться относительно причин. Обобщенно говоря, отношения производительности между системами в современном обществе образуют весьма непрозрачную, не возводимую к принципам (например, к принципам обмена) картину. И хотя таков механизм, посредством которого направляется динамика общественной интеграции²², совершенно очевидно, что современное общество отказывается от того, чтобы в таких отношениях выставлять на первый план собственное единство, например, в форме идей гармонии или справедливости. При таких обстоятельствах интеграция — не что иное, как варьирование ограничений одновременно возможного.

В этом месте нам приходится отказаться от изложения дальнейших деталей; они подходят для теорий, каковые следовало бы разработать для конкретных функциональных систем. Нам должно хватить указания на то, что это различие между системными референциями порождается и вынуждается самой системной дифференциацией. Староевропейские семантики тоже были знакомы с подобными раскладами, например, в отношениях души к Богу, к другим людям и к самой себе. Но лишь в современном, функционально дифференцированном обществе эта проблема обретает социально-теоретическую актуальность. Староевропейской семантике же, как мы еще подробно покажем²³, приходилось довольствоваться упрощениями схемы “целое и часть”.

Когда обеспечены оперативная замкнутость и аутопойетическая репродукция функциональных систем, в таком образом отмеченной области могут происходить дальнейшие системные дифференциации. А именно — в рамках общества возможно

обособление дальнейших социальных систем, и происходит оно весьма несходными способами – спонтанно или организованно. Как и в природе, бывают разные типы дикой поросли. Если же образование подсистемы должно распознаваться по дифференциации функциональной системы, то это предполагает оперативную замкнутость последней.

Дальнейшая дифференциация всегда повторяет схему образования системы; она повторяет завязывание и репродуцирование различия между системой и окружающим миром. При этом, в принципе, в распоряжении имеются опять-таки все формы системной дифференциации – как сегментация, так и дифференциация *центр/периферия*; формирование иерархии, как и дальнейшая функциональная дифференциация. Функциональные системы значительно различаются в деталях, повышение сложности по направлению внутрь не следует никакому обобщенному образцу. Но все-таки в общем кажется, что преобладает та разновидность сегментарной дифференциации, что включает в себя моменты дифференциации функциональной. Так, система мировой политики сегментарно дифференцирована на территориальные государства, но одновременно использует своего рода дифференциацию *центр/периферия*. Систему мирового хозяйства можно наилучшим образом понять как дифференциацию рынков, служащих окружающим миром для организационных образований (предприятий), которые, со своей стороны, с оглядкой на свой рынок воспринимают друг друга в качестве конкурентов. При этом не может быть и речи о возникновении строгого равенства между сегментами – стоит подумать лишь об особом положении финансовых рынков и банков, или же о весьма разной чувствительности рынков труда, сырья и продуктов к воздействиям извне. Система науки тоже первоначально сегментарно членится на дисциплины, которые также отличаются не равенством, но именно неравенством предметов исследования, однако по отношению к различным предметам исследования выполняют одну и ту же функцию. Тем самым возникает впечатление, будто в рамках конкретных функциональных систем здесь повторяется то, что мы смогли выве-

сти и для общества в целом: однозначная опора на примат определенной формы дифференциации является, скорее, исключением, чем правилом, и в удачных случаях это может подвергнуть систему толчкам, ведущим к эволюционному изменению, – за исключением, например, случаев слишком грубой дифференциации хозяйственной системы на центр и периферию.

Предложенное здесь сочетание теории аутопойетических социальных систем с концепцией функциональной дифференциации дает нам исходную точку для теории современного общества. Если свести это к краткой формуле, то мы хотим сказать, что при *отказе от избыточности*, а именно – при отказе от многофункциональности, могут осуществляться значительные *выигрыши в сложности* – хотя и с множеством вытекающих отсюда проблем. Это описание занимает то место в теории, которое в классической социологии занимала теория разделения труда.

Под “отказом от избыточности” имеется в виду отказ от многократного обеспечения защиты функций, причем важнейших общественных функций. Проблема прояснится, если мы мысленно вернемся к вышеизложенным (в главе IV) возможностям роста и свертывания сегментарных обществ или же к людям, предоставляющим для публичной (“политической”) деятельности семейные хозяйства (“экономии”) стратифицированного общества. Заключавшиеся в этом гарантии безопасности исчезли. С другой же стороны, уменьшилась и угроза со стороны внешнего окружающего мира, сменившаяся вызвавшей ныне большую дискуссию экологической угрозой современного общества самому себе. Причина всего этого – взаимосвязь между отказом от избыточности и выигрышем в сложности. Важнейшие для общества функции на требуемом уровне производительности²⁴ могут осуществляться только в обособившихся для этого функциональных системах. Политика находится в компетенции политической системы, но если эта система нуждается в деньгах, она должна предпринимать монетарные действия, т. е. кондиционировать платежи хозяйственных процессов. Существует специфическая для политики иллюзия, будто она сама

умеет “делать” деньги. Но тогда экономика эти деньги не принимает или принимает лишь на условиях обесценивания, и проблема возвращается в политику в виде “инфляции”. С другой стороны, за пределами политики не существует политических действий, и это довелось испытать не одному профессору, дерзнувшему действовать на этой территории. То же самое – *mutatis mutandis* – верно для всех функциональных систем. Однако в то же время эти системы взаимно настраиваются на более или менее тонко регулируемый уровень производительности: к примеру, политика – на разработанные компетентным судом тонкости конституционного права, а практически все функциональные системы – на привычное финансирование. Это означает, что ничтожные колебания в способности к производительности или в готовности к производительности (например, политической готовности к реализации права) могут вызывать в других системах непропорционально большие ирритации. Если только для 10% академически образованной молодежи нет соответствующих ее уровню профессиональных шансов в хозяйстве, то это угнетает целое поколение, направляет потоки образования, изменяет распределение персонала и финансирование, причем происходит это всякий раз в *других* системах, т. е. *без гарантированной пропорциональности по отношению к причине события!*

Каждая функциональная система может выполнять только собственную функцию. Ни одна система не может “выручать” другую в аварийном случае, или даже хотя бы продолжая и дополняя ее. Так, наука в случае правительственного кризиса не может прийти политике на помощь со своими истинами. У политики же нет собственных возможностей обеспечить успех экономики, как бы политика от него ни зависела в политическом отношении и как бы она ни делала вид, будто способна на это. Экономика может способствовать науке в кондиционировании денежных платежей, но не может производить истины сколь угодно большими деньгами. Финансовыми перспективами можно заманивать, можно раздражать, но доказать ничего нельзя. Наука воздает за платежи посредством

*acknowledgements**, но не доказательными аргументами.

Растущий тем самым в рамках всего общества коэффициент ирритации отражает одновременный рост взаимозависимостей и взаимной независимости. Проистекающая отсюда непрозрачность практически исключает возможность досконально просчитать возможные изменения в межсистемных отношениях и последствия этих изменений. Стало быть, вмешиваются упрощения. Вероятно, простейшее из упрощений состоит во вменении в вину и апелляциях, не учитывающих самоописания адресатов. Люди прибегают к символически обобщенным медиа, прежде всего, к деньгам и власти, и требуют определенных решений, например – больше денег для определенных целей или решений, изменяющих правовую ситуацию в отношении определенных интересов; а затем люди жалуются на то, что их не выслушивают и не удовлетворяют. И так, за упрощения приходится расплачиваться большей степенью разочарования. И тогда – как раз в условиях высокого и растущего благосостояния – может распространяться общая неудовлетворенность, подпитываемая нереалистическими взглядами на современное общество и ведущая к ненасытному потреблению скандалов.

Однако же этому соответствуют растущие возможности внутрисистемного выравнивания. Ирритации и неудовлетворенности стремительно устаревают. Они могут в громадной мере компенсироваться посредством подвижности самих функциональных систем, основывающейся на собственной спецификации и собственном кодировании. Достаточно подумать о кредитном механизме, о международном преобладании денег в экономике и о способности экономики к задолженности, о свободе договоров и о законодательных возможностях правовой системы, или даже о свободе выбора тем в пределах наличествующих теоретических и методических программ, наделяющих науку высокой способностью к реагированию. Как ни удивительно, одной из наименее подвижных систем – когда мы думаем о “суверенитете” и о классических теориях государства – представляется политическая. Детали следует прояснить подробнее.²⁵ Во всяком случае, можно предполагать, что взаимосвязь между

отказом от избыточности и выигрышем в сложности благоприятствует одним системам больше других, и в этом смысле может привести к несбалансированной эволюции общества.

С формальной точки зрения, выигрыш в сложности состоит в том, что общество через обособление в нем новых различий между системой и окружающим миром совершает экспансию внутрь. Благодаря этому в рамках того, что вносит оперативный вклад в аутопойезис коммуникации, возникает больше разнообразной коммуникации, причем как одновременной, так и последовательной. Каждая функциональная система может испытать это для себя. Так, кто выбирает свою супругу подобно векфильдскому священнику*, “as she did her wedding-gown, not for a fine glossy surface, but such qualities as would wear well”**, нуждается в коммуникации лишь относительно немногих вопросов качества. Если перед этим ему доведется влюбиться, то – как учит романтизм – весь мир в зеркале любви предстанет в качестве темы для коммуникации. Рынок сегодняшнего общества может обработать гораздо больше информации, нежели сколь угодно крупная агломерация государственных или частных хозяйств. Демократия современной политической системы может политизировать куда больше тем, нежели княжеский двор традиционного типа. Поэтому все общество становится более сложностным, и не только благодаря сложению операций отдельных функциональных систем, но и как область наблюдения и выбора для каждой отдельной системы.

Таким повышением структурной сложности соответствуют повышения сложности семантической. В предметном измерении появляется больше тем и глубины резкости в разработке тем, текстов и докладов. Во временном измерении повышается толерантность к различиям между прошлым и будущим. Это означает: может быть больше изменений, и процесс ускоряется с тем последствием, что возникают трудности по синхронизации между системами, и все больше событий для соответствующих систем фигурируют в качестве случайностей, несчастных случаев, удачных возможностей. Структуры (как, например, капиталовложения, профили политических партий,

брачные союзы, понятный язык науки) могут, и в конечном счете даже должны возводиться к решениям. Горизонты будущего, которые представляются еще планируемыми, придвигаются ближе к настоящему. События прошлого все стремительнее перестают быть мерообразующими, т. е. становятся интересными лишь исторически, и потому к ним надо относиться лишь с особым, ностальгическим вниманием.²⁶ Кроме того, теперь меньше ориентируются на пространственно ограниченные и больше – на ограниченные временем комплексы культуры, варьирование которых учитывается заранее и как раз повышает их привлекательность: на моды и стили, на дух времени и судьбы поколения.²⁷

В социальном измерении речь заходит о таких выигрышах в сложности, которые основаны на оперативном исключении человека из общества, когда его “награждают” такими титулами, как *индивид* или *субъект*.²⁸ Теперь индивиды больше не могут быть в обществе социально размещены, так как *всякая* функциональная система рефлектирует над инклюзией *всех* индивидов, но эта инклюзия относится только к собственным операциям. Теперь общество колеблется между позитивной (субъект) и негативной (*home-cory**, человек массы) оценкой шансов для индивидов. В одно и то же время идеализируются такие противоположные дезидераты, как “самореализация” и “взаимопонимание”.²⁹ В результате наблюдается своего рода денатурализация социального измерения, которая может пойти на пользу саморефлексии общества как коммуникативной системы. Соответственно общество вкладывает в коммуникацию больше ожиданий и разочарований и производит именно на это направленную символику, вызывающую у него самого иллюзии, прежде всего, в политической системе. Если бы общество не было в значительной мере безразлично к тому, что фактически происходит в сознании индивида, оно вряд ли могло бы позволить себе несообразности такого масштаба.

Столь же важное следствие функциональной дифференциации можно описать как весьма значительную перестройку наблюдения по направлению к *наблюдению второго порядка*, т. е.

к наблюдению за наблюдателем. Разумеется, это происходило уже в прежнем мире – но лишь в рамках программ, узко ограниченных когнитивно или нормативно – т. е., к примеру, по отношению к заблуждениям других или к греху или вине, как-то вые, в свой черед, могли быть описаны в аристотелевско-томистской традиции как вариант заблуждения. При этом предполагалось наличие общего предзаданного людям мира в качестве природы или творения. Космологии формулировались как описания положения дел. Вместе с наступлением функциональной дифференциации эта “онтологическая” предпосылка снимается, и теперь ее можно заменить реальным осуществлением наблюдения за наблюдателями. Тогда мир должен заново конституироваться в среде ненаблюдаемого, на уровне такого наблюдения второго порядка.

Пожалуй, все функциональные системы наблюдают за собственными операциями на уровне наблюдения второго порядка. Так, в экономике наблюдатели наблюдают друг за другом с помощью рынка и формирующихся на нем цен.³⁰ В политике всякая деятельность инсценируется перед зеркалом общественного мнения с оглядкой на результаты политических выборов.³¹ И в науке исследователи наблюдают друг за другом уже не напрямую во время работы, но в связи с публикациями, которые рецензируются, дискутируются или же игнорируются, так что можно ориентироваться согласно тому, как наблюдатели наблюдают за соответствующими высказываниями.³² Аналогичное верно для искусства, поскольку художники ориентируются на то, что за их произведениями будут наблюдать не только как за объектами, но и как за средствами достижения эффектов.³³ Это означает: функциональные системы должны учреждать соответствующие формы и пользоваться удобными возможностями для самонаблюдения и могут конструировать реальность лишь таким образом.

В модусе наблюдения второго порядка наблюдаемый наблюдатель гарантирует реальность своего наблюдения (первого или второго порядка). От проникновения в сокровенную, ненаблюдаемую реальность, которая такова, как она есть, можно, и даже

должно отказаться.³⁴ И тем более такие системы вынуждены соответственно повышать свою способность к ирритации, т. е. быть в состоянии регистрировать помехи и привычно обрабатывать их.

Конечно, не случайно, что параллельно этому, начиная с XVIII в., сюда примешивается возможность искать социальной компенсации в наблюдении за наблюдением и выбирать такие разновидности самодисциплины, которые на это настроены. Это подрывает прежнее единство морали и манер, да и вообще ориентацию на авторитетные образцы правил. И современная концепция индивидуальности требует от индивида не только быть тем, кем он является, но и, сверх того, наблюдать за собой, как за наблюдателем. И опять-таки приблизительно в то же время утверждается возможность наблюдать за другими с учетом того, чего сами они наблюдать не могут – будь то с учетом неосознанных мотивов и интересов, идеологичности мировоззрения, или же совершенно обобщенно – в отношении латентных функций и структур. Итак, перестройка конструкции реальности и смещение этой конструкции на уровень наблюдения второго порядка не ограничивается операциями отдельной функциональной системы, но становится общим модусом более притязательного удостоверения в общественной реальности. Однако же это удостоверение должно происходить без всякого репрезентативного авторитета, т. е. без иерархии, а значит без возможности наблюдения за задающей критерии верхушкой или каким-то центром общества. Оно должно создавать гетерархические связи и всякий раз лишь сиюминутно опираться на оперативные подтверждения.

Последствия такого способа действия проявляются на уровне всего общества во взаимосвязи между собственной динамикой и прерыванием взаимозависимости. Зависящие от самих себя функциональные системы порождают в самих себе собственные времена и неравенства, которые уже не могут координироваться в рамках всего общества. Жесткие формы, например, капиталовложения или действующий кабинет министров, с самого начала фиксируются только во времени. Это позволя-

ет представить их контингентными. Кроме того, общество может проявлять терпимость к внешним неравенствам отдельных функциональных систем, поскольку их перенос из одной системы в другие можно заблокировать. Даже очень богатые люди не имеют лишь в силу этого политической власти, или лучшего понимания искусства, или более высоких шансов на то, чтобы их полюбили. Конгломераты функционально-специфических преимуществ едва ли переносимы даже в семье. Например, лишь если взять на себя риск утраты богатства, им можно воспользоваться с экономическим успехом, а организаторские, художнические, политические и т. д. карьеры также подвергаются типичным для них рискам. То, что еще поддается обобщению в ценностях, повсеместно признанных в обществе – таких, как свобода, равенство, человеческое достоинство, – зиждется на этой взаимосвязи между темпорализацией, системной специфичностью и прерыванием взаимозависимости. Итак, ценности не имеют основания своей реальности в соответствующих, через них описанных или востребованных, общественных ситуациях. Поэтому в каждой функциональной ситуации к ним относятся негативно – в смысле некоей нехватки или потребности в обосновании ограничения. Следовательно, их общественная адекватность состоит не в приближении реальности к ценностной программе, но в этой взаимосвязи между условиями собственной динамики, усилением отклонений, темпорализацией и прерыванием взаимозависимости. Уже спецификация функций и кодов приводит к отвержению других системных ориентаций, т. е. постоянно наводит на мысль о присутствии исключенного, и в связи с этим формулировки ценностей обладают тем смыслом, что они проясняют каждой системе на специфическом для нее языке, от чего она отклоняется.

Для общественной системы такой порядок отношений между функциональными системами имеет далеко идущие последствия. При условии стратификации и/или дифференциации *центр/периферия* можно было исходить из того, что “господствует” и снабжается соответствующими ресурсами наисильнейшая система (даже если с реалистической точки зрения впол-

не возможным было регрессивное развитие по направлению к родовым отношениям, поскольку в сельской местности все еще в значительной степени господствовали архаические отношения). В функционально дифференцированных обществах действует, скорее, противоположный порядок: доминирует система с высочайшей долей отказа, потому что если выходит из строя одно из специфических функциональных условий, то это невозможно нигде компенсировать и к этому повсюду тяжело приспособляться. Чем невероятнее производительность, чем больше предварительных условий для достижений, тем больше и риск сбоя в рамках всего общества. Так, если бы право стало бы нереализуемым или деньги перестали бы приниматься, то и другие функциональные системы были бы поставлены перед едва ли разрешимыми проблемами. Хуже поддаются оценке сбой в функционировании научных нововведений или религиозных объяснений мира, но аналогичные проблемы встают и здесь; стоит подумать лишь о потребностях науки в растущих экологических взаимозависимостях, о вызванных цивилизацией болезнях или о политических последствиях нарушения религиозного мира. Мера соблюдения чего-либо или опасения за что-либо теперь описывается уже метафорикой не “силы”, но только – “кризиса”.

Эти анализы можно свести в общей тезис о том, что оперативная замкнутость и аутопойетическая автономия порождают у системы высокую совместимость с неупорядоченностью в окружающем мире. Поскольку структурные сопряжения могут контролироваться, а раздражения – восприниматься и обрабатываться, окружающий мир может, в остальном, оставаться непрозрачным, сверхсложностным, неконтролируемым. Этот действующий уже у внешней границы общественной системы механизм, с помощью которого коммуникация дистанцируется от остального мира, переносится посредством функциональной дифференциации внутрь общественной системы.³⁵ Следствие состоит в том, что общество может повысить свой внутренний беспорядок и одновременно приобрести иммунитет к нему. Однако тем самым растет и чувствительность к помехам, и за-

висимость от модуса наблюдения второго порядка. Каждая функциональная система работает в неконтролируемом ею внутриобщественном мире. То, что это с успехом осуществимо, делает и для *других* функциональных систем *их* внешний мир неконтролируемым. В результате упраздняется всякая обязательная упорядоченность отношений функциональных систем друг к другу в пределах всего общества; и тогда каждая функциональная система тем более полагается на собственную замкнутость, на собственный аутопойезис — независимо от того, хорошо или плохо она для этого оснащена.

Итак, функциональная дифференциация отнюдь не гарантирует равные шансы для всех функциональных систем — для экономики так же, как и для религии; для права так же, как и для искусства. Кроме того, функциональную дифференциацию невозможно оправдать, как то имело место в случае разделения труда, через повышение благополучия. Речь, скорее, идет о форме, посредством которой общество еще способно репродуцировать себя в условиях высокой внутренней непрозрачности и некалькулируемости. Оперативная замкнутость создает беспокойство, а беспокойство — оперативную замкнутость. И от эволюции зависит, какие центральные пункты развития, какие функциональные системы и какие структуры при этом условии могут зарекомендовать себя лучше других.

Вместе с ростом сложности и неопределенности изменяются и формы, которыми связываются и подчиняются друг другу через идентичности ожидания поведения. Если прежние общества, различавшие этос и поведение, исходили из нормально-нормативных (естественно-моральных) правил и ориентированного на них (конформного или девиантного) поведения, то теперь идентификационные точки зрения необходимо сильнее развести между собой, если требуется перестроить сложность на осмысляющие толкования, а неопределенность — структурировать так, чтобы ее можно было “локализовать”. Со стороны нормативных образцов теперь необходимо делать различие между безусловно приемлемыми *ценностями* и условно приемлемыми *программами*; и это уже лишь потому, что от-

дельные функциональные системы по-разному идентифицируют свои неизменные коды и изменчивые программы. Теперь на уровне поведения, ориентированного на правила, следует различать *роли* и *личности*; и это уже лишь потому, что личности больше не идентифицируются по социальному статусу и неизменной принадлежности, но должны избирать профессии, членство, предпочитаемые интеракции и при выборе оставаться самоидентичными.³⁶

Эта дифференциация оказывает существенное воздействие на темы, еще убедительные в контексте самоописаний общества. Область программ и ролей можно понимать “позитивизированно”, т. е. в зависимости от решения, поскольку безусловную значимость можно утверждать только для ценностей и — с обратной связью — для ценности индивидуальной личности. К этому мы еще вернемся. В данном месте интересно лишь то, что речь идет о *структурной* дифференциации, которая не остается ограниченной отдельными частными системами (функциональными системами, организациями, интеракциями), но реализуется в объеме общества в целом, со значительными последствиями, прежде всего, для возможностей отчуждения в семьях. Ведь идентичности конденсируют и подтверждают социальную память системы. Они управляют тем, что можно предать забвению, а что — вспомнить, т. е. устанавливают, что из прошлого остается в настоящем; и тем самым они в то же время управляют пространством осцилляции будущего, т. е. формами, в коих ожидания (здесь: ожидания поведения) сбываются или ведут к разочарованию.³⁷

В свою очередь, эти воздействия функциональной дифференциации влияют на процесс преобразования стратифицированного общества в функционально дифференцированное. Они представляют собой результат и в то же время фактор такого преобразования. Ибо с одной стороны, индивидуалистическая личностная ориентация используется для того, чтобы подчинить себе старые социальные разделения. А с другой, зависимость программ и доступа к ролям (ключевое понятие здесь: “карьера”) от решения становится столь отчетливо очевидной,

что определенность происхождения заменяется определенностью решения, что приводит к проблемам вменения, выделяющим функциональные системы, организации, но также и индивидов (к примеру, в вопросах религиозной веры или при “гениальных” открытиях или изобретениях).

Хотя вместе с перестройкой стратификации на функциональную дифференциацию изменяется форма дифференциации общества, это ни в коей мере не устраняет расслоения. Как и прежде, существуют громадные различия между богатыми и бедными и, как прежде, эти различия сказываются на жизненных формах и на доступе к социальным шансам. Изменилось, однако, то, что теперь это не зримый порядок общества вообще; теперь это не тот порядок, без которого не было бы возможным вообще никакого порядка. Поэтому расслоение утрачивает легитимированность безальтернативностью и, с XVIII в., сталкивается с постулатом о равенстве всех людей, с оглядкой на который неравенства следует измерять, а в случаях необходимости – и функционально оправдывать. Семантически эта перестройка регистрируется посредством перехода от характерного для расслоения понятия *сословия* к характерному для расслоения же понятию *класса*, где отчетливее отмечен неприкрытый производный разделения.³⁸ Однако и в рамках уже не сословного расслоения этот процесс продолжается, прежде всего, в виде исчезновения высших городских (и известных в городе) слоев. К тому же, в последние десятилетия подход как будто бы сместился с расслоения на индивидуальное поведение, так что социологи предпочитают говорить уже не о расслоении, но о социальном неравенстве.³⁹ Это может быть взаимосвязанным с процессами в сфере семьи, в молодежной культуре и в отношениях между поколениями, однако подтверждает и распад стандартной типологии карьер, которая в значительной степени еще определялась происхождением.

Предпринимались попытки доказать, что и современная структура расслоения выполняет некую функцию, так как облегчает подбор кадров и способствует маркированию карьерных успехов (что, пожалуй, означает не что иное, как отказ от

умеренности в оплате элит).⁴⁰ Однако такие точки зрения могут быть пригодными для организаций. Социальной теории, скорее, следовало бы заинтересоваться вопросом о том, как получается, что по-прежнему воспроизводятся вопиющие различия между жизненными шансами, даже если форма общественной дифференциации больше от этого не зависит. Ответ звучит так: очевидно, это побочный продукт рационального оперирования с отдельными функциональными системами и, прежде всего, с хозяйственной системой и системой воспитания.⁴¹ Эти системы используют ничтожные различия (в работоспособности, в кредитоспособности, в преимуществе местоположения, в даровании, в дисциплинированности и т. д.), чтобы выстроить их в духе усиленного отклонения от середины, так что даже быстро достижимое уравнивание вновь преобразуется в социальную дифференциацию, даже если этот эффект не обладает ни малейшей социальной функцией.⁴²

Наконец, важное отличие стратификации от функциональной дифференциации состоит в том, что в строгих условиях стратификации едва ли существуют разновидности коммуникации, которые эта форма дифференциации оставляет без внимания. Зато в функционально дифференцированных обществах имеется много коммуникации, которая может не заботиться о возможности подсоединения к той или иной функциональной системе. Это выдвигает вопрос о том, как коммуникация вообще распознает, упорядочивается ли она вокруг какой-либо (и какой именно) функциональной системы или нет. В стратифицированных обществах здесь можно было придерживаться личностей и жизненных форм. В функционально дифференцированных обществах напрашивалась отсылка к различным кодировкам, но тем самым проблема распознавания распределений лишь сдвигалась. В известном объеме здесь поможет своего рода топографическая память: можно провести различия между школами и судами, больницами и фабриками или бюро. Но, кроме того, общество, которое уже не может полагаться на личностную ориентацию, зависит от развития соответствующих типов чувствительности. Например, в плохо функционирующем бра-

ке следует распознавать, когда проблема стилизуется под вопрос права; или в школе – когда преподавание соскальзывает в политическую или религиозную агитацию; или в больнице – когда собственное тело превращается в предмет обучения или исследований. В таких вопросах невозможно ожидать предобозначенного “предметом” консенсуса. Это остается делом коммуникации – посредством сгущения референций решать, куда она движется.

Нам приходится довольствоваться этими непроработанными намеками. В этом месте они должны лишь пояснить и проиллюстрировать на примерах, каков масштаб перестройки общества на функциональную дифференциацию. Речь ни в коем случае не идет о частном феномене, например, в смысле хабер-масовского различия между системой и жизненным миром, которое признает лишь то, что системы – что бы о них ни думали – тоже имеются и тоже необходимы.⁴³ Само собой разумеется, примат функциональных дифференциаций не приводит к тому, что тем самым упраздняется сегментарная дифференциация или образование слоев.⁴⁴ Наоборот: шансы на сегментацию (например, на организационной основе) и на самоусиливающиеся неравенства (например, между промышленными и развивающимися странами), возрастают вместе со сложностью общественной системы; и возникают они как раз благодаря тому, что функциональные системы, как, например, экономическая или воспитательная, используют и тем самым усиливают равенства или неравенства в качестве момента рациональности собственных операций. Примат функциональной дифференциации представляет собой *форму* современного общества. А форма является не чем иным, как различием, с помощью которого она внутренним образом воспроизводит собственное единство; и различием, с помощью которого она может наблюдать собственное единство как единство различенного.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. VIII:

¹ Известно, что принять это можно только с тяжелым сердцем. Различение *общество/община*, к примеру, имело в виду все-таки как бы

предоставить человеку социальное место – если не в обществе, то как раз в общине.

² здесь: “соразмерность” (англ.) – прим. пер.

³ “Казалось” потому, что общество все еще состояло только из коммуникаций и только в самоописаниях могло – и должно было – вводить себя в заблуждение, так как прежние формы дифференциации зависели от назначения людям фиксированных мест “в” обществе.

³ Пользуясь формулировкой Хайнца фон Фёрстера, это *нетривиальные машины*. См.: Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke, Frankfurt 1993, S. 247 ff.

⁴ См. программную статью: D. F. Aberle / A. K. Davis / M. J. Levy / F. X. Sutton, The Functional Prerequisites of a Society, Ethics 60 (1950), pp. 100-111. В дальнейшем: Talcott Parsons, The Social System, Glencoe Ill. 1951, p. 26 ff., и подробно: Marion J. Levy, The Structure of Society, Princeton 1952.

⁵ Мы напоминаем о рассуждениях о кодировании символически обобщенных средств коммуникации. Возобновление этой темы в системно-теоретической связи должно также показать, что символически обобщенные медиа могут внести особый вклад в обособление функциональных систем и почему это происходит. Но существуют и другие формы кодирования систем, которые в то же время не кодируют медиа, например, селективный код воспитательной системы. Специально об этом: Niklas Luhmann: Bildung und Selektion im Erziehungssystem, in ders., Soziologische Aufklärung Bd. 4, Opladen 1987, S. 182-201.

⁶ Соответственно: “точные аттракторы”; “циклические аттракторы” (англ.) – прим. пер.

⁶ В самоописании функциональной системы такая символизация упрощается по коммуникационно-практическим причинам. И тогда в качестве собственного смысла системы действует лишь позитивное значение кода: только *право*, только *истина*, только *любовь* и т. д., а негативное значение добавляется лишь в качестве выражения неудачи. Это облегчает телеологическое, целенаправленное представление операций системы и выражает парадоксы единства позитивных и негативных значений в своеобразно амбивалентной форме: желаемая сторона кода противопоставляется отвергаемой и в то же время применяется для обозначения самого различия.

⁷ [“отвергается сам выбор” (англ.) – прим. пер.] См. Cybernetic Ontology and Transjunctive Operations, in: Gotthard Günther, Beiträge zur Grundlegung einer operationsfähigen Dialektik Bd. I, Hamburg 1976, S. 249-328 (особ. S. 286 f.).

⁸ Понятие “высшая аморальность” мы хотели бы отличить от близко-

- родственного ему гегелевского понятия "нравственность". Стало быть, мы не следуем специфически современному (поскольку связанному с теорией различий) изводу гегелевской теории. Последняя исходит из некоего различения (в данном случае: *инстинкт* и *моральный долг*, что понимается по образцу *горячий/холодный*), чтобы посчитать простое противопоставление двух сторон как усилие по созданию понятия недостаточным и способствовать "снятию" этого противопоставления (а тем самым – и морали) в более высоком, учитывающем обе стороны единстве и разрешить его понятийно. Результат формулируется в различении морали и нравственности. Понятие "высшей аморальности" отказывается от апофеоза такого единства. На месте функциональной теории такое понятие утверждает лишь то, что и к различению морали как к различению отсылка может происходить в интересах других различений и что при построении системы современного общества это происходит не в каких угодно местах. Итак, на место понятия "снятие" мы – ради достижения большего логического структурного богатства – ставим понятие Готтхарда Гюнтера "отказ".
- ⁹ Можно ли в случае с функциональными системами, каковые все-таки являются частными системами общественной системы, вообще говорить об аутопоетической автономии, дискутируется с противоположных позиций. Об этом – вместе с предложениями разработок – см. Gunther Teubner, "L'ouvert s'appuie sur le fermé", *Offene Fragen zur Offenheit geschlossener Systeme*, *Journal für Sozialforschung* 31 (1991), S. 287-291.
- ¹⁰ Über die ästhetische Erziehung des Menschen in einer Reihe von Briefen, in: Friedrich Schiller, *Sämtliche Werke* Bd. 5, 4. Aufl. 1967, S. 593.
- ¹¹ Эта *оперативная* сопряженность обусловлена тем, что такие институты, как собственность и договор, служат *структурному* сопряжению правовой системы с экономической системой, и поэтому заботятся о *регулярной* взаимной ирритации. Об этих понятиях см. выше кн. I, VI; и далее в главе VI наст. части.
- ¹² См. Alfred North Whitehead, *Science and the Modern World*, New York 1925. [Рус. перевод в: Уайтхед А.Н., "Избранные работы по философии", М., 1990].
- ¹³ Так – в добавление к исследованию шизофрении и на примере немислимого единства карты и территории (Борхес): Jacques Miermont, *Les conditions formelles de l'état autonome*, *Revue internationale de systémique* 3 (1989), p. 95-314.
- ¹⁴ Вопросы такого рода дискутируются, прежде всего, в связи с Куайном – но в "философии" и без всякой связи с теорией общества.
- ¹⁵ Об этом: Niklas Luhmann, *Das Recht der Gesellschaft*, Frankfurt 1993, S. 384-400.

- ¹⁶ Несмотря на эту сложностную структуру, дальнейшая отмена понятия транзакции представляется в экономической системе невозможной (иначе в правовой системе!). Это говорит в пользу мнения, что транзакции представляют собой конечные элементы экономической системы; это мнение представлено и в контексте теории аутореференциальных, аутопоетических систем, а именно в работе: Michael Hutter, *Die Produktion von Recht: Eine selbstreferentielle Theorie der Wirtschaft, angewandt auf den Fall des Arzneimittelpatentrechts*, Tübingen 1989, S. 131. Как бы там ни было, Хуттер реконструирует подчеркивавшиеся выше в тексте различения, как различные способы наблюдения, а именно – изнутри (платежи) и снаружи (передача "ноу-хау").
- ¹⁷ Время от времени мы все-таки встречаемся с идеей того, что в этом комбинаторном пространстве различений речь в определениях идет о *социальных* операциях, т. е. о коммуникациях. "...reference fixing is a *social fact*, as in the case of a contract or a promise" – читаем, например, в: Steve Fuller, *Social Epistemology*, Bloomington Ind. 1988, p. 81.
- ¹⁸ Ради предусмотрительности следует еще раз напомнить о том, что понятие "наблюдение" покрывает собой *всякую* практику различающего обозначения, т. е. включает и поступки.
- ¹⁹ Подробнее об этом: Niklas Luhmann, *Staat und Politik: Zur Semantik der Selbstbeschreibung politischer Systeme*, in ders., *Soziologische Aufklärung* Bd. 4, Opladen 1987, S. 74-103.
- ²⁰ Или в академической сфере: к совершенно ненужному различению между учением о государстве и политической социологией добавляется дополнительный эффект: подсказать тем временем политологии ее собственную задачу.
- ²¹ Относительно дальнейших примеров см. Niklas Luhmann, *Funktion der Religion*, Frankfurt 1977, S. 54 ff.; Niklas Luhmann / Karl Eberhard Schorr, *Reflexionsprobleme im Erziehungssystem*, новое издание Frankfurt 1988, S. 34 ff.
- ²² Динамика здесь – в отличие от статики, выражающейся в структурном сопряжении между функциональными системами.
- ²³ См. кн. 5, V.
- ²⁴ "Производительности" в только что изложенном, соотнесенном с другими системами смысле.
- * "признательности, выражаемые во вступительных статьях и предисловиях" (англ.) – прим. пер.
- ²⁵ При этом в отношении политической системы можно, например, задать вопрос о том, не дает ли эта нормальная неподвижность шанс определенным личностям, например, таким безрассудным смельчакам, как Горбачев или Тэтчер, сделать карьеру *вопреки этой системе*.
- * "Векфильдский священник" – роман О. Голдсмита – прим. пер.

- ** “как она выбирала себе свадебное платье, не за прельстительно блестящую поверхность, но за то, что оно будет хорошо носиться” (англ.) – прим. пер.
- ²⁶ Об этом круге тем и об обратных влияниях на темпоральные структуры современного общества см.: Reinhart Koselleck, *Vergangene Zukunft: Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*, Frankfurt 1979; и далее – Hermann Lübbe, *Zeit-Verhältnisse: Zur Kulturphilosophie des Fortschritts*, Graz 1983; Giacomo Marramao, *Potere e secolarizzazione: Le categorie del Tempo*, Roma 1983; Helga Nowotny, *Eigenzeit: Entstehung und Strukturierung eines Zeitgefühls*, Frankfurt 1989; далее гл. 5, XII.
- ²⁷ Очень редко анализируемая тема. Впрочем, см. Theodore Schwartz, *The Size and Shape of Culture*, in: Fredrik Barth (ed.), *Scale and Social Organization*, Oslo 1978, pp. 215-252 (249 f.).
- ²⁸ Об этом подробнее кн. 5, XIII.
- ²⁹ “домашняя копия” (англ.) – прим. ред.
- ²⁹ Здесь можно подумать о Юргене Хабермаса, который пытается снять этот парадокс в традиционном правоосновании разума.
- ³⁰ Об этом см.: Dirk Baecker, *Information und Risiko in der Marktwirtschaft*, Frankfurt 1988.
- ³¹ См., например, Niklas Luhmann, *Gesellschaftliche Komplexität und öffentliche Meinung*, in ders., *Soziologische Aufklärung Bd. 5*, Opladen, S. 170-182.
- ³² Так в: Niklas Luhmann, *Die Wissenschaft der Gesellschaft*, Frankfurt 1990, *passim* (см. Index).
- ³³ Об этом см. Niklas Luhmann, *Weltkunst*, in: Niklas Luhmann / Frederick D. Bunsen / Dirk Baecker, *Unbeobachtbare Welt: Über Kunst und Architektur*, Bielefeld 1990, S. 7-45; ders., *Die Kunst der Gesellschaft* 1995, S. 92 ff.
- ³⁴ См. также различные отношения между познанием и онтологией в статье: Humberto Maturana, *The Biological Foundations of Self Consciousness and the Physical Domain of Existence*, in: Niklas Luhmann et al., *Beobachter: Konvergenz der Erkenntnistheorie?*, München 1990, S. 47-117 (117).
- ³⁵ К этому мы вернемся в следующей части.
- ³⁶ Подробнее об этом: Niklas Luhmann, *Soziale Systeme a. a. O.* S. 426 ff.
- ³⁷ См. с точки зрения памяти: Heinz von Foerster, *Was ist Gedächtnis, daß es Rückschau und Vorschau ermöglicht?*, in ders., *Wissen und Gewissen: Versuch einer Brücke*, Frankfurt 1993, S. 299-336.
- ³⁸ Подробнее см. Niklas Luhmann, *Zum Begriff der sozialen Klasse*, in ders. (Hrsg.), *Soziale Differenzierung: Zur Geschichte einer Idee*, Opladen 1985, S. 119-162. Кроме того, аналогичными являются исследования по семантической и структурной путанице в понятии *буржуазии* при пе-

- реходе от понятия *инклюзии* в *гражданское общество* через представление о *сословии*, вплоть до понятия *социального класса*, определяемого экономическими отношениями и образованием. Об этом см. Jürgen Kocka (Hrsg.), *Bürger und Bürgerlichkeit im 18. Jahrhundert*, Göttingen 1988.
- ³⁹ См. Karl Martin Bolte, *Von sozialer Schichtung zu sozialer Ungleichheit: Bericht über ein Forschungsprojekt der frühen 50er Jahre und einige seiner Weiterwirkungen*, *Zeitschrift für Soziologie* 15 (1986); Ulrich Beck, *Jenseits von Klasse und Stand?*, *Soziale Ungleichheiten, gesellschaftliche Individualisierungsprozesse und die Entstehung neuer sozialer Formationen*, in: Reinhard Kreckel (Hrsg.), *Soziale Ungleichheiten, Sonderband 2 der Sozialen Welt*, Göttingen 1983, S. 35-74; Bernhard Giesen / Hans Haferkamp (Hrsg.), *Soziologie der sozialen Ungleichheit*, Opladen. Сегодня мы констатируем, что индивид ориентируется не столько на социальное расслоение, сколько на “миры переживания”, где неравенства могут играть какую-то роль. См., например, Gerhard Schulze, *Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart*, Frankfurt 1992; Thomas Müller-Schneider, *Wandel der Milieulandschaft in Deutschland: Von hierarchisierten zu subjektorientierten Wahrnehmungsmustern*, *Zeitschrift für Soziologie* 25 (1996), S. 196-206.
- ⁴⁰ См. весьма оспариваемые (и, прежде всего, спорные по идеологическим причинам) тезисы: Kingsley Davis / Wilbert E. Moore, *Some Principles of Stratification*, *American Sociological Review* 10 (1945), pp. 242-249; в дальнейшем Melvin M. Tumin, *Some Principles of Stratification: A Critical Analysis*, *American Sociological Review* 18 (1953), pp. 387-394; Dennis H. Wrong, *The Functional Theory of Stratification: Some Neglected Considerations*, *American Sociological Review* 24 (1959), pp. 772-782; Renate Mayntz, *Kritische Bemerkungen zur funktionalistischen Schichtungstheorie*, in: David V. Glass / René König (Hrsg.), *Soziale Schichtung und soziale Mobilität, Sonderheft 5 der Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, 3 Aufl., Köln 1968, S. 10-28.
- ⁴¹ То, что в двух этих функциональных системах больше, чем в других, проявляется такая извращенная селективность, должно – с оптимистическим знаком и довольно рано – напомнить и о том, что буржуазия в отношениях к аристократии, прежде всего, опирается на эти функциональные системы: на деньги и на образование.
- ⁴² Хорошим анализом ожесточенной борьбы с уравниловкой – при старании придать социальное значение малейшим, “тончайшим” различиям – мы обязаны Пьеру Бурдьё. См., прежде всего: *La distinction: Critique social du jugement du goût*, Paris 1975. Однако же, в отличие от Бурдьё, я считаю, что такие старания производят впечатление именно своей напрасностью и отсутствием общественно-структурного фона.

IX. АВТОНОМИЯ И СТРУКТУРНОЕ СОПРЯЖЕНИЕ

Если бы мы описывали современное общество только как множество автономных функциональных систем, которые не должны принимать друг друга во внимание и которые лишь следуют принудительному воспроизводству собственного аутопойезиса, то в итоге получилась бы чрезвычайно односторонняя картина. Тогда было бы трудно понять, почему это общество сразу же не взрывается или самопроизвольно не распадается. Напрашивающееся возражение состоит в том, что где-нибудь и как-нибудь должна осуществляться забота об “интеграции”. В последнее время то обстоятельство, что современное общество увязло в значительных экологических трудностях, которые в обозримом будущем грозят перерасти в серьезные кризисы, должно способствовать необходимости планирования (пусть даже рамочного) или регулирования (пусть даже контекстного¹). Подобным же образом, когда весь мир наводнили фашистские движения, считалось, что течение событий нельзя просто оставлять на волю эволюции². Современный призыв к этике ответственности соотносится с этими идеями.³ В подобных попытках спасения бросается в глаза, что старый опыт либо переносится в них вместе с новомодными концепциями, либо встраивается со значительными потерями для теории, как если бы этой проблеме была присуща такая всеокрушающая настоятельность, которая оправдывает даже концепции отчаяния. Как мыслима интеграция при фундаментальных различиях и преобладании дифференциально-теоретических подходов? Планирование и регулирование – при непрозрачной сложности? Этика – в виду известных трудностей, на которые натолкнулись все разновидности этики при попытке обоснования моральных суждений? И, наконец, что это за надежда на коммуникативный потенциал гражданского общества – на фоне не только распада коммунистического режима, но и проблем, вытекающих из фун-

⁴³ См. Jürgen Habermas, *Theorie des kommunikativen Handelns*, Frankfurt 1981. См. также Achille Ardigò, *Crisi di governabilità e mondi vitali*, Bologna 1980.

⁴⁴ См. это вроде бы неискоренимое недоразумение, которое иногда используется как аргумент против теории функциональной дифференциации, в: Max Haller, *Sozialstruktur und Schichtungshierarchie im Wohlfahrtsstaat: Zur Aktualität des vertikalen Paradigmas in der Ungleichheitsforschung*, *Zeitschrift für Soziologie* 19 (1986), S. 167-187.

кциональной дифференциации?⁴ Можно ли считать, что поиски здесь ведомы взглядом, направленном в прошлое, и что мыслители продолжают черпать надежду в концепциях, давно опровергнутых историей, потому что надежду невозможно найти где-либо еще?

В дальнейшем речь пойдет не о том, чтобы каким-то иным способом получить более благоприятную картину современного общества, и мы тем более не должны заменять такие понятия, как планирование, регулирование или этика, чем-либо аналогичным, но более близким к практике. Мы знаем слишком мало, чтобы решать хотя бы о форме инструкций к действию. Такие решения могут выноситься лишь в рамках функциональных систем для каждой конкретной области. Конечно, это не значит требовать полного воздержания от практики, но по отношению к таким попыткам имеет смысл занять позицию наблюдателя за наблюдателями, чтобы узнать, что происходит, когда кто-нибудь предъявляет претензию на планирование или этику с целью ввести в общество новые различия.

В первую очередь, напротив, настоятельно необходимо исправить тот перекос в теории общества, который возникает, когда учитывается только аутопойетическая динамика функциональных систем. В классической социологической дискуссии от Дюркгейма до Парсонса эта проблема трактовалась с помощью схемы *дифференциация/интеграция*.⁵ В таких случаях задача социологии заключалась в поисках форм интеграции, подходящих для функциональной дифференциации.⁶ Мы заменяем эту схему различием аутопойезиса и структурного сопряжения.

Фактически все функциональные системы связаны между собой и содержатся в обществе благодаря структурным сопряжениям. Это понятие, разъясненное в главе VI книги 1, применимо в обществе не только для внешних, но и для внутриобщественных отношений. Уже на уровне простой жизни отдельных систем аутопойетическая замкнутость не может возникать без изменения отношения к окружающему миру в структурных сопряжениях, роста определенных зависимостей и эффективного исключения других зависимостей или сведения их к воз-

можности деструкции.⁷ Эта генетическая и структурная взаимосвязь оперативной замкнутости и структурного сопряжения продолжается на всех зависимых от жизни уровнях образования аутопойетических систем. Мы рассмотрели это для случая с обособлением коммуникативной системы общества и теперь должны попытаться прояснить ту же взаимосвязь явлений при анализе внутриобщественных отношений при формальном условии функциональной дифференциации.

Обособление оперативно замкнутых функциональных систем требует соответствующего учреждения их внутриобщественных отношений с окружающим миром. Стародавнюю привязанность общественных функций к семейным хозяйствам и к социальному расслоению соответствующих семей необходимо расторгнуть и заменить новыми формами структурного сопряжения, которые связывают функциональные системы между собой. Здесь структурное сопряжение имеет в виду еще и перестройку аналоговых (одновременных и непрерывных) отношений в цифровые, которые можно рассматривать по схеме *или/или*, пусть и при дальнейшей интенсификации определенных путей взаимной ирригации, как и при значительной индифферентности по отношению к окружающему миру. Без подобных форм структурного сопряжения обособление функциональных систем застряло бы на начальной стадии, например, на уровне отдельных корпораций или организаций. Но в той мере, в какой удается устройство структурных сопряжений, влияние всего общества на структурное развитие функциональных систем осуществляется такими способами. Поэтому долгосрочные тенденции *structural drift* функциональных систем можно объяснить, лишь принимая это во внимание. Хотя уже не существует возможности проникновения в структурные процессы извне, важную роль играет то, с какими ирригациями система может работать вновь и вновь — и какие индифферентности она может себе позволить.

В области структурных сопряжений можно проанализировать дальнейшие условия автономии функциональных систем. С одной стороны, уже само понятие говорит о том, что сопряжения обусловлены расстыковками. Это противоречит распро-

страненному воззрению, согласно которому (в продолжение взглядов Поланьи) здесь имеется альтернатива в виде *disembedding* и *embedding*.⁸ Кроме того, структурные сопряжения могут быть выражены сильнее или слабее, а следовательно, отдифференциацию можно описать как “выбор” опорных систем⁹, допускающих больше свободы. Однако же важнейшее принуждение к оперативной автономии и самоорганизации может состоять во множестве структурных сопряжений с различными сегментами окружающего мира, так как вследствие этого ни одно из таких внешних отношений нельзя наделить первенством, и проблемы узких мест становятся не столь серьезными.¹⁰ Это условие в нормальных случаях может гарантироваться функциональной дифференциацией современного общества.

Поскольку функциональных систем и, соответственно, типов отношений между ними больше, чем мы описываем, то в этом месте мы не можем представить все структурные сопряжения. Кроме того, они обладают весьма разной степенью важности. Поэтому мы удовольствуемся ссылками на несколько примеров:

(1) Сопряжение политики и хозяйства достигается, в первую очередь, через налоги и сборы. Это ничего не меняет в том, что любое распоряжение деньгами происходит в виде хозяйственного платежа. Но такое распоряжение может быть политически кондиционированным и в этом случае не ориентироваться на прибыль. Следовательно, цели использования государственного бюджета являются политическим вопросом, и если в распоряжении имеется слишком много (или мало) денег, то это служит фактором раздражения для политики. Но само применение денег подчиняется рыночным законам хозяйственной системы (ничто не дешевет и не дорожает потому, что покупается за деньги налогоплательщиков), и если “доля государства” в денежном обороте возрастает, то это имеет значительные последствия для структурного развития хозяйственной системы. В остальном государство не обязано безусловно ограничиваться взиманием налогов. Государственная задолженность, наряду с банковскими деньгами, служит с начала XVIII в. одним из

важнейших инструментов увеличения денежной массы, и это еще более верно, если государство контролирует эмиссионный банк. Поэтому и отношения между политической системой и эмиссионным банком следует рассматривать как структурное сопряжение, особенно если эмиссионный банк, с одной стороны, является независимым, т. е., например, может способствовать удорожанию государственных кредитов на денежном рынке, но, с другой, принимает во внимание и известные политические обстоятельства.

К традиционным сопряжениям в условиях XX в. добавляются новые. Демократизация политических систем в отдельных государствах делает политические успехи (успехи на выборах) зависимыми от хозяйственных конъюнктур, которые, в свою очередь, встроены в более долгосрочные структурные сдвиги в мировой хозяйственной системе. С другой стороны, уменьшается возможность контролировать эти условия успеха, исходя из региональных политических систем. Экспортная и кредитная зависимость локального производства ускользает от управления, осуществляемого с помощью государственных решений, которые, правда, еще могут вмешиваться с целью коррекции или смягчения последствий. Кроме того, утрачивает смысл классическое различие либеральной и социалистической хозяйственной политики, если речь идет только о реагирующих мерах, исходивших из одних и тех же, имеющих постоянную детерминацию фактических обстоятельств. Тем самым терпит коллапс перешедшая к нам из XIX в. партийная схема, хотя при этом никто не знает, как и чем ее можно заменить.¹¹ Если же избирателю не могут предложить никаких альтернатив, которые он может соотнести со своим повседневным опытом, или могут предложить лишь такие альтернативы, которые определяются в политическом спектре как “радикальные”, то отсутствуют важнейшие основы для регенерации готовности идентифицировать себя с выборной демократией. Поэтому политическая система должна заново формироваться в тематических областях, доступных для коллективно обязывающих решений; но пока что не видно, как это могло бы происходить.

(2) Сопряжение между правом и политикой регулируется конституцией.¹² С одной стороны, конституция привязывает политическую систему к праву с тем последствием (если это функционирует!), что противоправное поведение ведет к политическому неуспеху; с другой же стороны, конституция способствует тому, чтобы правовая система вследствие политически инспирированного законотворчества пополнялась новациями¹³, которые, со своей стороны, вновь возвращаются в сферу политики в качестве успеха или неудачи.¹⁴ В этом случае позитивизация права и демократизация политики тесно взаимосвязаны. Впоследствии это приводит к административному управлению политикой в отношении правовых и финансовых возможностей.¹⁵ Одно обуславливает другое. Право открывает пространство для концепций, которое затем делает политически возможным демократическое волеизъявление. Но каждый раз операции, рекурсивно объединенные в собственной системе в сеть, остаются разделенными. Политическое значение (сомнительность, спорность) того или иного закона является чем-то совершенно иным, нежели его правовая значимость.

Структурная сопряженность политики и права влияет со стороны “правового государства” не только на политику. Она деформирует и само конституционное право, когда последнее используется для того, чтобы юридически контролировать тенденции государства благосостояния в политике.¹⁶ В таких случаях целеориентированная государственная деятельность должна подчиняться правилам, подлежащим правосудию. Основные права – что можно нагляднее всего наблюдать в германском конституционном праве – обобщаются в программы единых для государственной деятельности ценностей, и наоборот, государственному администрированию не остается ничего иного, как перенести конкретные решения правосудия в практику управления в качестве обобщенных директив.

(3) В отношениях между правом и экономикой структурное сопряжение осуществляется через собственность и договоры.¹⁷ В своем правовом качестве эти институты предоставляют важнейшие основания для прав и обязанностей (в смысле обяза-

тельств), так что в переломную эпоху XVIII столетия можно было даже считать, будто они конгруэнтны основам права и общества вообще.¹⁸ Для экономической системы они образуют ее собственный код “иметь/не иметь” и предпосылку для собственных операций системы, для платежей в контексте сделок.¹⁹ Хотя контексты применения, а тем самым – и условия рекурсивной идентификации отдельных элементов, например, смысла платежа или правомочности притязания вследствие невыполнения договора, весьма различны, структурное сопряжение дает высокую степень взаимной ирритации систем. Только правовое разрешение и кондиционирование собственности и договора способствует мощной экспансии экономики посредством включения в нее совершенно друг другу незнакомых, не принадлежащих к одному и тому же жизненному сообществу партнеров²⁰; и наоборот, хозяйственная востребованность правовых институтов объясняет развитие правовых понятий “собственность” и “договор” на основе римских истоков по направлению к дефиниции собственности как права на распоряжение, а также по направлению к оспариваемости всех договоров на основе простого консенсуса договаривающихся сторон (*nuda pactio*). Структурное сопряжение определяет направление *structural drift* обеих систем, хотя (и в силу того, что) в них отсутствуют общие элементы. И результатом является возрастающая ирритация права со стороны экономики, что находит отражение в увеличении числа гражданских процессов наряду с экономическим ростом.²¹

(4) Научная система и образовательная система сопряжены между собой через организационную форму университетов. Самое позднее – в XIX столетии университеты разрывают связь с функциями предоставления услуг в области религиозной системы (Средневековье) или в области покрытия дефицита кадров для государства эпохи раннего Нового времени²² и теперь формируют организационное сообщество исследований и обучения, оправдывающее существенные финансовые затраты государства также и политически. Носителем исследования остается публикация, носителем обучения – интеракция в аудито-

риях и семинарских помещениях. Необходимы “университетская дидактика” или хотя бы импровизированные функциональные эквиваленты, чтобы с точки зрения обучения решить, какие научные тексты для него пригодны; но, с другой стороны, каким бы квалифицированным ни было обучение, оно не дает ни малейшей исследовательской репутации. Эти системы остаются отделенными друг от друга, но то, что они работают как бы “по совместительству”, сказывается трудно определимым образом на научных публикациях и, пожалуй, еще сильнее на известной обремененности наукой и отдаленности от практики в университетском образовании.

(5) Для связи политики с наукой вплоть до середины этого столетия довольствовались подготовкой научно образованной смены. Однако же поскольку прогресс научных исследований продвигается быстрее, чем усложняются знания занимающих государственные должности людей с университетским образованием, а одновременно растет потребность политической системы в знаниях вследствие повышения сложности ее общественной ангажированности, постольку формируются новые устройства для структурного сопряжения. Они всё больше состоят в консультациях экспертов. Как мы сегодня видим, их деятельность сегодня уже не может пониматься только как применение наличного знания. С одной стороны, они должны выдерживаться от привнесения в коммуникацию существующих в науке неопределенностей или хотя бы ослаблять их; с другой, они должны избегать предвосхищающего рассмотрения политических вопросов как вопросов науки. В их консультациях передается не авторитет, а неопределенность, а в результате возникают те проблемы, что эксперты предстают несерьезными учеными и в то же время трактуют политически инспирированные контрверзы, как если бы они были разными оценками научного знания.²³ Следствием должно было бы стать то, что к ним не относились бы ни как к ученым, ни как к политикам, воспринимая их в качестве ускорителей взаимных раздражений, в качестве механизмов структурного сопряжения.

(6) Для отношений между воспитательной системой и хо-

зяйством (здесь: как системой занятости) механизм структурного сопряжения состоит в свидетельствах и сертификатах. Решение этой проблемы, окрыленное критикой образования, ориентированного на слои, осуществилось тоже сравнительно недавно, только в XIX в.²⁴ Для школ и университетов это означает не всегда радостно приветствуемое чужеродное тело, которое, по мнению педагогов, отягощает собственную задачу воспитания или “образования”. Несмотря на это, воздействия на карьерную структуру данной системы со стороны хозяйства являются мощнейшими – по сравнению, например, с намерениями и идеалами педагогов. Хозяйство же претерпевает эти воздействия гораздо меньше, так как оно сильнее зависит от конъюнктур на рынке труда и от готовности смены к квалификационным испытаниям (к автоселекции) и, кроме того, всё больше переходит к собственному планомерному воспитанию персонала. Зависимость экономики от воспитательной системы, скорее, негативна, а именно состоит в том, что воспитательная система вообще не дает адекватного образования для многих областей, например, для современных технологий и топ-менеджмента.

Продолжать примеры не будем. Однако можно было бы назвать и дальнейшие, например, “больничный лист” в отношениях между системой медицины и хозяйством или торговлю произведениями искусства (галереи) в отношениях между системой искусства и хозяйственной системой. Кроме того, полностью завершённый анализ показал бы, что существуют такие функциональные системы, например, система религии, которые почти не образуют структурных сопряжений и поэтому неотчетливо себя ведут и при своем *structural drift*. Для некоторых выводов нам достаточно приведенных свидетельств. Прежде всего, они проясняют то, что структурные сопряжения могут функционировать лишь в качестве формы, т. е. лишь с эффектом включения и исключения. К примеру, конституция может приниматься как правовой текст, но она не функционирует, если не может справиться с антиконституционными воздействиями политической власти на правовую систему, например, в сфере полиции или в широко распространенной форме корруп-

ции.²⁵ Далее – примеры проясняют, что речь идет не о таких устройствах, которые существуют как бы в свободном парении “между” системами и не принадлежат ни к одной из них. Скорее, эти устройства учитываются каждой системой, но каждой – в разном смысле; ведь как иначе дело дошло бы до раздражений? И не в последнюю очередь, некоторым из этих устройств выпадает чрезвычайная общественная важность. Такие институты, как собственность, договор, конституция, трансляция знания (“технократия”) временами даже занимали ключевое место при описании общества. В частности, в связи с этим теория функциональной дифференциации служит тому, чтобы релятивизировать такие притязания и привлечь внимание к множеству функционально эквивалентных форм.

Наконец, необходимо учесть такую особенность, которая проявляется только при *внутрисистемных* структурных сопряжениях. Если во внешних отношениях особых операций для сопряжения не имеется (иными словами, не существует системы сопряжения, которая могла бы реализовать собственный тип операции и тем самым – собственный аутопойезис), то во внутренних отношениях все обстоит иначе. Здесь в случае с общественной системой коммуникация используется для осуществления системных сопряжений. *Структурное* сопряжение дополняется сопряжением *оперативным*. Так, врач может письменно подтвердить болезнь и выдать пациенту для его работодателя больничный лист. И, прежде всего, в кругу политической системы действуют многочисленные “системы переговоров”, собирающие вместе в форме регулярных интеракций организации, которые, в свою очередь, представляют интересы различных функциональных систем.²⁶ А в кругу фармацевтической индустрии, как показал Михаэль Хуттер, образуются “кружки диалога”, обсуждающие вопросы патентного права, возможности исследования и хозяйственные интересы.²⁷ Оперативные сопряжения не могут заменить структурных. Они их предполагают. Но они сгущают и актуализируют взаимные раздражения и таким образом позволяют осуществлять более быстрое и более согласованное пополнение информации в задействованных системах.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. IX:

- ¹ В смысле Gunther Teubner/Helmut Willke, Kontext und Autonomie: Gesellschaftliche Selbststeuerung durch reflexives Recht, Zeitschrift für Rechtssoziologie 5 (1984), S. 4-55. См. также Helmut Willke, Systemtheorie entwickelter Gesellschaften: Dynamik und Riskanz moderner gesellschaftlicher Selbstorganisation, Weinheim 1989, особо S. 111 ff.
- ² Симптоматичны здесь труды: Karl Mannheim, Man and Society in an Age of Reconstruction, London 1940 (нем. пер., Mensch und Gesellschaft im Zeitalter des Umbaus, Darmstadt 1958) или Julian S. Huxley, Evolutionary Ethics, London 1943.
- ³ Наиболее известный здесь труд – Hans Jonas, Das Prinzip Verantwortung: Versuch einer Ethik für die technologische Zivilisation, Frankfurt 1979. [Рус. пер. Йонас Ф., Принцип ответственность, М., 2004. – прим. пер.].
- ⁴ Peter Uwe Hohendahl (Response to Luhmann, Cultural Critique 30 (1995), pp. 187-192), разумеется, выражает мнение многих, когда предостерегает от того, чтобы чересчур скоро расставаться с этими надеждами. Однако же остается следующий вопрос: как перенести их и, прежде всего, как достаточно быстро и при решающих корректировках перенести их в общество модерна в его уже распознаваемом состоянии? Скепсис по отношению к возможности подлежащего индивидуального мотивировкам “общества отказа”, к которому все это сводится, см. в Richard Münch, Dynamik der Kommunikationsgesellschaft, Frankfurt 1995, особо S. 34 ff.
- ⁵ Значительное исключение, разумеется, представляет собой Макс Вебер, который может констатировать лишь трагический конфликт отношений между гетерогенными ценностями и мотивами, однако как раз поэтому он считал вынужденным *отказаться от понятия общества*.
- ⁶ Дальнейшее продолжение этой дискуссии мы находим в работе: Ditmar Brock/Matthias Junge, Die Theorie gesellschaftlicher Modernisierung und das Problem gesellschaftlicher Integration, Zeitschrift für Soziologie 24 (1995), S. 165-182. Понятие *интеграции* здесь динамизируется, т. е. интерпретируется как перенос ресурсов. Но это предполагало бы понятие *ресурса*, независимое от медиа функциональных систем.
- ⁷ Об этом см. Humberto R. Maturana/Francisco J. Varela, Der Baum der Erkenntnis: Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens, München 1987, S. 85 ff.
- ⁸ [“разукоренение” и “укоренение” (англ.) – прим. пер.]. См. например, Mark Granovetter, Economic Action and Social Structure: The Problem of Embeddedness, American Journal of Sociology 91 (1985), pp. 481-510.
- ⁹ См. Rudolf Stichweh, Der frümoderne Staat und die europäische Universität,

- Frankfurt 1991; его же, *Wissenschaft, Universität, Professionen: Soziologische Analysen*, Frankfurt 1994, особо S. 174 ff.; Niklas Luhmann, *Die Kunst der Gesellschaft*, Frankfurt 1995, S. 256 ff.
- ¹⁰ Сравнительный анализ систем организации мы находим в работе: Gordon Donaldson/Jay W. Lorsch, *Decision Making at the Top: The Shaping of Strategic Direction*, New York 1983. Финансовое самоуправление предприятия соблюдает отношение к различным *constituencies* и зависит от того, что ни одному из подобных внешних отношений не достается господствующая роль.
- ¹¹ Об этом см. также: Niklas Luhmann, *Politik und Wirtschaft*, Merkur 49 (1995), S. 573-581.
- ¹² Об этом подробнее: Niklas Luhmann, *Verfassung als evolutionäre Errungenschaft*, *Rechtshistorisches Journal* 9 (1990), S. 176-220; его же, *Das Recht der Gesellschaft*, Frankfurt 1993, S. 468 ff. См. также его же, *Zwei Seiten des Rechtsstaates*, in: *Conflict and Integration: Comparative Law in the World Today: The 40th Anniversary of the Institute of Comparative Law in Japan* Chuo University 1988, Tokyo 1989, S. 493-506.
- ¹³ См. об этом удачное понятие "политического закона" в работе: Franz Neumann, *Die Herrschaft des Gesetzes: Eine Untersuchung zum Verhältnis von politischer Theorie und Rechtssystem in der Konkurrenzgesellschaft*, Frankfurt 1980.
- ¹⁴ Поучительная монография об этом: Vilhelm Aubert, *Einige soziale Funktionen der Gesetzgebung*, in: Ernst E. Hirsch/Manfred Rehbinder (Hrsg.), *Studien und Materialien zur Rechtssoziologie*, Sonderheft 11/1967 der *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie*, Köln 1967, S. 284-309.
- ¹⁵ Диагноз (сегодня слегка устаревший) этого развития мы находим в работе: Zoltán Magyary, *The Industrial State*, New York 1938.
- ¹⁶ Об этом см.: Dieter Grimm, *Die Zukunft der Verfassung*, Frankfurt 1991.
- ¹⁷ Подробнее см.: Niklas Luhmann, *Das Recht der Gesellschaft* a. a. O., S. 452 ff.
- ¹⁸ Об этом особо см.: Niklas Luhmann, *Am Anfang war kein Unrecht*, in: его же, *Gesellschaftsstruktur und Semantik*, Bd. 3, Frankfurt 1989, S. 11-64.
- ¹⁹ Об этом см.: Niklas Luhmann, *Die Wirtschaft der Gesellschaft*, Frankfurt 1988.
- ²⁰ См., например, David Hume, *A Treatise on Human Nature* Book III, Part II, цит. по изд. *Everyman's Library* London 1956, Vol. 2, pp. 190 ff. [Давид Юм, *Трактат о человеческой природе*, М. 1995, с. 237-350 – прим. пер.].
- ²¹ Пока еще малоисследованная область. Однако см.: Christian Wollschläger, *Zivil-Prozessstatistik und Wirtschaftswachstum in Rheinland von 1822 bis 1915*, in: Klaus Luig/Detlev Liebs (Hrsg.), *Das Profil des Juristen in der europäischen Tradition: Symposion aus Anlaß des 70.*

- Geburtstages von Franz Wieacker, Ebelsbach* 1980, S. 371-397.
- ²² Об этом развитии см.: Rudolf Stichweh, *Der frühmoderne Staat und die europäische Universität: Zur Interaktion von Politik und Erziehungssystem im Prozeß ihrer Ausdifferenzierung*, *Rechtshistorisches Journal* 6 (1987), S. 135-151; его же, *System/Umwelt-Beziehungen europäischer Universitäten in historischer Perspektive*, in: Christoph Oehler/Wolf-Dietrich Webler (Hrsg.), *Forschungspotentiale sozialwissenschaftlicher Hochschulforschung*, Weinheim 1988, S. 377-394; его же, *Der frühmoderne Staat und die europäische Universität: Zur Interaktion von Politik und Erziehungssystem im Prozeß ihrer Ausdifferenzierung (16.-18. Jahrhundert)*, Frankfurt 1991.
- ²³ Опыт такого рода встречается сегодня преимущественно в областях типа "technology assessment", оценка рисков, прогнозы на будущее. Из обширной литературы см., например: Peter Weingart, *Verwissenschaftlichung der Gesellschaft – Politisierung der Wissenschaft*, *Zeitschrift für Soziologie* 12 (1983), S. 225-241; Arie Rip, *Experts in Public Arenas*, in: Harry Otway/Malcolm Peltu (ed.), *Regulating Industrial Risks: Science, Hazards and Public Protection*, London 1985, pp. 94-110; Hans-Joachim Braczyk, *Konsensverlust und neue Technologien*, *Soziale Welt* 37 (1986), S. 173-190; далее, что касается весьма похожих отношений между системой науки и системой права, см.: Roger Smith/Brian Wynne, *Expert Evidence: Interpreting Science in the Law*, London 1989.
- ²⁴ Относительно программного импульса см., например, Robert von Mohl, *Über Staatsdienstprüfungen*, *Deutsche Vierteljahrschrift* 4 (1841), S. 79-103.
- ²⁵ О следующем отсюда чисто правовом использовании конституций см.: Marcelo Neves, *Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne: Eine theoretische Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasilien*, Berlin 1992; его же, *A Constitucionalização Simbólica*, São Paulo 1994.
- ²⁶ По этой часто дискутируемой теме см., например: Helmut Willke, *Systemtheorie III: Steuerungstheorie: Grundzüge einer Theorie der Steuerung komplexer Sozialsysteme*, Stuttgart 1995, S. 109 ff.
- ²⁷ Так в работе: Michael Hutter, *Die Produktion von Recht: Eine selbstreferentielle Theorie der Wirtschaft, angewandt auf den Fall des Arzneimittelpatentrechts*, Tübingen 1989.

Х. ИРРИТАЦИИ И ЦЕННОСТИ

Осуществление функциональной дифференциации как первичной формы общественной дифференциации глубинным образом изменяет отношения систем с окружающим миром, и притом как общей системы “общество”, так и ее частных систем. Для описания этого изменения мы, предполагая структурные сопряжения, используем понятие *ирритации*.¹ Наш тезис состоит в том, что переход к этой форме дифференциации повышает способность общества к ирритации, усиливает его способность стремительно реагировать на изменения внешнего мира, но в то же время за это приходится платить широкомасштабным отказом от координирования ирритаций. И тогда на нескоординированность ирритаций общество может реагировать лишь опять-таки ирритацией, а не, например, решением проблемы чрезмерной ирритации посредством центрального контроля. Ведь если бы такое центральное планирование и регулирование было возможным, то это весьма быстро ограничило бы ирритируемость общества форматом способности обработки информации в соответствующем месте (собственно говоря, здесь можно иметь в виду только организацию), что свело бы на нет преимущество, достигнутое повышением ирритируемости. В тенденции обработка информации переводится с предвосхищающей модели на реактивную² (хотя при растущей сложности может усиливаться взаимодействие обеих моделей).

В староевропейской традиции на соответствующем функциональном месте использовалось понятие “*admiratio*”.³ В этом понятии сведены воедино удивление (*Ver-wunderung*) и восхищение (*Be-wunderung*). Поводом для него служит появление чего-либо “нового” как отклонение от ожидавшихся непрерывности и повторения. Тем самым *admiratio* мыслится как исключение. И описывается оно как недифференцированное состояние (страсть), нерешенное в отношении к *истинному/неистин-*

ному, как нечто еще не закодированное бинарно. Производить *admiratio* – если оно не возникает само собой, затем пробуждая религиозное переживание, – дело искусства. Как бы там ни было, существуют подходящие случаи или действия, которые в соответствии с этой семантикой вызывают ирритации. Речь пока не идет о непрерывной самоирритации общества, но переходы здесь всегда возможны.

Современное понятие “ирритации” (или “пертурбации”) относится к ситуациям функционального характера, но реагирует на другую форму общественной дифференциации. Оно находит себе теоретическое место в тезисе о взаимосвязи оперативной замкнутости (аутопойезиса) и структурного сопряжения системы и окружающего мира. Воздействия внешнего мира на систему, которые, разумеется, происходят ежемгновенно в гигантских масштабах, не могут детерминировать систему, так как всякая детерминация системы может осуществляться только в рекурсивной сети ее собственных операций (т. е. в данном случае только через коммуникацию) и в этой связи остается привязанной к собственным структурам системы, которые делают возможными такую рекурсивность и соответствующие оперативные последовательности (структурная детерминация). В соответствии с этим, ирритация есть положение системы, которое побуждает к продолжению аутопойетических операций системы, но, будучи всего лишь ирритацией, поначалу не дает ответа на вопрос, должны ли для этого изменяться структуры – т. е. будут ли посредством дальнейших ирритаций вводиться процессы обучения, или же система сможет полагаться на то, что ирритация со временем исчезнет сама собой, поскольку является лишь однократным событием. В том, что обе возможности остаются открытыми, заключается гарантия для аутопойезиса системы и в то же время гарантия ее способности эволюционировать. Но аутопойезис не зависит от обучаемости системы, что было бы фатально. В то же время это соображение показывает (и это верно уже для организмов), что усиление способности к ирритации связано с *повышением* обучаемости, т. е. со способностью увеличивать исходную ирритацию в системе

и при согласовании с наличными структурами порождать дальнейшие ирритации до тех пор, пока ирритация не будет поглощена приспособившимися структурами.

Чтобы оставаться открытыми для ирритации, смысловые структуры устроены так, что они образуют горизонты ожидания, которые считаются с избыточностями, т. е. с повторениями одного и того же в других ситуациях. В таком случае ирритации регистрируются в форме обманутых ожиданий. При этом речь может идти о позитивных и негативных, о радостных и печальных неожиданностях. В обоих случаях речь идет, с одной стороны, о моментальных несообразностях, которые могут и забываться; последовательности же не замечаются или вытесняются. С другой стороны, ирритация может заявить и о собственной повторяемости и на этом уровне вступить в противоречие со структурами ожидания системы. Посредством системной дифференциации производятся весьма разнообразные горизонты ожидания, а также весьма разнообразные промежутки времени, в продолжение которых будущее заслуживает внимания уже в настоящем; и наконец, весьма различные ритмы и частоты возможной повторяемости. Это и является причиной, по которой функциональная дифференциация приводит к гигантскому повышению ирритации общественной коммуникации, но в то же время в нормальных случаях ограничивает ожидания обучаемости уровнем одной из функциональных систем и при этом оставляет открытым, будет ли эта система, вследствие изменений в ее структурах и операциях, подвергать ирритации другие системы.

Из всего этого следует, что ирритации никогда не могут быть относимы на счет "внешнего мира" (как единства), но требуют установления определенных источников помех и иначе не воспринимаются. Стало быть, это понятие зиждется не на общем отношении *система/внешний мир*, а на отношениях *система-система*, что служит причиной, по которой ирритации, воспринимаемые в некоем обществе, изменяются вместе с формами системной дифференциации.

Теоретический конструкт, состоящий из таких компонентов,

как аутопойезис, структурное сопряжение и ирритация, в отличие от прежних теорий систем, разработанных с помощью теории моделей или посредством математики, не предполагает такого состояния равновесия, в которое система возвращается после произошедших возмущений. Во всяком случае, можно было бы думать о том, что система имеет двоякую возможность реагировать: посредством негативной обратной связи (устранение различия, возникшего вследствие возмущения) или позитивной обратной связи (усиление отклонения). Тем самым мы уже оказались бы по соседству с эволюционно-теоретическими концепциями и могли бы предполагать исходное состояние чисто исторически (т. е. не структурно: не как равновесие). Понятие ирритации усиливает тенденцию к развитию этой теории. Оно соответствует переходу к теории нетривиальных машин (Хайнц фон Фёрстер) и переходу от структурной стабильности к динамической.

В любом случае ирритация является собственным состоянием системы, не имеющим соответствия в окружающем мире системы. Если на какой-либо системе мы наблюдаем ирритацию, то мы не можем отсюда сделать вывод, будто соответствующую ирритацию получает и окружающий мир; и даже заключать к тому, что состояние окружающего мира, вызывающее ирритацию, является проблемой для окружающего мира (но для кого тогда?). А "pollution" is a creation of human judgment⁴. Озоновая дыра, утонувшая подводная лодка с ядерным приводом, "погибающие" леса не ирритируемы сами собой. Окружающий мир таков как он есть. Итак, об ирритации в точном смысле можно говорить только с указанием системы. Это можно узнать уже по тому, что само это понятие уже предполагает различие, которое может иметься только в некоей системе, а именно – отличие нормальной, структурно прописанной последовательности операций от ситуации с неясными последствиями и непредопределенным переходом к примыкающим операциям.⁵ Это различие (а тем самым и "форма" ирритации) выступает в смысловых системах как различие семантическое. Оно делает возможным обозначать ирритацию, например, как проблему, а

при случае – и как амбивалентность, как неясность, которую, вполне вероятно, можно оставить без внешнего обоснования. Это различие представляет собой форму, в какой та или иная смысловая система реагирует на воздействия из окружающего мира, а тем самым – на то, что имеет место на совершенно иных уровнях реальности (например, на химическом или же на уровне сознания) или даже в других функциональных системах, недоступных для данной системы в силу ее оперативной замкнутости.

Этот пересмотр понятий реагирует также на изменение установок на общественный прогресс. Он дает повод для сомнений: можно ли переносить на общественную систему модель разделения труда, которая приносит избыточные доходы. В этой модели исходили из того, что дифференциация является рациональной с точек зрения функциональной спецификации, так как она способствует более производительному изготовлению товаров и позволяет сэкономить на затратах – лишь бы рынок, для которого ведется производство, был достаточно велик и справлялся с товарным предложением. При этом необходимо думать не только о хозяйственных благах, но и, к примеру, еще и о здоровье, или научном познании или образовании. И все-таки усиление способности к раздражению – это нечто совсем иное, нежели повышение производительности. Можно согласиться с тем, что функциональная дифференциация влечет за собой эффекты разгрузки и, например, – в соответствии с собственными для каждой функциональной системы критериями – способствует совершенствованию науки (больше познаний), совершенствованию хозяйства (больше благосостояния), совершенствованию политики (больше демократии, лучшая согласованность мнений), улучшению здоровья, улучшению воспитания для большего количества людей и т. д. Это неоспоримо. Но изначальная ориентированность на *внутриобщественные* функции и достижения упускает из виду ту проблему, которая и тематизируется понятием *ирритации*, а именно – отношение между системой и окружающим миром, или, точнее говоря: проблему *re-entry*, повторного ввода, различия между системой и

окружающим миром в систему. Т. е. проблему рациональности не производительности, а системы.

Усилия, первоначально направленные на повышение производительности, имеют в качестве побочного эффекта еще и усиление чувствительности функциональных систем к окружающему миру. Так, позитивное право может перестраиваться на новые потребности регулирования, политика может непрерывно включать новые темы. Хозяйство может по-новому регулировать денежные потоки, а образовательная система – вводить новые учебные и экзаменационные предметы. Масс-медиа каждый день нуждаются в обновляющихся новостях, искусство и наука понимают себя исходя из различия по отношению к уже наличному. По крайней мере на программном уровне повсюду можно констатировать ускорение изменений; и повсюду имеются профессии и организации, обязанностью которых является инициировать изменения и которые должны реагировать мощнейшей ирритацией и становиться активными, если наступает застой. Это – непосредственный результат дифференциации кодирования и программирования. В пока не подвергавшемся дальнейшей рефлексии актуальном языковом употреблении инновация по-прежнему считается чем-то позитивным и достойным поощрения. Между тем мы видим и то, что в значительной мере это приводит к самоирритации общества, а в конечном итоге – к ирритации посредством ирритации. Немаловажный индикатор этого – в том, что теоретики организации (подобное верно и для теории науки) наблюдают, что решения проблем находятся в поисках самих проблем, явившихся бы предметом этих решений, чтобы обрести свой собственный смысл и по возможности выйти на другие, функционально эквивалентные решения проблем.⁶ Или то, что самоирритация системы посредством схемы *проблема/решение проблемы* отвлекает от того, что фактически разрабатывается конфликтное, соотношенное с интересами самоописание системы.⁷

Встречное наблюдение учит нас, что таким способом и усиливается давление проблемы, и в то же время все более затрудняется отношение общественной системы с ее окружающим

миром. Каналы ирритации, очевидно, поглощают слишком много, но недостаточно – проблемы. Если бы речь шла только о ложных постановках проблем (на что многие надеются и полагаются), то дело было бы поправимым. Но уверены ли мы в этом? Ведь может случиться и так, что за процессуальным понятием ирритации кроется парадокс, а именно – парадокс единства различия системы и окружающего мира; и тогда речь пошла бы о развертывании того основного (невидимого) парадокса, который, будучи разрешен, со своей стороны принимает парадоксальные формы, формы бурного застоя, такого планирования изменения, которое вызывает неконтролируемую эволюцию, прилив ирритации, что не затихает, не отрабатывается, но как бы деирритируется в ирритации других систем.

Что бы ни сохранялось из этой теоретической конструкции, наглядно видно, что численно поводы для ирритации из внешнего мира общественной системы за последние десятилетия драматически возрастают – и притом как раз на экранах самого общества. Это имеет место, по меньшей мере, в трех отношениях:

– к вызванным техникой и перенаселенностью экологическим проблемам окружающего мира природы;

– к самому росту населения, т. е. к стремительному приумножению человеческих тел и их неконтролируемым перемещениям; и

– ко все более индивидуализируемому, все “своенравнее” формируемому ожиданиям индивидов, устремленным к счастью и самореализации.

Все эти разновидности недостаточности – как легко видеть – являются непосредственным или косвенным последствием современной общественной эволюции, т. е. перехода к функциональной дифференциации. С одной стороны, вследствие высвобождения функциональных систем для собственной динамики уровень ирритации общества возрос настолько, что уже не поддается никакой координации и через взаимную ирритацию функциональных систем переходит в самоирритацию общества. С другой же стороны, в связи становится совершенно очевидно, что несмотря на то, что также возрастающие расхождения в

отношении общественной системы к своему внешнему миру и заметны в коммуникации, у них нет удовлетворительных решений. Непрестанно вновь и вновь поставленная информация делает расхождения между ирритацией и средствами по ее разрешению повсеместными. Функциональная дифференциация в своих воздействиях сильнее вмешивается в окружающий мир, но она не заботится о централизованной общественной переработке последствий. Она рассеивает обратные воздействия в обществе, распределяет ирритации по отдельным функциональным системам, потому что только от них можно ожидать действительной разрешения ирритаций.⁸ Тем насущнее становится необходимость придать проблеме рациональности форму *re-entry* проблемы. Это приводит к вопросу: может ли общество *внутренне* настраиваться на свой *внешний мир* – или хотя бы только на изменения своего внешнего мира, которые само оно порождает? Но как раз *re-entry* – по форме – также представляет собой парадокс: копирование различия как *того же самого* в *иное*.

Усилия, предпринимаемые в этом отношении сегодня, вряд ли можно считать целесообразным решением этой проблемы, но лишь эволюционным изменением (включая новообразования) структур, реагирующих на заданную ситуацию. К этим эпигенетически эволюционирующим формам причисляется, прежде всего, неожиданное новое возникновение жестких различий и границ, которые способствуют формированию идентичности, и потому могут отбрасываться.⁹ Это мы наблюдаем на возвращении этнических различий в мнимо умиротворенных государствах регионах, а также в оживлении религиозного фундаментализма в мировом обществе, которое, как правило, описывается как “секуляризованное”.¹⁰ В обоих случаях нам приходится иметь дело с процессами изоляции, с установлением миноритарных отношений между инклюзией и эксклюзией, предлагающих места для непреложной идентичности, не учитывая достижений функциональных систем и их организаций. (То, что при этом некоторую роль играют и всепроникающие медиа функциональных систем, например, деньги или организованная ведомственная власть, разумеется, неоспоримо, но они

не выступают здесь в качестве предложений идентичности). Определенное значение имеют расовые различия, а также “gender trouble”, и не в последнюю очередь — сильно мотивированная ксенофобия, подпитываемая демографическими движениями, которые, со своей стороны, выступают в качестве неконтролируемых побочных воздействий функциональных систем, имеющих весьма разный успех в зависимости от регионов.

И поскольку речь идет об идентичности, речь также идет и о насилии. Жесткие границы собственных областей никоим образом не сообразованы с границами функциональных систем. Они служат предметом экспрессивной коммуникации, и постоянная готовность перейти к насилию — как когда-то в мире исчезающей аристократии — вероятно, является наиболее выразительным средством, с помощью которого можно показать экзистенциальную ангажированность. Само собой разумеется, мы говорим не о психологических фактах. Что при этом думает индивид, остается неизвестным. Насилие также и прежде всего представляет собой первостепенное коммуникативное событие как раз потому, что оно учит бояться.

Во всех названных случаях речь не в последнюю очередь идет о том, чтобы продемонстрировать неирритируемость. Неирритируемость также оказывается решением и на совершенно ином, сравнительно безобидном уровне коммуникации: когда настаивают на этических принципах или непреложных ценностях.¹¹ Здесь бросается в глаза, в первую очередь, то, что академические дискуссии, опирающиеся на эту терминологию, заводят в тупик как в этике морального обоснования, так и в философии ценностей, а если и продолжаются, то только на популярном уровне.¹² Как будто бы таким образом реагируют на потребности, ставшие настоятельными. При социологическом анализе, однако, заметно, что здесь не хватает предварительной подготовки к переводу неирритируемых постулатов в социальную реализацию и даже недостает самого понимания этой проблемы. Какие бы обоснования у этики ни были, она обращается к решающим проблемы индивидам. Но людей, одновременно занимающихся решением проблем, так много (и ока-

жется еще больше, если расширить временные промежутки), что просто не видно, как вообще может осуществляться социальная координация.¹³ Если же этика требует, к примеру, отказа от привычного уровня потребления в интересах окружающего мира или в интересах справедливого в мировом масштабе распределения благ, то совершенно не видно, как этой цели можно достичь через индивидуальную мотивацию. Что остается — так это определенный пессимизм¹⁴, констатирующий, что общество не удовлетворяет этическим требованиям и, опираясь на эту констатацию, совершающий коммуникативно успешные действия. Если же мы спросим, как настаивание на неирритируемости соотносится с ирритируемостью социальных систем, то опять придем к парадоксу о единстве различия, которое можно использовать лишь с одной или с другой его стороны.

Поскольку полагаясь на этику здесь трудно обрести твердую почву под ногами, с неопределенностью в связи с некоординируемой длительной ирритацией пытаются справиться на уровне “ценностей”.¹⁵ Ценности компенсируют “утрату реальности”, проступающую при переходе к модусу наблюдения второго порядка. Для этого они формулируют предпочтения и исходя из них оценивают реальность. Как раз потому, что это — только предпочтения, их можно жестко зафиксировать, если в коммуникации удастся настоять на их непротиворечивости. Ценности и предпочтения в текущей коммуникации можно принять за “inviolable level” (Хофстедтер) и тем самым еще раз превзойти ставшую случайной реальность.

Это происходит с помощью определенной коммуникационной техники. Ценности в коммуникации предполагаются, передаются совместно с прочим, но не становятся предметом коммуникации. Они активируются только в качестве предпосылок, но не утверждений. Поэтому ценностно-ориентированная текущая коммуникация не усматривает повода к тому, чтобы на утверждение какой-либо ценности отреагировать ее принятием, отклонением или модифицирующим “да, но...”. Сами по себе ценности суть, прежде всего, лишь предпочтения. Только путем сложных исторических смысловых сдвигов, начи-

ная с XIX в., в понятие ценности стали встраиваться и социальные требования. Так, когда женщины требуют отношения к себе на равных, то одновременно этим дается понять, что другие должны это признать, не ставя на обсуждение саму посылку “равенство есть ценность”. Тем самым выражается больше, чем просто предпочтение, и происходит это в форме, которая при типичном темпе коммуникации, в свою очередь, не становится темой коммуникации. Таким образом бремя сложности сдвигается на того, кто пожелает высказать возражение. Причем этот возражающий, пожалуй, отнюдь не будет оспаривать ценность равенства как такового, но просто потребует рассмотрения и других точек зрения. А это слишком сложно и не оправдывает себя применительно к частным случаям. Так ценности и устаиваются.

Ценности не содержат никакого правила на случай конфликта между ними. Как часто утверждается, не существует транзитивного или иерархического порядка ценностей. Именно потому, что любой порядок ценностей скрывает “strange loops”^{**}, в силу чего постоянно ослабевает, он и утверждается как “inviolable level”.¹⁶ В этом смысле не может быть абсолютных ценностей, получающих первенство в любой ситуации. Абстрагирование многочисленных ценностей в форме единичных предпочтений может лишь означать, что те или иные из них непрерывно должны уступать или отводиться на задний план. Чем больше ценностей, тем труднее исходя из них принять решение. Однако же не следует упускать из виду важное преимущество такой семантики ценностей. Поскольку ценности входят в коммуникацию и предстают в форме “оправданных” интересов, они запечатлеваются в памяти системы. Случаи отклонения и отвода ценностей сохраняются в памяти и могут вновь стать обсуждаемыми при ближайшем подходящем случае. При этом не оспаривается оправданность первоустановления, ценность ценностей, а непринятие какой-либо ценности во внимание не будет просто забываться. Расхожие ценности сдвигают, иными словами, нормальный баланс между забвением и (в виде исключения) запоминанием по направлению к запоминанию. И с течением

нием времени это в известной мере компенсирует то, что сами по себе ценности не являются программами решений.

Абсолютные ценности в связи с таким положением вещей принимают своеобразную форму: это ценности с отрефлексированным соперничеством. Так как приверженцы таких ценностей уже знают, кто будет их противниками, они не видят повода для уступчивости. Для них существуют только победы и поражения – тем более что они могут быть уверены, что ценность, которую они представляют, не может оспариваться в качестве ценности.

Все это может оставаться маргинальными явлениями, близкими к тем разновидностям фанатизма и фундаментализма, что постоянно воспроизводятся в гиперирритирующем себя обществе. И тогда те же конфликты ценностей, в конечном итоге, вновь преобразуются в ирритации, а ирритации – в нагрузку решений. На жесткость различений, используемых для определения идентичности, на провозглашения принципов этики и на подтасовку ценностей функциональные системы могут опять-таки реагировать ирритацией. Ксенофобия может перерасти в политическую и правовую проблему, этнические конфликты могут понижать хозяйственный потенциал и влиять на финансовые потоки. Гендерные проблемы перерабатываются в карьерные, а религиозный радикализм воспринимается как проблема для демократизации политики. Опора на этические проблемы или на неоспоримые ценности может усиливаться в повседневном языковом употреблении и оказывать помощь в формулировках в разнообразнейших ситуациях: при формулировании партийных программ или при принятии решений в верховных судах, при оглашении уставов фирм или при подготовке законов. Как тогда разрешаются уже наличествующие проблемы (как система “ассимилирует” в смысле Пиаже этическую ирритацию) – другой вопрос. Словом, речь идет о косвенных тематизациях в неконгруэнтных перспективах. Только если мы встаем на сторону и без того перегруженных ирритацией функциональных систем, тем не менее усматривая в них единственную надежду, мы сможем оценить их попытки трансформировать ир-

ритации в структуры ожидания как перспективу решения, среди прочего, и соответствующих проблем окружающего мира. В этом отношении сегодня мы можем питать некоторый оптимизм. Как бы там ни было, отчетливо вырисовываются границы возможности в полной мере нормализовать эволюционную не-вероятность этой функционально ориентированной формы общественной дифференциации.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. X

- ¹ Для анализа на уровне организма см., в добавление к Пиаже, Jean Claude Tabary, *Interface et Assimilation: Etat stationnaire et accomodation*, *Revue internationale de systématique* 3 (1989), pp. 273-293. См. также Jean-Baptiste Pierre Antoine de Monet de Lamarck, *Philosophie zoologique*, Paris 1809, новое изд. Weinheim 1960, Bd. I, S. 82 ff.
- ² См. Karl E. Weick, *Sensemaking in Organizations*, Thousand Oaks Cal. 1995.
- ³ Наилучшую краткую информацию об этом дает Ст. 53 "L'admiration" в Декартовых "Страстях души" (цит. по *Œuvres et Lettres*, éd. de la Pléiade, Paris 1952, p. 723f.).
- ⁴ Так у Keith Hawkins, *Environment and Enforcement: Regulation and the Social Definition of Pollution*, Oxford 1984, p. 15, подробнее 23 ff. Вместо *judgment* мы будем говорить о коммуникации.
- ⁵ "Загрязнение" – плод человеческого рассудка (англ.) – прим. пер.
- ⁶ В этом месте мы остановимся на таком различии. Однако же надо иметь в виду, что отнесение по одну или другую сторону различия в системе происходит само, а не согласно общепринятым и как бы онтологически уже установленным критериям. Это служит предпосылкой к тому, что мы вообще можем говорить о повышении способности систем к ирритации.
- ⁷ См. James G. March/Johan P. Olsen, *Ambiguity and Choice in Organizations*, Bergen, Norway 1976.
- ⁸ См. Martha S. Feldman, *Order Without Design: Information Production and Policy Making*, Stanford 1989.
- ⁹ См. Niklas Luhmann, *Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?*, Opladen 1986.
- ¹⁰ Дирк Беккер в докладе, сделанном на семинаре в Билефельдском университете (24. 11. 92), связывает с этим надежду, что благодаря этому смогут лучше разрешаться и проблемы окружающего мира.
- ¹¹ По этому вопросу см. сравнение исламского и американского (протестантского) фундаментализма у Dieter Goetze, *Fundamentalismus, Chiliasmus, Revitalisierungsbewegungen: Neue Handlungsmuster im Weltsystem?*, in: Horst Reimann (Hrsg.), *Transkulturelle Kommunikation und Weltgesellschaft: Theorie und Pragmatik globaler Interaktion*, Opladen 1992, S. 44-59. Сравнение убедительно показывает, что фундаментализм невозможно свести к соответствующим традициям, с какими отождествляют себя их приверженцы. Речь идет не о "survivals" [пережитки], но о новообразованиях, находящихся в поисках оппозиции.
- ¹² гендерные проблемы (англ.) – прим. пер.
- ¹³ В этой связи следовало бы упомянуть принятую с большой симпатией теорию дискурса Юргена Хабермаса, которая не может быть сведена к какому-либо варианту "этики". Как известно, она делает упор на разумно достижимом взаимопонимании и при этом проблематика критериев остается открытой.
- ¹⁴ Об этом см. также Niklas Luhmann, *Wirtschaftsethik – als Ethik?* in: Josef Wieland (Hrsg.), *Wirtschaftsethik und Theorie der Gesellschaft*, Frankfurt 1993, S. 134-147.
- ¹⁵ Надо еще заметить, что в качестве политической природы человека это предполагалось уже в античном понятии "этос"; в соответствии с ним, индивиду следовало познавать только собственную природу. В трансцендентальной философии настаивали на определенных, равных для всех эмпирических людей, трансцендентальных условиях возможности. Этому же следовала гипотеза "социального априори" (Макс Адлер). Однако же именно в этом моменте социологический вопрос был оторван от эмпирических возможностей социального – еще только должного быть осуществленным – согласования поведенческих предпосылок (на основе неирритируемости).
- ¹⁶ Гегель, вероятно, писал с позиции растроганности, посредством которой индивид самоутверждается в хорошем настроении. Об этом см. "Лекции по философии религии", цит. по *Werke* Bd. 16, Frankfurt 1969, S. 172 ff. До тех пор, пока мы будем соотносить "этику" с индивидуальным поведением и эмпирически всерьез принимать понятие индивида, мы едва ли выйдем за подобные рамки.
- ¹⁷ Конечно, это опять-таки можно называть "этикой"; но очевидно, что это будет злоупотреблением правом традиции и послужит лишь тому, чтобы воспрепятствовать более точному анализу своеобразных разновидностей коммуникации с учетом ценностей.
- ¹⁸ ненарушаемый уровень (англ.) – прим. пер.
- ¹⁹ странные петли (англ.) – прим. пер.
- ²⁰ Наша формулировка использует терминологию из работы: Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: *An Eternal Golden Braid*, Hassocks, Sussex UK 1979, – с намерением деконструировать еще и это различие.

стантского) фундаментализма у Dieter Goetze, *Fundamentalismus, Chiliasmus, Revitalisierungsbewegungen: Neue Handlungsmuster im Weltsystem?*, in: Horst Reimann (Hrsg.), *Transkulturelle Kommunikation und Weltgesellschaft: Theorie und Pragmatik globaler Interaktion*, Opladen 1992, S. 44-59. Сравнение убедительно показывает, что фундаментализм невозможно свести к соответствующим традициям, с какими отождествляют себя их приверженцы. Речь идет не о "survivals" [пережитки], но о новообразованиях, находящихся в поисках оппозиции.

гендерные проблемы (англ.) – прим. пер.

¹¹ В этой связи следовало бы упомянуть принятую с большой симпатией теорию дискурса Юргена Хабермаса, которая не может быть сведена к какому-либо варианту "этики". Как известно, она делает упор на разумно достижимом взаимопонимании и при этом проблематика критериев остается открытой.

¹² Об этом см. также Niklas Luhmann, *Wirtschaftsethik – als Ethik?* in: Josef Wieland (Hrsg.), *Wirtschaftsethik und Theorie der Gesellschaft*, Frankfurt 1993, S. 134-147.

¹³ Надо еще заметить, что в качестве политической природы человека это предполагалось уже в античном понятии "этос"; в соответствии с ним, индивиду следовало познавать только собственную природу. В трансцендентальной философии настаивали на определенных, равных для всех эмпирических людей, трансцендентальных условиях возможности. Этому же следовала гипотеза "социального априори" (Макс Адлер). Однако же именно в этом моменте социологический вопрос был оторван от эмпирических возможностей социального – еще только должного быть осуществленным – согласования поведенческих предпосылок (на основе неирритируемости).

¹⁴ Гегель, вероятно, писал с позиции растроганности, посредством которой индивид самоутверждается в хорошем настроении. Об этом см. "Лекции по философии религии", цит. по *Werke* Bd. 16, Frankfurt 1969, S. 172 ff. До тех пор, пока мы будем соотносить "этику" с индивидуальным поведением и эмпирически всерьез принимать понятие индивида, мы едва ли выйдем за подобные рамки.

¹⁵ Конечно, это опять-таки можно называть "этикой"; но очевидно, что это будет злоупотреблением правом традиции и послужит лишь тому, чтобы воспрепятствовать более точному анализу своеобразных разновидностей коммуникации с учетом ценностей.

ненарушаемый уровень (англ.) – прим. пер.

странные петли (англ.) – прим. пер.

¹⁶ Наша формулировка использует терминологию из работы: Douglas R. Hofstadter, Gödel, Escher, Bach: *An Eternal Golden Braid*, Hassocks, Sussex UK 1979, – с намерением деконструировать еще и это различие.

XI. СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Многочисленные проблематичные последствия функциональной дифференциации и некорректируемой оперативной автономии функциональных систем неоднократно описывались и ставились в вину обществу модерна. Самое известное обвинение, конечно же, – невозможность для мировой хозяйственной системы справиться с проблемой справедливого распределения достигнутого благосостояния. Аналогичные последствия можно обнаружить и для других функциональных систем. Так, сконцентрированная на школах и университетах система образования привела к значительному удлинению времени обучения для молодежи. Молодежь уже давно могла бы вести производственную деятельность и вступать в брак вместо того, чтобы продолжать возиться с обучением в высших учебных заведениях ради улучшения исходной позиции на старте профессиональной карьеры. Политическая система вовлекает с помощью политических партий людей в политику, которые затем – из чистой необходимости чем-либо заняться – осчастливливают народ непрофинансированными благодеяниями. Ожидания, предъявляемые к интимным отношениям (с паролем: *брак по любви*), завышаются настолько, что, в конечном счете, чтобы решиться на них, оказываются необходимы особые мотивы, а в последующей семейной жизни возникает значительная потребность в терапии, так что дело часто доходит до разводов и новых поисков.

Названные примеры показывают, что функциональные системы общества отягощают самих себя – а тем самым и общество! – проблемами, возникающими вследствие их собственного обособления, специализации и ориентации на высокую эффективность. Однако же это лишь одна из тем, на которую следует обращать внимание в отношении социальных последствий функциональной дифференциации. Другая тема касается отношений общественной системы с внешним миром, а в нашем случае, прежде всего, отсутствия центральной инстанции, в чьей

компетенции находились бы такие проблемы. Сигналы, которые порождает окружающий мир, а общество преобразует в информацию, воспринимаются и обрабатываются только в отдельных функциональных системах, так как других возможностей не существует. Можно подумать о протестных движениях – мы еще к ним вернемся – но это ничего не меняет в том, что всякий раз лишь одна частная система общества ощущает себя затронутой и реагирует на основании собственных структур, собственной памяти и в рамках собственных оперативных возможностей. Само же общество действовать не может. Оно не входит в общество вторичным образом и – когда проведена функциональная дифференциация – не может быть и представлено в обществе. В обществе нет “хорошего общества”, нет аристократии, нет особо отмеченной формы городского (гражданского) образа жизни, к которой можно было бы обратиться. Поэтому возможность “этически” решить проблемы окружающего мира – чересчур удобная иллюзия, хотя формулирования воззваний, конечно, возможны и даже полезны, так как они служат сохранению осознания проблемы.

Дело в том, что отдифференциация всякой системы всегда порождает сразу и систему, и внешний мир, так как системы могут образовываться лишь как формы, предполагающие другую сторону, “unmarked space”. Кроме того, системы, ориентированные на смысл, всегда работают в контексте “самореференция/инореференция”. Они не могут забывать о своем внешнем мире. Благодаря включению исключенного он всегда остается наличным. Это верно для непрерывной коммуникации, для продолжения аутопойезиса системы. Но отсюда не следует, что внутри системы отдифференцируется некая компетенция по решению вопросов окружающего мира. Уже отношения между энергитическим обеспечением и формированием власти во всех обществах складываются трудно, так как преобразование проблем окружающего мира во внутрисистемные структуры терпит крах из-за собственной логики последних.¹ Тем более что по самой форме функциональной дифференциации можно понять, что для решения вопросов внешнего мира не может быть

управляющего центра, а значит и никакого центрального агентства. Подобное учреждение блокировало бы отдифференциацию всех функциональных систем, воздействующих на окружающий мир. Функционально дифференцированное общество оперирует без верхушки и без центра.

Само собой разумеется, это не означает, что внешний мир не является темой. Коммуникация по его поводу происходит на уровне “проблем”, так как ситуация усложнилась бы и взаимопонимание было бы подорвано, если бы эта коммуникация была сдвинута на уровень “интересов”. Ведь если загрязнение внешнего мира сформулировать как проблему, то не найдется никого, кто обладал бы всей полнотой компетенции для решения этой проблемы. Обработка и даже преобразование раздражений в информацию выпадает на долю соответствующих функциональных систем. Против последствий здесь могут протестовать социальные движения; но ведь и они представляют собой лишь частную систему общества, которая может существовать лишь тогда, когда она сама не берет на себя функцию функциональных систем.²

Вся информация об окружающем мире производится тем самым в функциональных системах и в дополняющих их протестных движениях. Они остаются привязанными к аутопойезису этих систем и к их соответствующей системно-специфической памяти. Это приводит к сужению поля обработки информации, а интеграция обрабатываемой информации может состоять только во взаимном ограничении аутопойетически самих по себе возможных степеней свободы.

Но что такое “окружающий мир”, и как сказываются эти ограничения обращения с ним на обществе? Этот вопрос возвращает нас к проблеме общественных последствий функциональной дифференциации.

Если мы понимаем общество как аутопойезис коммуникации, то все, что из него исключено, принадлежит к окружающему миру. К нему причисляются не только обычно причисляемые к нему экологические условия продолжения существования общественной коммуникации, но и человеческие индиви-

ды, участвующие в коммуникации своеобразными для них сознательными действиями. Итак, мы имеем дело с двумя разновидностями окружающего мира, различающимися в том, участвуют они в поддержании коммуникации или нет, т. е. можно или нет обращаться к ним как к “личностям”. Биомасса человеческих тел причастна к обоим окружающим мирам и фактически предлагает такую точку зрения, исходя из которой общественная коммуникация занимается проблемами окружающего мира главным образом как проблемами выживания человечества.

В соответствии со всем вышесказанным, в обществе не существует центральной компетенции для разрешения экологических проблем. Любая функциональная система ограничена самой собой.³ Это не означает, что ориентация на соответствующие проблемы не усиливается и не может стать насущной проблемой для экономики, науки, политики. Здесь можно вспомнить о деятельности экологических движений и, прежде всего, о масс-медиа. Но первоначально это даже усиливает расхождение между формулировкой проблемы и ее решением. (Само расхождение, конечно же, может быть мотивом для того, чтобы сделать больше, чем напрашивалось бы в других случаях.) Как бы там ни было, эта тема закрепились в общественном мнении в качестве темы, схемы, сценария, и когда мы ею занимаемся, нет нужды принимать во внимание вероятность обескураженной реакции (“О чем ты вообще говоришь?”). Однако общество страдает от этой темы и от соответствующих сценариев будущего, потому что решений проблем не видно (или видны лишь локальные и постепенные). Каждая функциональная система может реагировать на это по-своему: политика – риторически, экономика – повышением цен, наука – исследовательскими проектами, которые с каждым дополнительным знанием обнаруживают еще большее незнание. Фактические последствия чрезмерной эксплуатации внешнего мира пока еще удерживаются в рамках; но не нужно особой фантазии, чтобы предсказать, что долго продолжаться так не может.

Нецентрализуемость экологических компетенций можно считать структурной слабостью современного общества. Нецент-

рализуемость же компетенции, ведающей индивидуальностью индивида, можно считать, скорее, удачей. Центральное агентство, которое ведает возможностями быть индивидуальным, да еще передает это через коммуникацию — не только ужасная, но и очевидно парадоксальная идея. Последними попытками такого рода были представления, сопровождавшие закат стратифицированного общества. Тогда (примерно в 1650-1750 гг.) речь шла о том, будто индивиды могут быть счастливыми, если они довольны сословием, в котором родились. (А “счастьем” уже тогда считалась отрефлектированная индивидуальность.) Сегодняшнее же общество вместо этого может предложить только такие темы, как “идентичность”, “эмансипация”, “самореализация”, которые затребуют разрушение общественных барьеров, но оставляют открытым вопрос о том, как индивид, использующий пустое пространство, оставляемое ему обществом, может обрести осмысленное и удовлетворяющее публично провозглашаемым запросам отношение к самому себе.

В нашей связи можно лишь констатировать, что проблемы индивидуальности, как и экологические проблемы, принадлежат к числу последствий современного функционально дифференцированного общества. Хотя они и касаются окружающего мира системы, но общество, поскольку в нем происходит коммуникация по их поводу, не может их игнорировать. И вместе с ростом коммуникации кажется, будто растет и чувство определенной беспомощности.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. XI:

¹ См. Richard Newbold Adams, *Energy and Structure: A Theory of Social Power*, Austin 1975.

² Об этом ниже гл. XV.

³ См. Niklas Luhmann, *Ökologische Kommunikation: Kann die moderne Gesellschaft sich auf ökologische Gefährdungen einstellen?*, Opladen 1986.

XII. ГЛОБАЛИЗАЦИЯ И РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ

Характеристика современного общества посредством указания на первичность функционально ориентированной формы дифференциации встречает много противоречий, которые, на первый взгляд, можно хорошо обосновать эмпирически. Стоит лишь устремить взор на отдельные регионы, как бросаются в глаза структуры, не соответствующие функциональной модели крупных дифференцированных систем. Здесь можно вспомнить, например, о значении (богатых) семейств и аналогично построенных социальных сетей в южно-китайском (включающем Гонконг и Тайвань) хозяйственном пространстве¹, но также и о связи политики и экономики в ряде латиноамериканских государств. Можно было бы спросить себя, насколько далеко отстоит типичный японец от образа рационально решающего индивида, который ориентируется на языковой код “да/нет”, или же задается вопросом о том, не заключается ли основная социально обязывающая установка, скорее, в том, чтобы избегать жестких различий. Четкое отделение правовых вопросов от политических для многих государств мировой системы нетипично, и характеристика практикуемых там способов решения проблем как “коррупции” помогает мало². Стратегии распределения преимуществ, обеспечения будущего и оказания влияния многократно соотнобразуются с сетью личных, прямых или опосредованных “рекомендаций”, и так обстоят дела даже там, где обусловленные земледелием отношения клиентелы распались, а вместо этого люди ориентированы на занятие должностей в организациях.³ Чем больше мы будем вдаваться в детали, тем сильнее будут бросаться в глаза отклонения от того, что говорит нам теория функциональной дифференциации. Куда относится западноафриканский барабанщик, владеющий большим количеством разнообразных ритмов и способный комбинировать их по собственному желанию, но чья известность и признание обусловлены масс-медиа и интересом западной публи-

ки к экзотике? Во многочисленных культурах, основанных на трансге, едва ли различимы друг от друга медицинские, психотерапевтические и религиозные моменты, и как раз это наделяет их привлекательностью. Как можно объяснить наблюдаемое во всем мире формирование гетто в крупных городах (Рио-де-Жанейро, Чикаго, а теперь еще и Париж): экономически вынужденными движениями миграции, дифференцированием слоев в школьной системе, различными типами правопорядка, неэффективностью политического контроля? Очевидно, что здесь комбинируются, усиливают друг друга и друг другу противостоят воздействия различных функциональных систем на основе условий, которые даны лишь регионально, а следовательно, производят весьма несходные образцы. Никто не будет оспаривать этих фактов. Вопрос в том, какая теория способна им соответствовать.

В течение некоторого времени эти проблемы пытались разрешить с помощью схемы традиции и современности и тем самым признать обусловленные традицией пути модернизации. Однако же, почти параллельно исследователи пришли к значительным сомнениям относительно такого контрастирования.⁴ На самом деле едва ли можно не заметить, что свойственная европейскому рационализму враждебность к традиции (и восторги по поводу новаторства), в свою очередь, представляет собой традицию, тогда как, с другой стороны, возвраты к традиции — от ностальгических до фанатичных — начиная с романтизма, но и в религиозном фундаментализме последних десятилетий, следует считать позицией интеллектуалов. С давних пор эта схема определяется ее повторным введением в саму себя, и поэтому применима почти как угодно. Уже Гектору было безразлично, летят ли птицы налево или направо, на запад или на восток (Илиада XII, 249-50)*. Кроме того, посредством возвращения к различным региональным традициям вряд ли можно объяснить то, что напряжения между глобальными и региональными ориентациями во второй половине XX века очевидно возросли.

Более приемлемую исходную точку дает то наблюдение, что глобальные и региональные оптимумы отчетливо расходятся.⁵

Это может быть обусловлено тем, что мировое хозяйство регулирует само себя не посредством целей, норм или директив, соблюдение которых в регионах впоследствии может проверяться, а при надобности — и корректироваться, но через то, что центры мирового общества (прежде всего, разумеется, международные финансовые рынки) производят флуктуации, которые впоследствии приводят в регионах к размыванию структур и к необходимости самоорганизации. В хозяйственной системе это может происходить через предприятия, но также и через инвестиционные фонды, которые затем вновь влияют на региональные возможности производства и труда. Или же в системе религии через флуктуации привлекательных для индивидов мод, на которые впоследствии реагирует религиозный фундаментализм. Или в политической системе — через упадок главенства мировых держав, на что региональные единства затем реагируют проявлением амбиций, направленных на самоутверждение. И, прежде всего, продолжающееся существование национальных государств приводит к тому, что в рамках мирового общества и при использовании его флуктуаций региональные интересы приобретают значимость и благодаря этому усиливаются. Государства конкурируют, например, на международных финансовых рынках за капитал для целей региональных инвестиций. Это различие глобального и регионального особенно заметно на примерах государств, даже если политическая система мирового сообщества является системой государств, которая больше не позволяет рассматривать отдельные государства как единства в себе.

Понимаемое таким способом различие между глобальным и региональным в то же время способствует тому, что общая система развивается в зависимости не от цели, а от истории, так что на уже сложившиеся ситуации приходится реагировать ретроспективно, что опять-таки исключает когнитивную интеграцию и благоприятствует разнящимся в зависимости от регионов восприятиям ситуации. Это не противоречит основным положениям, без которых не могло бы быть мирового сообщества и процессов глобализации: все функциональные системы

тяготеют к глобализации, и переход к функциональной дифференциации, согласно вышеизложенному (кн. I, X), может найти завершение только в установлении системы мирового общества. Пространственные границы не имеют смысла в функциональных системах, настроенных на универсализм и спецификацию – разве что как сегментарная дифференциация (например, в политических государствах) в рамках функциональных систем. Функциональные отношения постоянно затребуют пересечение территориальных границ: получение новостей из-за границы, хлопоты о международных кредитах, военно-политическим меры предосторожности в связи с заграничными событиями, копирование школьных и университетских систем передовых стран и т. д. Это ослабление пространственных преград усугубляется тем, что глобальная коммуникация почти не требует временных затрат, но может реализовываться с помощью телекоммуникации. Информация больше не должна транспортироваться подобно вещам или людям. Скорее, мировая система реализует одновременность всех операций и событий и в силу этого эффективна неконтролируемым образом, поскольку одновременное ускользает из-под причинно-следственного контроля.⁶ Поэтому не остается иного выбора – на что мы уже указывали⁷ – кроме как исходить из полной реализации мирового общества.

Последняя значительная попытка в рамках уже существующего мирового сообщества построить “империю” по традиционному образцу потерпела крах вместе с советской системой – и притом именно натолкнувшись на функциональную дифференциацию мирового сообщества.⁸ Социалистическо-коммунистическая империя не могла избежать переплетений хозяйственных, политических, научных и масс-медийных вопросов. Она не сумела ни “герметизировать” свои границы, ни помешать сравнениям внешних и внутренних ситуаций. И прежде всего она не могла на уровне действенной организации воспрепятствовать преобразованию внешних ирритаций в информацию, и именно проседание этому пункту информации привело к стремительному крушению системы. Если этот случай поддается

обобщению, то очевидно, что региональные единства не могут победить в борьбе с мировым сообществом и проигрывают при попытках самоутвердиться против его влияний.

Несмотря на эти весьма отчетливые индикаторы, отсюда не следует, будто региональные различия больше не имеют значения. Наоборот: как раз доминирующий образец функциональной дифференциации представляет здесь исходным пунктом для выработки различий. Чтобы пояснить это, мы можем воспользоваться понятием *кондиционирования*. Исходный пункт заключается в эволюционной невероятности функциональной дифференциации. Значит, региональные особенности могут вмешиваться, как благоприятствуя, так и препятствуя ей. Они могут, например, в форме семейной или аналогичной ей лояльности способствовать дифференциации хозяйства и политики, не в последнюю очередь – в форме переходящих через границы хозяйственных отношений, которым политически в дальнейшем можно будет препятствовать или политически их разрушать. Однако они могут помешать и аутопойетической автономии функциональных систем, и что особенно типично – правовой.⁹ Региональные особенности могут создавать условия, делающие возможным самокоррупирование политической системы, например, в форме подкупа голосов избирателей в Таиланде, который, несмотря на официальные тайные выборы, в связи с особенностями местных условий применяется в сельских областях и в трущобах. Региональные особенности могут делать организационную инфраструктуру функциональных систем (от университетов и больниц до ведомств государственного управления) настолько неспособной к функционированию, что будет рациональным полагаться не на нее, а на гибкие сети личных отношений, регенерирующихся через продолжающееся использование, несмотря на постоянный ротацию участвующих в них.

При таких особых локальных условиях речь может идти о структурных сопряжениях, которые способствуют продвижению модернизации по направлению к функциональной дифференциации. Однако же в скорее типичном случае аутопойети-

ческая автономия функциональных систем окажется заблокированной или ограниченной частными областями своих оперативных возможностей. Как бы там ни было, представляется совершенно нереалистичным понимать примат функциональной дифференциации как самореализацию, гарантированную благодаря принципу. Также и толкование по образцу иерархического доминирования неправильно описывало бы эти отношения как более или менее успешные формы общественного самоуправления. Скорее, справедливым было бы положение, что проведенная на уровне мирового общества функциональная дифференциация выделяет структуры, которые задают условия для регионального кондиционирования. Иначе говоря, речь идет о сложностном и гибком кондиционировании кондиционирований¹⁰, об ингибированиях и деингибированиях, об одной из зависящих от бесчисленных дальнейших условий комбинации ограничений и подходящих возможностей. С этой точки зрения, функциональная дифференциация является не условием для возможности системных операций, но, скорее, возможностью их кондиционирования. В то же время отсюда вытекает системная динамика, ведущая к крайне неравномерным процессам развития внутри мирового общества. Поэтому сами регионы оказываются вдали от равновесия всего общества, и как раз в этом — их шансы на собственную судьбу, не сводимую к своего рода микроверсии формального принципа функциональной дифференциации. И все-таки если бы на уровне мирового общества не действовал примат этого принципа, все складывалось бы иначе, но избежать этого закона не может ни один регион.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. XII:

- ¹ Об этом см. Bettina Gransow, *Chinesische Modernisierung und kultureller Eigensinn*, Zeitschrift für Soziologie 24 (1995), S. 183-195, с указаниями на состояние исследований.
- ² Об этом см. Marcelo Neves, *Verfassung und Positivität des Rechts in der peripheren Moderne: Eine theoretische Betrachtung und eine Interpretation des Falls Brasilien*, Berlin 1992; его же, *A Constitucionalização Simbólica*,

- São Paulo. В дальнейшем см. дискуссии на XV съезде бразильских адвокатов, *Anais XV. Conferência Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, Foz do Iguaçu (PR) — 4.a 8. de Setembro de 1994*, São Paulo 1995.
- ³ Об этом см. Niklas Luhmann, *Kausalität im Süden*, *Soziale Systeme* 1 (1995), S. 7-28.
 - ⁴ См., напр., Joseph R. Gusfield: *Tradition and Modernity: Misplaced Polarities in the Study of Social Change*, *American Journal of Sociology* 72 (1967), pp. 351-362; Reinhard Bendix, *Tradition and Modernity Reconsidered*, *Comparative Studies in Society and History* 9 (1967), pp. 351-362. Что касается модифицированного сохранения подобного различия, см. S. N. Eisenstadt, *Tradition, Change and Modernity*, New York 1973.
 - ⁵ Презираю я птиц и о том не забочусь, // Вправо ли птицы несутся, к востоку Денницы и солнца, // Или налево пернатые к мрачному западу мчатся. Гомер, *Илиада*, М., 1984, с. 195, пер. Н. И. Гнедича — прим. пер.
 - ⁶ Кто хотел бы избежать преувеличения, содержащегося в понятии “оптимум”, может интерпретировать его как “рациональности” или “примлемые решения проблем”.
 - ⁷ Для сравнения стоит вспомнить о международных отношениях позднего Средневековья, когда приходилось спешно отправлять послов в Рим, чтобы при теологически релевантных спорных вопросах привлечь папскую курию на свою сторону.
 - ⁸ См. кн. I, X.
 - ⁹ Так в Nicolas Hayoz, *L'étroite soviétique, Aspects sociologiques de l'effondrement programmé de l'URSS*, Genève 1997.
 - ¹⁰ Neves a. a. O. (1994), p. 113 ff. говорит о “Constitucionalização Simbólica como Alopoiese do Sistema Jurídico” [португ.: символическая конституционализация как аллопойезис юридической системы — прим. пер.].
- ¹⁰ Напр., в смысле W. Ross Ashby, *Principles of the Self-Organizing System*, in: Heinz von Foerster/Georg W. Zopf (Hrsg.), *Principles of Self-Organization*, New York 1962, pp. 255-278; заново напечатано в: Walter Buckley (ed.), *Modern Systems Research for the Behavioral Scientist: A Sourcebook*, Chicago 1968, pp. 108-118.

ХІІІ. ИНТЕРАКЦИЯ И ОБЩЕСТВО

Концепция форм общественной системной дифференциации относится лишь к случаям, в которых отдифференциации в рамках общества происходят только в отношении системы общества, независимо от того, выражается ли общество в форме отношений между частными системами (равенство, ранговые отношения), или же в виде отдельных функций, катализирующих обособление функциональных систем. Однако же тем самым далеко не исчерпывается то, что можно наблюдать в обществе на системных дифференциациях. Обособление аутопойетических социальных систем может иметь место и в уже стабильном обществе даже без всякой соотнесенности с общественной системой или с уже образовавшимися ее частными системами – просто посредством того, что осуществляется двойная контингенция, пускающая в ход аутопойетическое образование систем. Зачастую так возникают совершенно эфемерные, тривиальные, краткосрочные различия *система/окружающий мир* без дальнейшего введения их в форму и без того, чтобы само различие могло или должно было легитимироваться через отношение к обществу. Большие формы частных общественных систем плавают по морю непрерывно вновь образуемых и разрушаемых малых систем.¹ Никакое образование частных общественных систем, ни одна форма системной дифференциации общества не может доминировать во всех образованиях социальных систем так, чтобы она имела место исключительно в рамках первичных систем общественной системы. И как раз так называемые “интерфейсные” отношения между функциональными системами используют интеракции или даже организации, которые не поддаются одностороннему упорядочению ни с какой стороны.²

В качестве типов таких свободно формируемых социальных систем мы рассматриваем в этой главе системы интеракции, а в следующей – системы организации. Затем еще следует глава о

протестных движениях, хотя актуальное состояние исследований и не позволяет рассматривать их на том же уровне, что и интеракции и организации – как самостоятельный тип обращения с двойной контингенцией.

Ссылка на непосредственные контакты между людьми в быту, при повседневных встречах часто фигурирует в общественной критике. Общество-де определяет нашу судьбу таким образом, который невозможно преобразовать или даже модифицировать через контакты между людьми. И даже если общественно-критического тона избегают, часто встречаются анализы, начинающиеся с различения непосредственных и опосредованных социальных отношений.³ Это происходит без теоретического обоснования выбора именно этого различия и, очевидно, при предположении того, что эти анализы подтверждаются повседневным опытом читателей. Однако этого недостаточно. Наше понятие общества как аутопойезиса коммуникации указывает на другой исходный пункт. Даже малейшие личные и неличные встречи – если коммуникация имеет место – представляют собой свершение общества. Современное общество проявляет свою современность также и на этом уровне, например, посредством освобождения от террора совместной жизни в деревне или через разработку собственной логики интимности. Поэтому нам необходимо понятие, описывающее контакты между присутствующими, не ставя при этом под сомнение, что речь идет о коммуникации в общественной системе. Это должно делать понятие *системы интеракции*.

Системы интеракции не образуются за пределами общества, чтобы затем войти в общество в качестве готовых структур. Поскольку они используют коммуникацию, они всегда представляют собой свершение общества в обществе. И все-таки они обладают собственной формой функционирования, которая не могла бы реализоваться без интеракции. В то же время системы интеракции оснащены особыми типами чувствительности, которая помогает им учитывать то, что имеется в обществе в качестве их окружающего мира. Они конститутивно настроены на аутопойезис в обществе.

Системы интеракции образуются, когда для того, чтобы разрешить проблему двойной контингенции посредством коммуникации, используется присутствие людей. Присутствие несет с собой воспринимаемость, а в силу этого и структурную сопряженность с коммуникативно не контролируруемыми процессами сознания. Однако саму коммуникацию удовлетворит и предположение того, что ее воспринимаемые участники воспринимают, что их тоже воспринимают. В пределах сферы воспринимаемых восприятий можно и должно работать, например, с такими подстановками: слышно то, что громко говорится. Сомнения возможны, но (как всегда происходит при пограничных проблемах аутопойетических систем) их можно прояснить средствами этих систем (следовательно, здесь – среди присутствующих). Впрочем, не каждый воспринимаемый присутствующий должен учитываться для включения в интеракцию, например, не учитываются рабы или слуги или те, кто сидит в ресторане за другими столами.⁴

Во всяком случае, присутствие является формой, причем в смысле нашего понятия “различие”. Оно имеет системообразующий смысл лишь на фоне другой стороны, по отношению к отсутствующему. Поскольку присутствующие зримо и слышимо навязывают себя, по ним можно распознать, чем они еще могут заниматься помимо интеракции. Если это не само собой разумеется, то они на это указывают. К саморегуляции систем интеракции относится и то, что присутствующие уделяют друг другу внимание и могут рассчитывать на уважение к их различным собственным ролям. Не в последнюю очередь это касается и “хронометража” (timing) интеракции. С помощью этого различия между *присутствующим/отсутствующим* интеракция образует соотносящееся с самим собой различие между системой и окружающим миром, которое маркирует пространство, в рамках коего это различие может свершать собственный аутопойезис, продуцировать собственную историю, структурно детерминировать само себя. Кто бы ни рассматривался в качестве присутствующего, тем самым он становится причастным к коммуникации. Итак, сложностный, состоящий из информации,

сообщения и понимания способ функционирования коммуникации функционирует как улавливающее устройство, избежать которого не может ни один из присутствующих. Если присутствующий напрямую не говорит, он рассматривается как слушатель или – по меньшей мере – как понимающий, и поэтому как тот, с чьим возможным активным участием надо считаться. Таким образом, интеракция всегда создает еще и собственные избыточности, собственные излишки информированности, из которых она может выбирать (посредством “turn taking” или как-нибудь еще), что произойдет в дальнейшем. То есть интеракция прочно “вставлена” в видимую и слышимую реальность и в то же время – благодаря отдифференциации – обретает избыток возможностей; и как раз это принуждает ее к селекции и тем самым к аутопойезису – но лишь постольку, поскольку присутствующие остаются присутствующими. В то же время она обеспечивает высокую селективность и неповторимое своеобразие истории системы; ведь лишь очень немногое из того, что воспринимается, может вкладываться в коммуникацию. Поэтому система, будучи задействованной, может легко быть отличена от другой системы – предпосылка, необходимая, прежде всего, для памяти.

Тем самым различие между присутствующим и отсутствующим не является онтологически предзаданным, объективным обстоятельством дел. Оно производится только операциями системы, и наблюдатель может распознать его лишь тогда, когда наблюдает за системой, продуцирующей и репродуцирующей это различие. Оно маркирует для операций системы различие между самореференцией и инореференцией. Оно представляет собой артефакт аутопойезиса системы, которая не может продолжать свой аутопойезис без этого различия. То же самое верно для начала и конца эпизода интеракции, т. е. для временных границ интерактивного сопребывания. Сама система интеракции, если она работает, всегда уже началась и еще не прекратилась. Она определяет начало и конец не подобно внешнему наблюдателю, который может наблюдать эти цезуры на основании собственного аутопойезиса и будучи более дли-

тельным, нежели система. Для самонаблюдения системы ее начало и конец определимы только исходя из того, что находится “в промежутке” между ними. Система не может гарантировать возможность начала, равно как сама она не может удостоверить в том, что с концом ее существования не прекратится всякая коммуникация и что общество сможет сформировать новые системы интеракции. Но это не возражение против тезиса об аутопойезисе интерактивных систем; ведь для них начало и конец остаются смысловыми моментами, которые сложились при собственном функционировании системы и являются определяющими, к примеру, для того, с какими собственными историями система связывает себя и сколько времени ей еще остается.

В рамках теории системы общества эти соображения не могут выходить за рамки кратких набросков. Их разработка вылилась бы – в параллель теории общественной системы – в создание теории систем интеракции. В нашей же связи необходимо лишь прояснить то, что дифференциация общественных систем и систем интеракции имеет место, уточнив при этом, как именно это происходит и с какими последствиями для общества.

Дифференциацию *общество/интеракция* можно понимать лишь как обособление систем интеракции в континууме реальности общественной коммуникации. Ведь интеракция не выпадает из общества, когда она образует новую систему по ту сторону границ общества. Она свершает общество – но так, что в обществе возникают границы между соответствующей системой интеракции и ее внутриобщественным окружающим миром.

Поскольку никакая интеракция не может реализовать в себе все общественно возможные коммуникации, поскольку все партнеры по коммуникации не могут полностью и навсегда быть присутствующими, постольку уже в простейших обществах мы имеем дело с этим различием между системами интеракции и общественными системами. Если бы не было вообще никакой интеракции, не было бы никакого общества, без общества же – не было бы и опыта двойной контингенции. Начало и конец интеракции предполагают общество. До начала должно было

происходить нечто другое и после конца будет происходить нечто другое; иначе никто не знал бы, как начать, и при прекращении интеракции утрачивалась бы всякая возможность дальнейшей коммуникации.⁵ Но несмотря на это интеракция является автономной в определении того, что начало и конец означают для нее.

Различие между обществом и интеракцией представляет собой изначальную структуру самого общества, которой невозможно избежать. Это приводит к вопросу о том, как общество – если отвлечься от того, что оно само совершает интеракции – дополнительно обращает на себя внимание как на находящийся в интеракции общественный окружающий мир. Ведь отдифференциация систем интеракции и образование границ системы задает *двойкий доступ* общества к интеракции как к свершению и как к окружающему миру. Это удвоение следует понимать как изначальное условие сложности, которой общество обязано собственной эволюцией.

Ответы на этот вопрос различаются – и притом совершенно независимо от того, какую общественную формацию мы имеем в виду – в зависимости от того, ставится ли проблема в предметном, во временном или в социальном измерении. В предметном измерении рассматриваемое различие способствует “*re-entry*” различия между присутствующим и отсутствующим в присутствующее.⁶ В коммуникации можно говорить о присутствующем и отсутствующих, и тем самым рассматривать *различение* “присутствующий/отсутствующий” как присутствующее (а также, разумеется, – что, однако, является чем-то совершенно иным – делает отсутствующее присутствующим, т. е. привносит его). В общей перспективе это предполагает развитие языковой способности, т. е. способности обходиться посредством знаков вместо вещей. В особом случае отношений между интеракцией и обществом это означает, что общество может репрезентировать себя в интеракции селективно – учитывая или не учитывая себя как окружающий мир системы интеракции, в зависимости от того, что у него получается из интеракции. Осуществляя обособление систем интеракции, общество позволя-

ет себе их отделение и безразличие по отношению к ним, что затем можно будет селективно отменить. Только так, в переходе через границы, самонаблюдение общества мыслимо вообще.

Во временном измерении этому соответствует возможность формирования эпизодов. В отличие от самого общества, системы интеракции имеют начало и конец. Их начало устанавливается, а конец наступает с непреложностью, даже если на первых порах еще нельзя сказать с определенностью – когда и по какому поводу. Ограничение времени может принимать разнообразнейшие формы, вплоть до долгосрочно запланированных последовательностей возобновляемых встреч (например, для школьных занятий). Формирование эпизодов всегда предполагает нерасщепляемое на эпизоды общество, выступающее гарантом того, что до начала того или иного эпизода уже имела место коммуникация (так что это начало можно кондиционировать); а по окончании интеракции не исчерпываются все возможности коммуникации, но она продолжается где-то еще, с другими участниками, в других ситуациях и с иными целями. Лишь при таком условии можно до конца использовать все шансы, предоставляемые в рамках ограниченного времени. Ведь никакая интеракция не обещает длительного счастья, и вступать в нее можно лишь постольку, поскольку от нее можно вновь оторваться. И только в этом смысле, только для обозначения конца эпизода возможно задание эмпирических целей и всех зависимых от них форм рациональности. У самого же общества цели нет.

В той мере, в какой общество реализует себя как интеракция, оно предстает в перспективе *до того/после того* уже наличествующей интеракции и вероятности дальнейших интеракций по ее окончанию, т. е. также в качестве условия для возможности воления ее окончания. Поскольку же, в противовес этому, общество всегда предстает и в качестве окружающего мира для соответствующей актуализированной системы интеракции, оно функционирует как гарант *одновременности* всего того, что происходит. Таким образом диахроничность и синхроничность опосредуются друг другом, причем опосредуются одновременно и с перспективой последовательности. Настоя-

щее же, в котором все, что происходит, происходит одновременно, является дифференциалом прошлого и будущего. Только так время в полном объеме соответствующей актуальной последовательности прошлого и будущего может стать социальной реальностью.

В социальном измерении – в конечном счете – при таких условиях порядка вещей и порядка времени (первоначально они вряд ли различимы) может возникать учет того, что ожидается от участников интеракции в каждый раз различных прочих системах интеракции. Участники индивидуализируются для отдельной интеракции посредством ресурсов, что они могут мобилизовать в других интеракциях, посредством обязанностей, что они должны выполнять, и времени, что они могут потратить. Здесь также решающим является не то, что речь идет просто о накоплении ограничений, но то, что различие между системами интеракции производит пространства свободы и ограничения, и именно в смысле интеграции. Идет ли речь о таких соображениях и насколько они вынуждают к осторожности (например, к неразглашению информации, к скрытности, к недоверию) – должно решаться в самой интеракции. И в этом отношении общество – посредством отдифференциации систем интеракции – тоже дистанцируется от самого себя.

На этом уровне абстракции высказывания об отношениях между интеракцией и обществом сформулированы неисторически. Они еще не учитывают различий между общественными формациями. Но все-таки само собой разумеется, что эволюционное изменение общественных структур сказывается на отношениях между интеракцией и обществом; и мы можем предположить, что в качестве исторически диверсифицирующих, задающих изменения факторов тематизируются, главным образом, развитие техник коммуникации, используемых без интеракции (письменность, книгопечатание), и изменение форм дифференциации общественных систем.

Если желают обнаружить отправной пункт этих изменений, то придется задуматься над тем, что отношения между системой и окружающим миром всегда заданы *синхронно* – что при-

нимается за великую константу всей эволюции. Это кажется настолько само собой разумеющимся, что лишь теория относительности дала понять, что тут имеется проблема.⁷ Ни один участник коммуникации не может опережающим образом попасть в будущее другого или задержаться в его прошлом. Поэтому ни один участник не может сообщить другим об их будущем, так как это будущее для него уже является настоящим. Если заимствовать формулировку Шютца, все стареют совместно.⁸ Как раз в этом смысле взаимодействие и общество также всегда даны одновременно по отношению к системе и окружающему миру. Не в последнюю очередь это означает, что за пределами системы интеракции в обществе может случиться то, что в системе интеракции *пока еще* неизвестно и *пока еще* не может быть рассмотрено именно потому, что случается это одновременно.

Как бы парадоксально ни звучало нижеследующее, но *дезидераты и проблемы синхронизации возникают* на основе времени как навязанной одновременности.⁹ Ведь эта как бы безвременная одновременность не обеспечивает, и даже поначалу исключает то, что система может настроиться на происходящее в ее окружающем мире. Поэтому в природе можно говорить о синхронизациях только в связи с относительно постоянными или регулярно повторяющимися признаками (восход/закат солнца), на которые могут настраиваться системы с “anticipatory reactions”¹⁰. В области осмысленной обработки информации для этого, прежде всего, развивается понятие времени как измерения, т. е. различие настоящего (которое синхронизировано и поэтому *не может синхронизироваться*) при помощи основанного на нем различения между прошлым и будущим.

Первоначально коммуникация была только устной операцией, т. е. с необходимостью синхронной и связанной с интеракцией. Сообщающий и понимающий всегда должны были быть одновременно присутствующими. С чисто языковой точки зрения, конечно же, имеются возможности вести коммуникацию о прошлом или будущем¹¹, но не иначе как в интеракции. Поло-

жение изменяется только после изобретения письменности и распространения пользования письмом; так как письменность делает возможной *десинхронизацию самой коммуникации*.¹² И как раз в силу этого коммуникация *предоставляет себя в распоряжение как инструмент синхронизации* (хотя, как теперь, так и прежде, считается, что все фактически происходящее происходит одновременно).

В единичное событие элементарной коммуникации благодаря письменности оказывается встраиваемой почти любая временная дистанция (лишь бы удавалось избежать утраты носителей сообщения). Количество воспринимающих информацию теперь может быть гораздо большим, нежели чем при ее распространении среди одновременно присутствующих. Поэтому, если мы располагаем стандартизированными измерениями времени (в которых нет необходимости в отсутствие письменности¹³), то у нас имеются диспозиции времени, о которых нет необходимости договариваться. Сообщающий может быть активным в прошлом понимающего и – несмотря на это – быть понятным этому понимающему в его времени. И это может предвосхищаться. Время до известной степени расширяется вместе с коммуникацией, и поэтому в доселе невозможном объеме развиваются согласования, исходящие из того, что к определенному моменту произойдет нечто, что произойдет лишь для того, чтобы к этому более позднему моменту могло произойти что-либо другое. Священное время, в котором требовалось *знать*, как и когда следовало действовать, поначалу дополняется, а затем и заменяется синхронизационно обрамляющим временем, в котором можно *договариваться* о том, когда произойдет синхронизированное действие.¹⁴ В принципе, это, конечно же, возможно и посредством устного обговаривания и в этой форме даже целесообразно, если речь идет о консенсусе. Так, мы устно договариваемся о спешно организуемом приеме, который не можем или не будем устраивать в одиночестве. Но ныне это единичные случаи. Все разновидности широкомасштабной координации работают на основе заранее обеспеченного консенсуса с письменно разработанными планами.

Анализ также показывает, что письменность становится необходимой лишь тогда, когда форма дифференциации общества порождает определенную сложность – первоначально, скорее всего, в целях учета в крупных хозяйствах. Вплоть до начала Нового времени письменность воспринималась, в первую очередь, как опора для памяти и средство переноса, и поэтому не существовало понятия коммуникации, которое выходило бы за границы устной речи и передачи ее в письме. Зависящая от формы дифференциации потребность в письменной координации остается незначительной. Соответственно и общество понимается только с позиций интеракции. Существуют различные – простые и сложные – *societates*^{*}. Даже Кант не делает различия между общительностью (*Geselligkeit*) и обществом (*Gesellschaft*). Если мы будем читать Шиллеровы “Письма об эстетическом воспитании человека”, то само понятие государства в них по-прежнему мыслится исходя из интеракции. То же можно сказать и об общественном мнении.¹⁵ Предположительно – только Французская революция с ее общественным порывом и соскальзыванием на уровень интеракции (в праздниках, в “революционном театре”, в казнях) навязала семантическое отделение интеракции от общества.¹⁶

Структурные причины для этого процесса отделения заключаются в переходе от стратификационной к функциональной дифференциации.¹⁷ Аристократия была и оставалась воспитываемой для интеракционной компетенции – в диапазоне, который мог простирается от беседы о любовных интригах до дуэли. В образовательную форму красноречия могли – прежде всего, в Англии – проникать новые содержания¹⁸, но ожидание устной формы высказывания сохранилось. Однако же сферы, в которых уже утверждается функциональная дифференциация, почти не предоставляют шансов этим формам и компетенциям. Функционально дифференцированное общество дифференцирует и специфицирует способы интеракции в рамках функциональных систем и их организаций в доселе непредставимом масштабе. Интеракция в собственном смысле, беседа, поначалу еще требует сословных ограничений в доступе, однако же,

отчетливо дифференцируется по отношению к тому, что функциональные системы требуют в качестве специфических для них форм. Например, Мадлен де Скюдери считает, что это не беседа, “lorsque les hommes ne parlent precisement que pour necessité de leurs affaires”¹⁹. * Примеры: переговоры в суде, торговая сделка, приказ в армии, совещание в королевском совете. И тогда под (временной) защитой отнесения к верхнему слою могут развиваться правила интеракции, ослабляющие ролевые определенности стратифицированного общества. Например, женщинам гарантируется больше свобод в интеракции – самим делать выводы, сообразуясь с собственным поведением в других ситуациях.²⁰ При таких особых условиях речь доходит до приватизации, психологизации и, наконец, до полной социальной рефлексивности интеракционных систем, центрированных на интеракцию. Тонкие анализы по теме начинают проводиться в XVII в.. Становятся важными мотивы, но при этом возрастает важность и подозрения в мотивированности. Востребуются непредвзятость, естественность, искренность – но тем самым они превращаются в проблему.²¹ Они делают необходимым лицемерие. Затем, в XVIII в., складывается (со значительными психологическими упрощениями) теория социальной рефлексивности, с тех пор почти не изменившаяся.

Теперь отдельные системы интеракции – из-за контекстного ли принуждения функциональных систем, или сами по себе – могут становиться безразличнее по отношению к своему внутриобщественному окружающему миру. Зачастую даже неизвестно, в каких прочих интеракциях участвуют те, с кем придется иметь дело.²² Если в прежних обществах связь между интеракцией и внутриобщественным окружающим миром была тесной (это справедливо даже для высших слоев стратифицированных обществ), так что всегда приходилось считаться с тем, что те, с кем кто-либо конкурирует или конфликтует, при других обстоятельствах могут оказаться полезными или даже спасительными, то в более сложностных обществах эта сеть отношений ослабевает. И лишь теперь обмен и конкуренция, кооперация и конфликт могут быть отделены от основы интеракции

и преобразованы в сравнительно бесцеремонные в социальном смысле отношения. Теперь в функциональных системах могут усиливаться специфические для них ролевые асимметрии, поскольку принимать во внимание другие роли для них больше нет необходимости. В противоход этому развиваются чрезвычайно требовательные формы интеракции, например, для интимных отношений, каждый участник которых несет ответственность за все свое внутреннее и внешнее поведение.²³

В связи с такими расхождениями исключено понимание общества по образцу интеракции или даже экстраполирование из опыта интеракции того, чем оно является. Что мы знаем об обществе, нам известно из масс-медиа.²⁴ Доступный в интеракции опыт покрывает лишь минимум (доступного в письменной форме, а сегодня – по телевидению) знания. И все-таки разные интеракции стилизуются в модели (а в литературе – в модельные конструкции) специфически социальной рациональности, потому что только здесь может действительно практиковаться социальная рефлексивность с ее безмерно сложностными отношениями отражения. И опять-таки здесь (но именно только здесь) правило взаимности толкуется по-новому. Однако в то же время мы можем знать, что таким способом само общество понять нельзя. Чем более сложна его система, тем жестче одновременность, а значит и невозможность влияния на то, что фактически происходит в каждый момент. И в конечном счете – тем иллюзорнее вера, будто систему общества можно привести в рациональную форму на пути интеракции, через диалог, посредством попыток взаимопонимания между достижимыми друг для друга партнерами.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. XIII:

¹ Эту точку зрения об “эфемерной” связи между “большими структурами” общества неоднократно подчеркивал Георг Зиммель, напр., в: Grundfragen der Soziologie (Individuum und Gesellschaft), Berlin – Leipzig 1917, S. 13.

² Что касается таких организаций связи в функционально дифферен-

цированном обществе, см. Gunther Teubner, Organisation und Verbandsdemokratie, Tübingen 1978. См. также анализ “кругов диалога” в Hutter a. a. O. (1989) или дискуссию об управлении посредством “систем переговоров” в работе: Helmut Willke, Systemtheorie III: Steuerungstheorie, Stuttgart 1995, S. 109 ff.

³ Классическая в этой связи работа: Charles H. Cooley, Social Organization, New York 1909, а среди более современных исследований – Charles Craig Calhoun, Indirect Relationships and Imagined Communities: Large-Scale Social Integration and the Transformation of Everyday Life, in: Pierre Bourdieu/James S. Coleman (ed.), Social Theory for a Changing Society, Boulder – New York 1991, pp. 95-121.

⁴ У самой стойки бара это не так однозначно и больше определяется формирующейся интеракцией. Об этом см. Sherri Cavan, Liquor License: An Ethnography of Bar Behavior, Chicago 1966.

* поочередности высказывания (англ.) – прим. пер.

⁵ Этот аргумент проясняет, что при подобных переходах структурное сопряжение (социализированного) сознания и общественной коммуникации наделяется особой важностью, и, вероятно, как раз поэтому – как бы из страха перед чрезмерной ирритацией в как раз только начинающей или прекращающей существовать системой – сворачивается к пустым формулам типа: come sta? How are you? [итал., англ. – как дела – прим. пер.].

⁶ Об этом уже многократно использованном понятии см. George Spencer Brown, Laws of Form, новое изд. New York 1979, p. 56f., 69 ff.

⁷ См. также Henri Bergson, Durée et simultanéité: À propos de la théorie d'Einstein, 2 ed., Paris 1923.

⁸ Так в: Alfred Schütz, Der sinnhafte Aufbau der sozialen Welt: Eine Einleitung in die verstehende Soziologie, Wien 1932, особ. S. 111 ff.

⁹ Об этом: Niklas Luhmann, Gleichzeitigkeit und Synchronisation, в его же: Soziologische Aufklärung Bd. 5, Opladen 1990, S. 95-130. Подробнее: Armin Nassehi, Die Zeit der Gesellschaft, Opladen 1993, особ. S. 249 ff.

¹⁰ Об этом см. Robert Rosen, Anticipatory Systems: Philosophical, Mathematical and Methodological Foundations, Oxford 1985.

* предвосхищающие реакции (англ.) – прим. пер.

¹¹ После опровержения слишком радикальных гипотез о том, что в языке невозможно (Уорф/Сепир) [Имеется в виду так называемая “гипотеза лингвистической относительности” Сепира-Уорфа, согласно которой структура мышления определяется структурой конкретного языка. Так, в русском языке два слова и два понятия “синий” и “голубой” там, где большинстве других языков только одно слово и одно понятие – прим. пер.], сегодня это, пожалуй, общепринятое мнение. См., напр. Ekkehart Malotki, Hopi Time: A Linguistic Analysis of the Temporal

- Concepts in Hopi Language, Berlin 1983; Hubert Knoblauch, Die sozialen Zeitkategorien der Hopi und der Nuer, in: Friedrich Fürstenberg/Ingo Mürth (Hrsg.), Zeit als Strukturelement von Lebenswelt und Gesellschaft, Linz 1986, S. 327-355.
- ¹² Даже общество, которое уже располагает письменностью, может следовать в основных различиях своей семантики времени более старым образцам. Так, древнеегипетский язык знает понятие для времени как результата прошедших событий (*дже́т*) и другое понятие для виртуальности, т. е. для будущих возможностей (*нехе*). То, что оно рассредоточивается по двум временным понятиям, соотношенным с настоящим временем, указывает на то, что рассматриваемые понятия коренятся в предыстории, когда различие между прошлым и будущим еще не могло рассматриваться как проблема синхронизации. В этой интерпретации “дже́т” и “нехе” мы следуем работе: Jan Assmann, Das Doppelgesicht der Zeit im altägyptischen Denken, in: Anton Peisl/Armin Mohler (Hrsg.), Die Zeit, München 1983, S. 189-223.
- ¹³ Elman R. Service, The Hunters, Englewood Cliffs, N. J. 1966, S. 67f., упоминает случаи, в которых возможность счета достигает 4 или 5, после чего следует “много”, с тем последствием, что прошлое и будущее служат лишь непосредственной координации действий и не воспринимаются как горизонты для изменений. У бактаманов возможность счета доходит до 25, т. е. ее достаточно лишь для координации в рамках фаз луны. Кроме того, существуют лишь очень неясные представления о длительности. Между прочим, это уменьшает вероятность проявления комплексов зависти или долгой злопамятности. См. Fredrik Barth, Ritual and Knowledge among the Baktaman, Oslo 1975, S. 21 ff., 135 ff.
- ¹⁴ См. Joseph Needham, Time and Knowledge in China and the West, in: Julius Fraser (ed.), The Voices of Time, London 1968, pp. 92-135 (особо р. 100). См. также Jacques Le Goff, Temps de l'Eglise et temps du marchand, Annales ESC 15 (1960), pp. 417-433.
- * В лат. слове *societas* сочетаются значения “общество” и “общение” – прим. пер.
- ¹⁵ См., напр., очерк Фридриха Шлегеля о Георге Форстере, цит. по Friedrich Schlegel, Werke in zwei Bänden, Berlin 1980, Bd. I, S. 101: “gesellige Mitteilung” [публичное (в совр. нем. – общительное) сообщение – прим. пер.].
- ¹⁶ Конечно, можно подумать и о возраставшей вместе с денежным хозяйством дальней торговле, оказывавшей влияние и на места локального производства, которые не могли быть охвачены этим процессом и не могли отделиться от общества посредством интеракции (например, благодаря усилиям повысить качество).

- ¹⁷ Об этом Niklas Luhmann, Interaktion in Oberschichten: Zur Transformation ihrer Semantik im 17. und 18. Jahrhundert, в его же, Gesellschaftsstruktur und Semantik, Bd. I, Frankfurt 1980, S. 72-161; его же, The Evolutionary Differentiation Between Society and Interaction, in: Jeffrey Alexander et al. (ed.), The Micro-Macro Link, Berkeley, 1987, pp. 112-131.
- ¹⁸ См. хотя бы Henry Peacham, The Compleat Gentleman, 2 ed. Cambridge 1627. Во Франции мы находим не столько измененные требования к знанию, сколько, скорее, подчеркнуто устный, сентенциозный, остроумный стиль *sciences de mœurs* [франц. – науки о нравах – прим. пер.], который благоприятствует участию аристократии, но не исключает и буржуазии. Об этом см. Louis van Delft, Le moraliste classique: Essai de definition et de typologie, Genève 1982.
- ¹⁹ De la conversation, in: Scuderi, Conversation sur divers sujets T. 1, Lyon 1680, pp. 1-35 (2).
- * когда люди говорят о своих делах исключительно по необходимости (франц.) – прим. пер.
- ²⁰ Во всяком случае, так обстояли дела во Франции, а вот в Италии, совсем еще в старом стиле, написано: “Le donne sono nate per istar in casa, non per andar vagando” [женщины рождены для того, чтобы сидеть дома, а не чтобы разгуливать и бродить – прим. пер.] (Virgilio Malvezzi, Pensieri politici e morali (отрывок из различных публикаций) in: Benedetto Croce/Santino Caramella (ed.), Politici e moralisti del seicento, Bari 1930, pp. 255-283 (269). Это означает, что если увидишь женщин на улице, то это следует понимать так, будто они демонстрируют себя в качестве предметов гордости мужа (не говоря уже о худшем). Во всяком случае, не было свободы, отталкиваясь от поведения в интеракции, делать выводы о собственном поведении в других ситуациях.
- ²¹ Вплоть до последствия, согласно которому единственная возможность оставаться искренним такова: искренне признаться в неискренности и практиковать последнюю. Таково учение графа де Версака, in: Claude Crébillon (fils), Les Egarements du cœur et de l'esprit, цит. по изд. Paris 1961.
- ²² Так, например, Сенак де Мейян (Sénac de Meilhan) описывает полностью отдавшегося интеракции “homme aimable” [франц.: любезный человек – прим. пер.] как “неизвестного”: “Il est de tous les âges, de toutes les conditions. Il n'est ni Magistrat, ni Financier, ni père de Famille, ni mari. Il est homme du monde: lorsqu'il vient à mourir, on apprend qu'il avait quatre-vingt ans. On ne s'en seroit pas douté à la vie qu'il menoit. La société même ignoroit qu'il étoit ayeul, époux, père: qu'étoit-il donc à leurs yeux? Il avait un quart à l'Opera, jouoit au lotto, et soupoit en ville”. [Он всех возрастов, и ему можно приписать любую судьбу. Он не чиновник суда, не делец, не отец семейства и не муж. Он – светский

- человек: когда он умер, узнали, что ему было восемьдесят лет. Никто даже не догадывался о жизни, какую он вел. Общество даже не ведало, что он был дедом, супругом, отцом: так кем же он был по их мнению? Он проводил четверть часа в Опере, играл в лото и ужинал в Городе. — *прим. пер.*] (*Considération sur l'esprit et les mœurs de ce siècle*, London 1787, pp. 317 ff.).
- ²³ Об этом Niklas Luhmann, *Sozialesystem Familie*, в его же, *Soziologische Aufklärung* Bd. 5, Opladen 1990, S. 196-217.
- ²⁴ К этому мы еще вернемся. См. кн. 5, XX.

XIV. ОРГАНИЗАЦИЯ И ОБЩЕСТВО

Если с интеракцией дела обстоят не слишком хорошо, то что происходит с организацией?

На первый взгляд, многое говорит в пользу того, что современное общество обменивает интеракцию на организацию там, где речь идет о том, чтобы осуществлять долгосрочную синхронизацию также и при высокой сложности. И все-таки первоначально нам следует пристальнее рассмотреть этот тип социальной системы.

В отличие от случая с интеракцией, при организации речь идет не об универсальном феномене любого общества, но об эволюционном достижении, предполагающем сравнительно высокий уровень развития. Это можно уяснить, задавшись вопросом, как общество регулирует доступ к трудовой деятельности, которую трудящийся осуществляет не из собственного интереса и не ради наслаждения самой деятельностью (праксисом).

Если в древнейших обществах труд, как правило, мотивируется интересами выживания индивида, т. е. следует внешним для общества условиям, то в ходе общественной эволюции возрастает социальная, т. е. внутриобщественная детерминация труда и распределения доходов.¹ Заявляют о себе формы общественной дифференциации. Домашняя дифференциация трудовых ролей дополняется оказанием взаимопомощи, а часто, по особым поводам, групповой работой молодых людей. С возникновением иерархических обществ и/или обществ, упорядоченных по образцу “центр-периферия”, задействуемым оказывается — опять-таки дополнительно — принудительный труд, навязываемый политически-правовым образом, будь то в форме принуждения время от времени к отработке на крупных проектах, в форме рабства, долгового закрепощения, или же диктуемый детально расписанными и практически безальтернативными правилами гильдий и цехов. Во всех этих случаях уже возникают соответствующие потребностям ролевые дифференци-

ации, но институциональные условия ограничивают предъявляемые к ним ожидания, а тем самым – достижимую сложность и гибкость.

Изменяться это может лишь постольку, поскольку социальный доступ к труду будет осуществляться через *индивидов* и это станет нормальным случаем. (Особые случаи договорной работы, конечно же, имелись задолго до этого). Следует констатировать, что это ничего не меняет в социальной обусловленности труда, но ограничивает ее специально для этого устроенными организациями, однако именно таким образом эту обусловленность одновременно и расширяет.² Организации заменяют внешние социальные зависимости самопроизведенными зависимостями. Они делают себя независимыми от случайно появляющейся взаимной потребности и взаимной готовности к помощи, и посредством этого регулируют труд как регулярно повторяющееся занятие, которое зависит только от флуктуаций рынка или возможного финансирования.

Этот переход к той форме рекрутируемого труда, где задействуемыми оказываются индивиды, предполагает не только осуществление денежного хозяйства, делающее привлекательным получение денег. Кроме прочего, такой труд зиждется на юридически гарантированной принудительности договоров с другой стороной, так что без договоров предоставление доступа к возможностям труда, а тем самым и к зарабатыванию на жизнь, едва ли уже вероятно.³ Помимо этого, система воспитания, организованная в форме школ и университетов, способствует тому, что профессиональная компетенция может рекрутироваться индивидуально и принятия во внимание прочих социальных качеств, а востребуемое специальное образование может быть получено, если появляется перспектива занятия соответствующего рабочего места.⁴

Итак, функциональные системы хозяйства, права и воспитания подготавливают важные предпосылки для возникновения и распространения такой системной формы, как организация, хотя это не приводит к тому, что организации имеются только в указанных системах. Уже на этом примере видно, что орга-

низации делают возможными социальные взаимозависимости, которые совместимы с аутопойезисом и оперативной замкнутостью функциональных систем, и даже предполагают такие функциональные системы как условие индивидуализации процесса рекрутирования и распределения индивидов по местам.

Прояснение предварительных условий для эволюции организованного труда уже дает важные указания на особые свойства этой системной формы. Подобно самому обществу, а также интеракции, организация представляет собой особую форму обращения с двойной контингенцией. Каждый всегда может действовать и иначе; может соответствовать, а также не соответствовать желаниям и ожиданиям – *но не в качестве члена той или иной организации*. Вступление в организацию налагает определенные ограничения, излишне строптивые же подвергают себя опасности утраты членства. Конечно, членство в организациях не является общественно необходимым статусом (хотя сегодня во многих отношениях он почти неизбежен). Членство основано на мобильности, а мобильность должна допускаться обществом. Членство приобретается в силу принятия решения (здесь имеет место типичная комбинация аутоотбора и гетероотбора), и может утрачиваться через решения (в данном случае – либо о выходе, либо об исключении). В отличие от средневековых корпораций (городов, монастырей, университетов и т. д.), здесь оно касается не личности в целом, но лишь частей ее поведения, только одной роли наряду с другими. Решение проблемы двойной контингенции состоит в том, что членство можно кондиционировать, причем не только в отношении акта вступления, но и в перспективе сохранения статуса.⁵

Как системная форма, членство маркирует “внутреннюю сторону” формы, т. е. то, что в системе представляет первичный интерес и должно учитываться в своих последствиях. Во внешнем мире все распадается, по внутренней стороне формы соблюдается связность и интеграция. Различие между системной и окружающим миром не исключает и здесь “re-entry” формы в форму. Если следовать ее собственным правилам, в системе невозможно действовать, не считая окружающий мир дос-

тойным уважения. Но поскольку внутренние коммуникативные способности системы ограничены, это может происходить лишь в высшей степени селективно. И даже тогда, когда предметом коммуникации служит окружающий мир, принадлежность к системе является тем символом, который коммуникация распознает в качестве внутренней операции.

Так как всякое членство обосновывается через решения, а дальнейшее поведение членов в ситуациях принятия решений зависит от членства, организации можно характеризовать и как аутопойетические системы на оперативном базисе коммуникации решений. Организации продуцируют решения из решений и в этом смысле являются оперативно замкнутыми системами. В то же время в форме решения имеется момент структурной неопределенности. А поскольку всякое решение требует дальнейших решений, эта неопределенность репродуцируется вместе с каждым решением. Можно сказать, что система решения живет, ориентируясь на дальнейшие решения самопроизведенной неопределенности, и этот момент входит в оперативную замкнутость системы. При производстве решений из решений достигается абсорбция неопределенности, но также – при ориентации на далее необходимые решения – всегда репродуцируется и фоновая неопределенность, благодаря которой система живет. Эта неопределенность репродуцирует дальнейшую потребность в решении, и только так возможна рекурсивная оперативная замкнутость системы.

Организации порождают возможности решения, иначе не возникшие бы. Они проводят решения в качестве контекстов для решений. К решениям о членстве могут примыкать бесчисленные множества других решений. Можно предусмотреть подчинение указаниям, установить рабочие программы, предписать способы коммуникации, отрегулировать настрой и движение персонала – и все это в обобщенной форме, которая затем ситуационно преобразуется в решения. Членство служит предпосылкой для решения о предпосылках решений – и все это при таком объеме спецификаций, который ограничивается лишь одним обязательством: членство должно оставаться достаточ-

но привлекательным. Этому соответствует то, что, как правило, оно вознаграждается деньгами.

В результате, таким образом, появляется аутопойетическая система, отличающаяся особым способом функционирования: она порождает решения посредством решений. Поведение участвует в коммуникации в виде решения. А чем является решение “само по себе” – может при этом оставаться открытым. Ведь как раз это остается неопределенным (или определенным лишь тавтологически), когда оно описывается как выбор между несколькими альтернативами. Решение – не дополнительная возможность выбора, т. е. не компонент альтернативы, который тоже можно выбирать, но, скорее, третье, исключенное посредством конструкции альтернативы – т. е. опять-таки наблюдатель! Поэтому решение не может определяться прошедшим. Прошлое напрямую зависит от конструкции альтернатив. Но оно может в известном объеме обязывать будущее, так как оно некоторым образом способствует (будучи не в состоянии обуславливать) тому, что не было бы возможным без решения.⁶ Как раз поэтому решение требует коммуникации. В нормальной ситуации это происходит при принятии одного из нескольких вариантов. Но такой процесс – и это типичный случай бюрократической тревоги – может происходить и задним числом. “Решили, даже не заметив этого” или “сделали выбор из альтернатив, не взглядевшись в альтернативы”. Из этого исходят бесчисленные стратегии гарантирования, которые, стремясь рассчитать точное будущее, учитывают, что могло бы случиться, если бы принятое решение стало темой какого-либо будущего решения.⁷

Само собой разумеется, решения, как и всякая коммуникация, зависят от работы сознания. Здесь классическая теория подчеркивает рациональность соображений того, кто принимает решение. И все-таки вклад этих соображений остается неясным, так как мнимая рациональность по отношению к альтернативам, исходя из которых предстоит принять решение, остается чем-то “третьим”, т. е. сама она альтернативой не является. Ведь мы не можем принять решение в пользу самолета, железной дороги или автомобиля – или рациональности. Рацио-

нальность совершенно исключается альтернативностью выбора. Итак, парадокс! Это заставляет нас подозревать, что сама подстановка рациональности служит развертыванию подобного парадокса: его затемнению посредством мистификации и устранению мистификации посредством установления критериев или правил, социальная значимость которых может быть затем, в свою очередь, подтверждена.

Такой способ рассмотрения оставляет без внимания один важный аспект – а именно то, что сознание участвует в решении, прежде всего, через работу восприятия. Сознание должно выслушать сказанное и прочесть написанное. Эти институциональные условия релевантны, прежде всего, для административной работы. Однако же наряду с ней существуют многочисленные другие формы труда, в которых восприятие неязыковых положений вещей становится необходимым, чтобы отфильтровать известную потребность в решении. Можно подумать о координации между глазом и рукой в промышленном труде, но, в первую очередь, обо всем, что требуется от “field workers”: от полицейских и учителей, от всякого рода надзирателей и контролеров.⁸ Нормальным образом – если в сфере восприятия надо считаться с неожиданностями или с невнимательностью, со стороны организации делается уступка в пользу автономии (т. е. несколько более мягкого надзора), чтобы обезопасить систему от собственной динамики *восприятия/отсутствия восприятия*.⁹ В любом случае организационные системы в этом “интерфейсе” коммуникации и сознания зависят не столько от разума последних, сколько от их особо обработанных восприятий.

Эти промежуточные соображения нисколько не отменяют тезиса, что любая организация “состоит” из ничего иного, как коммуникации решений. Этот операционный базис способствует замыканию особой аутопойетической системы. Ведь аутопойезис есть именно репродукция из собственных продуктов. Поэтому любые истоки – от основания организации до наделения ролями членов организации – должно рекурсивно рассматривать в качестве собственного решения организации и уметь по-новому интерпретировать в соответствии с актуальными

требованиями, предъявляемыми к решению. В чередовании собственных решений организация определяет мир, с которым ей предстоит иметь дело. Она непрерывно заменяет неопределенности самопроизведенными достоверностями, каких она по необходимости придерживается, даже если возникают сомнения в них.¹⁰ Доступное в тот или иной момент пространство движения ограничивается схемой *проблема/решение проблемы*, причем проблемы служат дефиниции возможностей решения, но и наоборот: испытанные возможности решения могут служить тому, чтобы соответственным образом подгонять дефиниции проблем или даже искать проблемы, выказывающие наличные рутинные процедуры в качестве их решения.¹¹ В конечном итоге примат аутопойезиса находит выражение и в том, что все структуры соразмеряются с операциями, т. е. понимаются как результат решений. Организация располагает структурами только как условиями для принятия решения, по поводу которых она сама приняла решение. Она гарантирует это благодаря формальному структурному принципу (планового) “места”, который позволяет ей принимать решения о создании таких мест при принятии бюджета, а впоследствии посредством решений менять как местоблюстителей, так и их задачи и организационный распорядок.

Если системы интеракции могут рассматривать свой окружающий мир только через активизацию присутствующих и через интернализацию различия между присутствующим/отсутствующим, то организации *дополнительно* имеют возможность *вести коммуникацию с системами в их окружающем мире*. Они представляют собой единственный тип социальных систем, который имеет такую возможность; так что если стремятся достичь этого, то надо организовываться.¹² Коммуникация по направлению вовне предполагает *аутопойезис на основании решений*. Ибо коммуникация может подготавливаться внутренне только в рекурсивной сети собственной деятельности по принятию решений; в противном случае она не распознавалась бы как собственная коммуникация. Итак, коммуникация по направлению вовне не противоречит оперативной замкнутости систе-

мы; наоборот, она предполагает ее. Кроме прочего, это превосходно объясняет то обстоятельство, что коммуникация между организациями часто соскальзывает в нечто почти ни о чем не говорящее или, с другой стороны, зачастую отличается ошеломительным своеобразием для окружающего мира и с трудом поддается пониманию. Охотнее всего организации поддерживают коммуникацию с организациями, и тогда они часто рассматривают частных лиц так, словно те являются организациями; или, с другой стороны, словно те требуют ухода, особой помощи и наставлений.

То, что организации могут поддерживать коммуникацию вовне, достигается, прежде всего, посредством их иерархической структуры. Об иерархии мы можем говорить в двояком смысле. С одной стороны, в случае с организациями подсистемы образуются лишь в рамках подсистем – а не просто на основе внутреннего окружающего мира, как свободная поросль.¹³ Иначе, нежели общество как система, организация предпочитает и реализует иерархию по принципу “ящик в ящике”. Но в силу этого одновременно формируются индикаторные цепи – иерархии в совершенно ином смысле. Эти цепи гарантируют формальную разрешимость конфликтов, тогда как дифференциация по “ящичному” принципу гарантирует, что таким способом остается достижимой вся система. Как нам сегодня известно, такая структура не обязательно приводит к концентрации власти у верхушки, и современные теории “руководства” в организациях описывают, как следует себя вести, чтобы вопреки связанным с этим затруднениям добиваться своего. Но несмотря на эту проблему распределения власти иерархия оказывается достаточной, чтобы обеспечить осуществление коммуникационной способности по направлению вовне – не в последнюю очередь, потому, что внутренние властные игры непрозрачны для посторонних, и посторонние должны полагаться на то, что говорится официально.

Очевидно, речь здесь идет о в высшей степени современных положениях вещей, отсутствующих в традиционных обществах вовсе. В исторической ретроспективе и здесь (как и в случае

общество/интеракция) мы видим, что в общественных формациях прошлого типы систем различались неотчетливо. Само общество понималось как союз членов, как социальное “тело”, к которому одни люди принадлежат, а другие нет. Но тогда приходится отказаться от подвижности кондиционирования членства. В сегментарных обществах мы находим высокую мобильность между поселениями и родами, а также применительно к изгнаниям, например, в связи с совершением наказуемых проступков. Саморегулирование необходимых для этого условий является при этом незначительным. Более обширные общества с большим успехом способны укреплять проблемы мобильности изнутри. Но и здесь речь идет об инклюзии или эксклюзии всего человека, и в этом состоит решающее ограничение способности к регулированию. Только современное общество может от этого отказаться.

Те организации, которые формируются в традиционных обществах, всегда выстраиваются по образцу корпораций.¹⁴ Это относится, например, к военным подразделениям, как и к храмам и монастырям. Членство и тут предполагает полную инклюзию – здесь и больше нигде, даже не в других домашних хозяйствах. Могут существовать строгие правила, например, монастырской дисциплины, но они не воспринимаются только как предпосылки для принятия решения. Авторитет же и подавно не основывается на решениях. Офицеры, епископы, аббаты и аббатисы происходят из знати.

Однако уже в Средние века рамки такой альтернативы между домашним хозяйством и корпорацией становятся слишком тесными. Высокоразвитая правовая культура делает возможными слияния домашних хозяйств, которые становятся достаточно эффективными для “экономического” обеспечения жизнедеятельности. Это касается, прежде всего, цехов и гильдий, но также корпоративного устройства сословий. Как раз в этом экономическом самообеспечении их членов заключаются мотивы образования организаций в области политики и, прежде всего, в том, что связано с привилегиями. Организации теперь оказываются привлекательными не из-за того, что в них можно зара-

батывать на жизнь; следовательно, для них нет необходимости конкурировать за членов, соревнуясь в денежных выплатах.

Современное общество отказывается от того, чтобы самому быть организацией (корпорацией). Оно представляет собой замкнутую – и поэтому открытую – систему любых коммуникаций. И в то же время оно учреждает в самом себе аутопойетические системы, функционирование которых состоит в самовоспроизводящемся принятии решений – т. е. учреждает организации в таком смысле, который следует отличать как от интеракции, так и от общества. Организации могут согласовывать друг с другом несметные множества интеракций. Интеракции, *хотя они постоянно и неизбежно происходят одновременно*, творят чудо, когда синхронизируются в своем прошлом и будущем. И это совершается посредством упомянутой техники принятия решения о предпосылках решения на основании готовности к согласию в некоей “zone of indifference”¹⁵, каковая готовность обеспечивается через членство. Правда, организация стоит денег. И она требует полной независимости своих членов от инструмента связывания, характерного для старого мира – от собственных других ролей. Там, где такие связи продолжают существовать, они предстают теперь как проявление коррупции.¹⁶

Аутопойетические системы организации могут компенсировать утрату авторитета, которая становится неизбежной, когда общество переходит от стратификации к функциональной дифференциации; когда развиваются книгопечатание и грамотность населения, а старый “экономический” порядок домашних хозяйств преобразуется в современные, интимно связанные малые семьи. Тогда организации формируют собственный метод абсорбции неопределенности.¹⁷ При обработке информации на каждом месте данные сгущаются и извлекаются выводы, которые на следующих местах уже не перепроверяются – отчасти из-за того, что для этого не хватает времени и компетентности; отчасти потому, что хорошие вопросы формулировать трудно, и, прежде всего – потому что это не является обязательным. Абсорбция неопределенности также означает принятие на себя

ответственности за исключение возможностей; что также, в соответствии с традициями организации, означает принятие ответственности за ошибки.

Этот модус преобразования решений в решения *и является* аутопойезисом системы. Он трансформирует обусловленные внешним миром неопределенности во внутрисистемные определенности – не только в форме актов, но и в ней тоже. Как раз поэтому организации могут приспособиться к рискам, на которые они пошли, к конфликтам со всегда одними и теми же противниками, к конкуренции и т. д.¹⁸ В столь обширной и успешной абсорбции неопределенности они находят подтверждение, которое трудно чем-либо заменить. Так можно объяснить инерцию, часто приписываемую организациям как “бюрократиям”. Как раз потому, что под всей определенностью предпосылок для решения кроется неопределенность, на эту инерцию не следует посягать. Как раз потому, что речь идет о самопроизведенной конструкции, не следует ей довольствоваться. Это вовсе не исключает возможность ирритации, но она должна сцепляться с событиями, способными представлять в системной коммуникации в качестве новых и непредусмотренных.

Для этого процесса абсорбции неопределенности внешние источники авторитета излишни. Организация может обойтись без них. В известном объеме процессы селективного рекрутирования персонала имеют дело с социально предзаданными различиями – например, с отношениями собственности на хозяйственные предприятия, с политическими контактами, с обеспеченным образованием уровнем профессиональной компетенции. Но тем самым общество не подчиняет организации режиму предзаданного (например, сословного) авторитета. Ведь организации используют механизм рекрутирования персонала для добывания ресурсов; и внутренний авторитет может тогда и независимо от порядка компетенций и от полномочий исходить из того, что благодаря конкретным личностям может достигаться исключительный и дифференциальный доступ к ресурсам окружающего мира. Так, торговый представитель с хорошими контактами с клиентурой может пробивать внутри

фирмы особые условия для клиентов. Блестящая, любимая публикой актриса может оказывать влияние на режиссуру.

Классические описания Макса Вебера соответствуют таким положениям вещей недостаточно точно и, прежде всего, недостаточно реалистично. Каждый, кто работал в организациях, знает высокую степень персонализации наблюдений, в особенности – в связи с оценками труда и с карьерным положением. Кроме того, типичная для интеракции тематизация собственных других ролей дает о себе знать по отношению к правилам и здесь. (Некто по утрам должен сначала отвести ребенка в детский сад, а потом идти на службу – и на работе к этому относятся с пониманием). Важнее опыт, касающийся другой стороны явления: как раз хорошо функционирующая и вполне выстроенная по модным направлениям рационализации и демократизации организация порождает своеобразные случаи иррациональности.¹⁹ При растущей сложности решения посредством решений через решения о решениях аутопойезис развивает подходящие для этого структуры и возрастающую тенденцию решать в пользу непринятия решений. Для исправления собственных дефектов аутопойезис может, опять-таки, применять лишь те же средства, что их и породили, а именно – решения.²⁰ Кроме того, структурному сопряжению здесь недостает индивидуальной мотивации. Поскольку непрерывно приходится решать и решать, недостает мотивации для того, чтобы при претворении решения в жизнь противодействовать внутренним и внешним сопротивлениям. Для этой задачи каждая организация выделяет “политику”, которая, однако, зачастую не может реализоваться.²¹ Так становится понятным, почему современная рефлексия использует двойную сетку понятий, чтобы охватить это положение вещей. Она говорит об организации, когда хочет обозначить необходимость и позитивные стороны феномена, и о бюрократии, когда речь идет о его негативных сторонах. Современной рефлексии, однако, не хватает понятия для единства организованных социальных систем, и, соответственно, теории организации, удовлетворяющий целям общественной теории.

Подобно интеракциям, организациям нет необходимости

учреждаться, имея в виду единство системы общества. Они могут возникать свободно, без общественного “системного принуждения”, и существует бесчисленное множество организаций (их часто по ошибке называют “добровольными” объединениями или ассоциациями), не подчиняющихся никакой из общественных функциональных систем. Тем не менее, все организации получают выгоду от сложности общественной системы, каковая сложность в ее сегодняшнем объеме стала возможной только благодаря функциональной дифференциации. Поэтому лишь с небольшим преувеличением можно сказать, что только при режиме функциональной дифференциации дело доходит до такого типа аутопойетических систем, каковой мы обозначаем как *организованную социальную систему*. Только теперь для этого существуют достаточно многочисленные ниши. Только теперь есть достаточно обширное поле для решений. Только теперь оказывается оправданным подход к окружающему миру как настолько сложностному, что ему внутренне могут соответствовать уже не факты, знаки и репрезентации, но лишь решения.

Однако же неоспоримо, что если и не большинство организаций, то важнейшие и крупнейшие из них образуются в пределах функциональных систем, в силу чего перенимают их функциональные приматы. В этом смысле можно различать хозяйственные организации, государственные и прочие политические организации, школьные системы, научные организации, организации по законодательству и отправлению правосудия. Совершенно очевидно, что способ реализации организационных возможностей варьирует от одной функциональной системы к другой. Однако в этом месте мы не можем входить в детали данной классификации. Мы должны ограничиться прояснением отношений между функциональными системами и “их” организациями – принимая в качестве предпосылки, что в обоих случаях мы имеем дело с аутопойетическими системами, хотя в то же время бесспорно, что такие организации формируются в функциональных системах для выполнения их операций и для осуществления их функционального примата.

Исходный пункт для дальнейшего анализа заключается в усмотрении того, что *ни одна функциональная система не может достичь собственного единства как организации*. Или иначе говоря: ни одна организация в сфере какой-либо функциональной системы не может перетянуть на себя все операции этой функциональной системы и осуществлять их в качестве собственных. Так, воспитание всегда происходит и за пределами школ и университетов. Медицинская помощь предоставляется не только в больницах. Гигантская организация в политической системе, называемая “государством”, как раз служит причиной тому, что существуют соотношенные с государством разновидности политической деятельности, которые не функционируют в качестве государственных решений. И, само собой разумеется, организации правовой системы, в первую очередь, суды, принимаются во внимание лишь тогда, когда это представляется целесообразным с точки зрения коммуникации относительно права и его нарушений, имеющей место за пределами соответствующей организации.

Но и организации в рамках функциональных систем должны рассматриваться как оперативно замкнутые, самостоятельные на основе своих решений социальные системы. Они берут на себя функциональный примат (правда, часто с уступками другим функциям, например, с принятием во внимание экономичности в применении бюджетных средств). Они заимствуют двоичный код у соответствующих функциональных систем. Только при выполнении обоих этих условий эти организации могут соотносить собственные операции с соответствующей функциональной системой и распознаваться, например, в качестве судов, банков или школ. А вот собственный мир они обретают и организуют благодаря дальнейшему различению, а именно – между программами и решениями. Программы представляют собой ожидания, значимые для более чем лишь одного решения. В то же время они диктуют поведение, облеченное в форму решения, применять или не применять программу.²² Любое запрограммированное поведение есть поведение, ориентированное на решение – даже тогда, когда сама программа

является продуктом (в свою очередь, запрограммированного) поведения, ориентированного на решение. И так, связь между программой и решением может быть рекурсивно замкнутой, может организовываться циклически. В этом смысле все организации представляют собой структурно детерминированные системы – причем без импорта структур из их (внутреннего для функциональных систем или внутреннего для общественных систем) окружающего мира.

Все это (и с тем большим основанием) относимо и к весьма смутно сформулированным программам, например: оптимизируй результаты производства, взаимно выравнивай интересы. Это имеет место и тогда, когда в качестве программ функционируют только цели, а прочие условия не заданы. Тем самым возникают проблемы интерпретации или “факторизации” программы²³, которые, однако, могут и должны решаться в организации. А где же еще?

В отличие от того, как это хотела бы видеть господствующая, политически ориентированная перспектива, организации функциональных систем служат не для исполнения или “превращения в жизнь” решений, принимаемых в центральных органах. Ведь исполнимые решения могут приниматься только в самих организациях, а центральные органы представляют собой части организационной сети. Чтобы быть в состоянии распознать функцию организаций в построении функционально дифференцированного общества, следует не упускать из виду того, что организации являются единственными социальными системами, которые могут поддерживать коммуникацию с системами их окружающего мира. Сами функциональные системы этого не могут. Ни наука, ни хозяйство (но также не и политика, и не семья) не могут вступать в качестве единств во внешнюю коммуникацию. Чтобы наделить функциональные системы способностью к внешней коммуникации (которая – будучи коммуникацией – естественно, всегда является исполнением аутопойезиса общества), в функциональных системах должны формироваться организации – с произвольно присваиваемыми представительскими ролями, как в случае союзов рабо-

тодателей и наемных работников, якобы высказывающихся от имени “экономики”²⁴; или же со сложностными, вложенными друг в друга организационными единствами, правительствами, международными корпорациями, военным руководством. Много из этого – правда, в теоретически не проработанных перспективах – стало материалом новейших исследований о “нео-корпоративизме”. Так, сложная теория общественного управления, над которой работает Гельмут Вилльке, полагает в качестве предпосылки коммуникационную способность частных систем общества (например, способность к самообязыванию через коммуникацию в межсистемных отношениях).²⁵ Однако же растущее значение организаций в функциональных системах наталкивается на невозможность организовать сами функциональные системы – и даже сводится на нет из-за этой невозможности. Тем самым мы видим, в сколь большей степени организации формируются, ориентируясь на постоянно вновь возникающую потребность в синхронизации, именно таким образом реагируя на искусственность дифференциации общественной системы по функциям.

Функциональные системы рассматривают инклюзию – т. е. доступ для всех – в качестве нормального случая. Для организаций же верно обратное: они исключают всех, кроме в высшей степени селективно избранных членов. Это различие как таковое обладает функциональной важностью. Ведь только с помощью внутренним образом сформированных организаций функциональные системы могут регулировать собственную открытость для всех и по-разному относиться к индивидам, хотя доступ у всех одинаковый. Итак, различие в способах формирования системы позволяет практиковать в одно и то же время и инклюзию, и эксклюзию. И оно позволяет также сохранить это различие даже при высокой сложности системы и снимать противоречие между инклюзией и эксклюзией как раз при помощи сложности. Принцип равенства истолковывается юристами не как запрет на неравенство, а как запрет на произвол. Это отсылает к организации как к инструменту регулятивной спецификации. Или, иначе формулируя: тезис о равенстве

– не обуславливающая программа²⁶, но ограничительный принцип. Он может предполагаться в качестве предпосылки, если речь идет о непротиворечивой практике различения.

Это различие в трактовке проблемы *инклюзии/эксклюзии* начинает сказываться на деле. С одной стороны, доступ к организованному труду (а уже не “эксплуатация” в организованном труде) превращается в проблему. С другой же стороны, во многих функциональных системах, но прежде всего в политической, формируется враждебная реакция на то, что дозволяется индивиду в результате организованных процессов принятия решения. Если сегодня вновь много говорится о *civil society*, *citizenship*, гражданском обществе²⁷, то тем самым не продолжается Аристотелева традиция и политическая ангажированность не задействуется против хозяйственных интересов – импульс здесь большей частью антиорганизационный. Речь идет об участии в публичных делах без членства в организациях. Кроме того, проблема заключается уже не в особой форме господства “бюрократии”, но, скорее, в неудовлетворительных результатах организованной “абсорбции неопределенности”, которые в значительной степени ограничивают то, что возможно в функциональных системах.

Дальнейшая и, возможно, еще более важная точка зрения такова: организации служат *прерыванию взаимозависимости* в функциональных системах. Относительно необходимости такого прерывания взаимозависимости теория “государства и общества”, пребывавшая в заблуждении, как бы допуская лишь единственный случай несовпадения между ними; но и тогда в отношении государства она делала упор на единообразную политику, а в отношении экономики – на равновесие. Однако действительность уже давно функционирует иначе – и, как мы догадываемся, не без оснований. Политические программы составляются политическими партиями, т. е. организациями, по системному императиву должны отличаться от других (что в связи с объективной логикой проблем не всегда легко удается); а решения об актуализации политики выносятся другой организацией: государством, которое среди прочего организует и поли-

тические выборы. Без этой дифференциации на организационном уровне и без ставшего возможным благодаря ней непрерывного наблюдения за наблюдениями никакая демократия не была бы возможна. Схожим образом дела обстоят и с хозяйственной системой. И здесь хотя представление о полном равновесии в конкуренции способствует математическим формулировкам в теории рефлексии системы – оно все-таки не соответствует реальности, что тоже известно с давних пор.²⁸ Скорее, в хозяйстве организуются специфические для хозяйства прерывания взаимозависимости, которые препятствуют тому, чтобы каждая цена зависела от всех остальных цен, и как раз благодаря этому позволяют достичь хозяйственной рациональности если не в состоянии системы в целом, то, пожалуй, на уровне специфических для предприятия балансов. И даже здесь эта форма прерывания взаимозависимости вызывает и вынуждает замену недостижимой рациональности единства непрерывным наблюдением за наблюдателями. Хотя организации не допускают наблюдения в отношении процессов своих решений, их, пожалуй, можно наблюдать в связи с устанавливаемыми ими ценами.

Тем самым на место иерархической концепции отношений между функциональными системами и организациями приходит своего рода сетевая концепция.²⁹ Организации развертывают собственную динамику, которая улавливается в функциональной системе методом наблюдения второго порядка – причем при условии непрерывной реактуализации: например, в форме рынка, через общественное мнение, в непрерывно выходящих научных публикациях или правовых текстах. Статистический контроль остается возможным, так как существуют особые организации, которые оценивают данные. Но в хозяйственной системе, к примеру, отчетливо проявляется, что системоопределяющие решения выносятся работниками фирм, а такие инстанции контроля, как биржи или центральные банки с собственными рекурсивностями, влияют на ход событий опять-таки только в качестве организаций. Никакая организация не представляет систему в системе, и каждая несет ответ-

ственность лишь за себя. Устанавливающиеся при этом обратные связи невозможно представить в форме равновесных моделей. Они склонны к внезапному образованию агрегатов эффектов, которые могут опять-таки воздействовать на организации извне и передавать возникающие при этом потрясения также и в другие функциональные системы.

Разумеется, освоиться с такой необычной теоретической перспективой совсем не просто. Стоит ли это делать – решается по результату. Во всяком случае, теория, столь решительно настроенная на оперативную замкнутость и аутопойезис, проясняет, что, с одной стороны, возникновение организаций безусловно возможно лишь в обществах – но затем оно самостоятельным образом вносит вклад в общественную дифференциацию, и притом в двояком смысле: для дифференциации общественной системы и ее функциональных систем по отношению к аутопойезису организаций и, с помощью этого аутопойезиса, для дифференциации функциональных систем по отношению друг к другу и к их соответствующему окружающему миру. Таким образом можно прояснить бросающееся в глаза структурное расхождение – а именно: современное общество больше, чем любое предшествующее, зависит от организации (и даже вообще впервые создало особое понятие для нее³⁰); но, с другой стороны, современное общество меньше, чем любое прежнее, может в своем единстве или в своих частных системах пониматься как организация.

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. XIV:

- ¹ Об этом Stanley H. Udy, Jr., *Work in Traditional and Modern Society*, Englewood Cliffs N.J. 1970.
- ² То, что это удается не во всех отношениях и достигается поначалу главным образом для мужчин, проявляется на примере домашнего труда, который теперь все больше ощущается как ущемление женщин. На примере ожидаемого от женщин труда (домашнее хозяйство, воспитание детей, готовность к гостеприимству) проявляются остаточные обстоятельства непосредственной общественной обусловленности – и это тем более, когда исчезают домашние слуги, а от домо-

- хозяек ожидается, что они будут заниматься и их трудом. Вместо привычного гнева на слуг теперь домохозяйкам приходится иметь дело с поломкой технических приборов и с переложением риска за собственный труд на рынок.
- ³ После отмены рабства, например, работа на сахарных плантациях Бразилии стала сезонной, все же, что касалось межсезонья, не обговаривалось вовсе.
- ⁴ То, что со статистической точки зрения еще приходится считаться с отчетливыми взаимосвязями между расслоением общества и образованием, теперь рассматривается как проблема равенства шансов и социальной справедливости и едва ли воспринимается как шанс на рекрутирование признаков, которые гарантируются расслоением. Дипломатическая же служба рекрутирует только аристократические имена.
- ⁵ Подробнее об этом: Niklas Luhmann, Funktionen und Folgen formaler Organisation, Berlin 1964.
- ⁶ Об этом G. L. S. Shackle, Imagination and the Nature of Choice, Edinburgh 1979; его же, Imagination, Formalism, and Choice, in: Mario J. Rizzo (ed.), Time, Uncertainty, and Disequilibrium: Exploration of Austrian Themes, Lexington Mass. 1979, pp. 19-31 – правда, с уклоном в радикальный субъективизм. См. также Niklas Luhmann, Die Paradoxie des Entscheidens, Verwaltungsarchiv 84 (1993), S. 287-310.
- ⁷ См. Karl E. Weick, Der Prozeß des Organisierens, dt. Übers. Frankfurt 1985, S. 276 ff. Относительно новейшей дискуссии о “postdecision surprises” см. J. Richard Harrison / James G. March, Decision Making and Postdecision Surprises, Administrative Science Quarterly 29 (1984), pp. 26-42; Bernard Goitein, The Danger of Disappearing Postdecision Surprise: Comment on Harrison and March “Decision Making” and Postdecision Surprise”, Administrative Science Quarterly 29 (1984), pp. 410-413. См. также Joel Brockner et al., Escalation of Commitment to an Ineffective Course of Action: The Effect of Feedback Having Negative Implications for Self-identity, Administrative Science Quarterly 31 (1986), pp. 109-126; Niklas Luhmann, Soziologie des Risikos, Berlin 1991, S. 201 ff.
- ⁸ См., например, для случая с надзором за загрязнением вод Keith Hawkins, Environment and Enforcement: Regulation and the Social Definition of Pollution, Oxford 1984, особ. P. 57 ff.
- ⁹ Как часто отмечается в дискуссиях, это касается полицейских патрульно-постовой службы, учителей, социальных работников. В то же время мы видим, что это невозможно, когда речь идет о контроле над подверженными высокому риску промышленными предприятиями, и грандиозные аварии показывают, что на этой внешней границе система может быть особенно чувствительной.

- ¹⁰ Мы вскоре вернемся к “абсорбции неопределенности”, которая достигается секвенцированием решений.
- ¹¹ См. James G. March/Johan P. Olsen, Ambiguity and Choice in Organizations, Bergen 1976.
- ¹² Как правило, соответствующие соображения мы находим в литературе о “коллективной способности к деятельности”. Парсонс говорит о “collectivities”. Однако надо дополнительно уточнить, что совместное действие (пиление, переноска груза и т. д.) здесь уже не считается коллективным действием. Такого можно достичь, лишь ориентируясь на “коммуникацию от имени коллектива”.
- ¹³ Когда формируются такие незапланированные системы, мы говорим о “неформальной” организации. Однако же тогда типичным для нее является нетипичное структурирование: отсутствие фиксированного членства, неопределенная идентифицируемость, мотивация к девиантному поведению – но все-таки мотивация! – и т. д. Кроме этого, с недавних пор мы обнаруживаем и организации, которые связывают различные организации на нижних уровнях и больше не допускают однозначной иерархической упорядоченности. Спрос на такие объединения фирм возникает, в первую очередь, в силу практикуемого ими принципа доставки “just in time” [как раз вовремя], благодаря чему становится возможно обойтись без складирования и ускорить производство.
- ¹⁴ Как известно, на примере эволюционного достижения, заключающегося в дифференциации семей от корпораций, Дюркгейм трактовал саму парадигму дифференциации во Введении ко 2-му изд. “О разделении общественного труда”.
- ¹⁵ См. Chester I. Barnard, The Function of the Executive (1938), Cambridge Mass. 1987, p. 187 ff. [zone of indifference (англ.) – зона безразличия – прим. пер.]
- ¹⁶ Тем самым не исключено, что коррупция представляется совершенно нормальным явлением, неизбежным для доступа к организациям. В этом смысле продолжают существовать и отношения *патрон/клиент*. Во всяком случае, коррупцию в этом смысле следует отличать от коррупции, опосредованной деньгами, которая юридически (но зачастую без каких-либо последствий) может быть запрещена.
- ¹⁷ См. James G. March/Herbert A. Simon, Organizations, New York 1958, p. 165 f.
- ¹⁸ Об этом на примере политических партий Niklas Luhmann, Die Unbeliebtheit politischer Parteien, Die politische Meinung 37, Heft 272 (1992), S. 177-186.
- ¹⁹ Об этом на материале шведского опыта см. Nils Brunsson, The Irrational Organization: Irrationality as a Basis for Organizational Action and Change, Chichester 1985.

- ²⁰ В качестве впечатляющего примера см. “баланс дебиюкратизации” во втором докладе по упрощению права и управления, изданном Федеральным министерством внутренних дел, Бонн, июнь 1986. В соответствии с этим докладом, чтобы избежать ненужных положений, каждая процедура урегулирования должна подвергаться десяти проверочным вопросам с до 11 (всего 48) подвопросами, и каждый из них вносит в процесс решения опять-таки недостаточно определенную сложность. В соответствии с этим, каждое решение необходимо, прежде всего, умножать на 48 или, если приходится считаться со взаимозависимостями, на 2 в сорок восьмой степени! В таком случае позаботиться об упрощении здесь может только практика.
- ²¹ Между тем, имеется много литературы о “микрופолитике” и соответствующих “играх”. См., например, Tom Burns: *Mechanisms of Institutional Change*, *Administrative Science Quarterly* 6 (1961), pp. 257-281; Michael Crozier/Erhard Friedberg, *L'acteur et le système*, Paris 1977; Willi Küpper/Günther Ortman (Hrsg.), *Mikropolitik: Rationalität, Macht und Spiele in Organisationen*, Opladen 1988; Günther Ortman, *Formen der Produktion: Organisationen und Rekursivität*, Opladen 1995.
- ²² Подробнее о взаимосвязи между ожиданием и решением: Niklas Luhmann, *Soziologische Aspekte des Entscheidungsverhaltens*, *Die Betriebswirtschaft* 44 (1984), S. 591-603.
- ²³ Хороший пример: Herbert A. Simon, *Birth of an Organization: The Economic Cooperation Administration*, *Public Administration Review* 13 (1953), pp. 227-236.
- ²⁴ Кто действительно хочет знать, что имеет в виду “экономика”, получает лучшую информацию, читая биржевые сводки; ведь если коммуникацию организуют, то, возможно, при этом и вводят в заблуждение, и обманывают.
- ²⁵ См. теперь Helmut Willke, *Systemtheorie entwickelter Gesellschaften: Dynamik und Riskanz moderner gesellschaftlicher Selbstorganisation*, Weinheim 1989, особ. S. 44 ff., 103 ff., 111 ff.; ders. *Ironie des Staates: Grundlinien einer Staatstheorie polyzentrischer Gesellschaft*, Frankfurt 1992; ders. *Systemtheorie III: Steuerungstheorie: Grundzüge einer Theorie der Steuerung komplexer Sozialsysteme*, Stuttgart 1995. В противовес этому, отчетливое различие между первичными общественными подсистемами и (их) организациями обращает внимание на ту проблему, что организации могут посредством коммуникации утверждать разведать самих себя, но не “политику”, “экономику”, “науку” и т. д.
- ²⁶ Об этом см. Adalbert Podlech, *Gehalt und Funktionen des allgemeinen Gleichheitssatzes*, Berlin 1971, S. 50.
- ²⁷ См. только John Keane (ed.), *Democracy and Civil Society*, London 1988; его же (ed.), *Civil Society and the State: New European Perspectives*,

- London 1988; Jean Cohen/Andrew Arato, *Civil Society and Political Theory*, Cambridge Mass. 1992.
- ²⁸ В хозяйственной теории растущее понимание значения организаций было тесно взаимосвязано с критикой предпосылок теории рынка с безусловной конкуренцией. См. только Herbert A. Simon, *Models of Man – Social and Rational: Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting*, New York 1957. Другой путь пролегал через специфически экономический вариант *Input/Output*-анализа. См. работу, принадлежащую его основателю: Wassily W. Leontief, *Die Methode der Input-Output-Analyse*, *Allgemeines statistisches Archiv* 36 (1952), S. 153-166.
- ²⁹ Стимулирующая работа здесь: Karl-Heinz Ladeur, *Postmoderne Rechtstheorie: Selbstreferenz – Selbstorganisation – Prozeduralisierung*, Berlin 1992, особ. S. 176 ff.
- ³⁰ О весьма неопределенном еще в первом десятилетии девятнадцатого века развитии этого понятия: Niklas Luhmann, *Organisation*, *Historisches Wörterbuch der Philosophie* Bd. 6, Basel-Stuttgart 1984, Sp. 1326-1328.

XV. ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ

До сих пор разработанная системная типология (общество, ин-теракция, организация) оказывается недостаточной, чтобы охватить еще один феномен. Поэтому (без оглядки на эстетику теории) мы должны присовокупить сюда еще один раздел, посвященный социальным движениям. При этом недостаточным будет заимствовать разработанный в Чикагской школе термин *collective behavior*^{*}. Это понятие было направлено против индивидуалистических просвещенческих подходов, т. е. зиждилось на различении *индивид/коллектив*. Но проблема не в этом. Дело в том, что такие движения – одной лишь социальной открытостью для все новых приверженцев – пытаются мобилизовать общество против общества. Как вообще такое возможно?

Попытка провести границу, чтобы с другой ее стороны наблюдать за Богом и его творениями, как считалось в древности привело к падению ангела Сатаны. Ведь наблюдатель – поскольку он видит наблюдаемое *и другое* – сочтет себя лучшим и тем самым разминется с Богом.¹ В сегодняшнем мире эту попытку предпринимают протестные движения. Но их постигает не падение, а подъем. Они не минуют Бога (к ним даже присоединяются теологи), так что основной признак греха, отдаленность от Бога, для них не характерен. Сочувствующие протестным движениям даже утверждают, что эти движения повысили скорость производства хороших оснований.² Но присущая дьяволу техника наблюдения, прочерчивание границы *в единстве против* этого единства, копируется; проявляется и последствие: неотрефлексированное самомнение. Соответствующим образом производится и вменение в вину. Судьба общества не коренится в непостижимом Божьем промысле. Судьба общества – это другие.

То, что протестные движения не падают, а поднимаются, можно связать с перестройкой общества на функциональную дифференциацию. Это приводит нас к еще одному парадоксу. Примыкая к Парсонсу, мы можем исходить из взаимосвязи меж-

ду большей дифференциацией и большим обобщением символических основ, в особенности – “ценностей”, посредством которых общество пытается сформулировать свое единство.³ И все-таки что происходит, если обобщенные ценности больше не могут найти места в дифференцированном обществе? Если – несмотря на то, что они формулируются и признаются – их реализация оставляет желать лучшего? Похоже, социальные движения ищут ответ на эту проблему, и этот ответ принимает форму другого парадокса, а именно выражается как протест общества (а не только отдельных действующих или особых интересов) против общества. Руководствуясь этой догадкой, в конце главы мы зададимся вопросом о структурных основаниях дифференциации этого очевидно нового явления.

Пока что неоспоримо следующее: протестные движения наших дней нельзя сравнивать ни с религиозными движениями обновления, ни с экономически обусловленными мятежами и бунтами старого мира.⁴ Отчетливо распознаваемо здесь и их тематическое разнообразие, прежде всего, во второй половине нашего столетия. Так называемые “новые социальные движения” уже не укладываются в протестную модель социализма. Они соотносятся не только с последствиями социализации и имеют целью не только лучшее распределение благосостояния. Их поводы и темы стали гораздо более гетерогенными. Можно вспомнить о прогибиционистском движении в США в двадцатые годы, или о феминистском движении наших дней; но прежде всего на передний план выдвинулась экологическая тематика. Тем сложнее представляется понимание этих новых социальных движений исходя из их целей.⁵ Это особенно верно, если учесть и третье поколение, “новейшее новое” социальное движение: движение ксенофобов, которое к тому же расторгает всякие коалиции со ставшими с течением времени классическими протестными движениями и привлекает общественное внимание разве что только спонтанными актами насилия, т. е. действуя криминальным путем. Если мы спросим его сторонников о их мотивах, то они укажут на своих противников, иностранцев, сами же протесты служат почти исключительно “самореализа-

ции” в модусе поведения низших слоев.⁶

Значительные части общественности характеризуют этот феномен с позиции различия между рациональными и иррациональными (эмоциональными) мотивами. Мы считаем подобную контроверзу бесполезной.⁷ Она лишь воспроизводит господствующее суждение об инклюзии и эксклюзии (в частности об аутоэкслюзии). Она только переформулирует перспективы участников и сочувствующих, с одной, и их противников, с другой стороны. Вместо этого мы исходим из наблюдения, согласно которому протестные движения некорректно понимать ни как системы организации, ни как системы интеракции.

Организациями они не являются уже потому, что организуют не решения, а мотивы, *commitments*, обязанности. Они стараются внести в систему как раз то, что должна предполагать организация и за что ей приходится платить: мотивацию членства. Подобно тому, как организации выделяют “политику”, так и протестные движения выделяют “организацию” лишь для того, чтобы решать остальные проблемы. Без организации “представительства” движения последнее могло бы только действовать, только наличествовать, но не вести внешнюю коммуникацию. Если имеются продуманно действующие организации (например, “Тринпис”), то они предполагают латентную, но активируемую готовность к протесту, которая будет реагировать, к примеру, на призывы к бойкоту (пока это не является слишком обременительным). Рекрутирование приверженцев протестных движений не может происходить через общее подчинение условиям членства или через принятие их к исполнению посредством решений. В отличие от организаций, потребность протестных движений в персонале безгранична. Если бы мы захотели воспринимать протестные движения как организации (или организации в процессе возникновения), то столкнулись бы с признаками, указывающими на недостаточность этой точки зрения: они гетерархичны, а не иерархичны, полицентричны, сетеобразны и, прежде всего, не контролируют процесс собственного изменения.

Но протестные движения – это также и не системы интерак-

ции. Конечно, интеракция здесь, как и повсюду, неизбежна. Но, в первую очередь, она служит тому, чтобы продемонстрировать единство и размеры движения. Отсюда интерес к “демонстрациям” и фокусирование активности на них (причем ассоциация между демонстрацией и демократией – полезная лингвистическая случайность). Интеракция доказывает ангажированность; “приходите!” – таков ее лозунг. Но смысл совместного бытия (как и в организациях, только иным образом) располагается за пределами совместного бытия. Для участников движения он складывается из в высшей степени индивидуальных проблем “поисков смысла” и “самореализации”, а эти проблемы могут объединяться посредством социальной фокусировки и быть используемыми лишь по случаю и негарантированно.⁸

Социалистическое движение XIX века, делая акцент на положении классов и организации фабрик, могло предполагать единообразную мотивацию, допускающую единообразие подходов. Или же, по меньшей мере, это движение так конструировало свой мир. Поэтому оно было способно как к организации, так и даже к теории. С сегодняшними “новыми” социальными движениями дела обстоят иначе. Им приходится иметь дело с более индивидуализированными индивидами и, как указывалось, с индивидами, которые воспринимают требования к своему жизненному положению как парадоксальные⁹ и поэтому нуждаются в экстернализации, “смыслонаделениях”, различениях для раскрытия этой парадоксальности. Новые социальные движения предъявляют притязание (которое каждый может истолковывать на свой лад) на то, что их стремления к самоопределению образа жизни не могут быть ущемлены (а если могут, то лишь по разумным причинам). Их аргументы – аргументы “задронутых” для “задронутых”. Наиболее чувствительными к таким парадоксам по отношению к самим себе оказываются, прежде всего, молодые люди и люди с университетским образованием. Но это означает, что оперирующие подобной парадоксальностью новые социальные движения находят мотивы для участия в них у заведомо нестабильной публики. Их потенциал рекрутирования основывается на существенном ослабле-

нии значения принадлежности, как и, скорее всего, на глубоко вторгающейся в частную жизнь филигранной работе правового государства, которая делает ненужной заботу о связи с другими.¹⁰ К тому же, тем самым они (как раз в своем обособлении) сильнее зависят от социально-структурных условий, например, от остаточной веры в государство, которое – если бы только захотело – могло бы помочь, и от социальной нормальности резкого различия во мнениях между поколениями (в том числе – и прежде всего – в семьях).¹¹

С тем большим основанием следует абстрагировать точку зрения, способную катализировать и фокусировать такие движения, наделить их идентичностью – и при этом свести на нет, сделать невидимыми их психические функции.

Единство системы протестного движения происходит из его формы, а именно из протеста.¹² Сама форма протеста дает понять, что хотя его участники ищут политического влияния, делают они это *не нормальными путями*. Это неиспользование нормальных каналов влияния должно в то же время показать, что речь идет о неотложном и затрагивающем самые основы, важном для всех деле, осуществлять которое невозможно обычным способом. Хотя эта протестная коммуникация происходит в обществе (иначе она не была бы коммуникацией), но таким образом, *будто она имеет внешний источник*. Саму себя она считает (хорошим) обществом¹³, что, однако, не побуждает ее протестовать против самой себя. Она проявляет себя как ответственность *за* общество, но *против* него. Это, конечно же, не касается всех конкретных целей таких движений; но формой протеста и готовностью применять более сильные средства, когда протест игнорируется, эти движения отличаются от реформаторских усилий. Энергию протестных движений, а также способность менять темы – внутри коммуникации протеста – можно объяснить, приняв во внимание то, что здесь находит форму маятникообразное движение между внутренним и внешним.

Кроме того, таким способом выражается особая тема общественной дифференциации, а именно – дифференциация между центром и периферией. Периферия протестует – но не про-

тив самой себя. Центр должен ее выслушивать и принимать протест во внимание. Поскольку же в современном обществе уже не существует общего центра, мы обнаруживаем протестные движения только в функциональных системах, образующих частные центры; прежде всего, в политической системе и – не столь отчетливо – в централизованных религиозных системах. Если бы такого различия *центр/периферия* не было, то протест как форма тоже утратил бы смысл, так как тогда не было бы и социальной границы между потребностью и ее удовлетворением (но была бы лишь предметная или временная граница).

Через форму протеста выносятся отчетливое решение *против когнитивного* и за *реактивный* подход.¹⁴ Применяются признанные, способные вызвать резонанс “scripts”, “сценарии”, (например, “борьба за мир”), но их заостряют относительно определенных решений проблем (здесь: против гонки вооружений); которые уже не встречают безоговорочный консенсус. Протестующие довольствуются сильно схематизированным изображением проблемы, что часто связано с постановкой “скандала”, и выставляют собственную инициативу в качестве реакции на невыносимые обстоятельства. И от адресатов тоже требуется реакция – а не дальнейшее стремление к познанию. Ведь если хлопоты о большей информации и о хорошо застрахованном планировании будущего размениваются по мелочам и уходят в бесконечное будущее, то реактивные методы обещают быстро достижимое воздействие. (В том, что реактивные методы свойственны не только протестному движению, можно убедиться, бросив взгляд на планирование в хозяйстве – от валютной политики центральных банков до производственного и организационного планирования в фирмах. Представляется, что и здесь временной фактор навязывает переход от преимущественно когнитивных к преимущественно реактивным стратегиям.)

В форме протеста среди прочего сообщается, что существуют заинтересованные и задетые лица, от которых ожидается поддержка. Как часто говорят, поэтому протестные движения служат и мобилизации ресурсов, и установлению новых свя-

зей. И только когда такая мобилизация осуществляется целесообразно¹⁵, можно вести речь о саморепродуцирующейся аутопойетической системе.¹⁶ В значительном объеме дело доходит тут даже до акций протеста (например, организации “Гринпис”), которые не ведут к формированию социальных движений, но воспроизводят сам протестный климат.

Форма “протест” дает протестным движениям то, чего функциональные системы достигают своим кодом. Также и эта форма имеет две стороны: протестующих, с одной стороны, и то, против чего направлен протест, с другой (включая тех, против кого протестуют). И здесь уже кроется проблема, которую невозможно преодолеть данной формой: протестное движение – только одна ее половина, а по другую сторону располагаются те, кто вроде бы безразлично или лишь с легкой ирритацией делают то, чего они и так хотят. Протест – уже структурно – отрицает общую ответственность. Он должен предполагать других, которые выполняют то, что требуется. Но как другие узнают, что они располагаются по другую сторону протестной формы? Как их можно заставить смириться с данным определением ситуации вместо того, чтобы следовать собственным конструкциям? Очевидно, только сильнодействующими средствами, посредством тревожной коммуникации, а также через массовое привлечение тел, демонстрирующих себя в представлении протеста¹⁷, но в первую очередь благодаря тайному союзу протестных движений с масс-медиа. Иными словами, здесь недостает рефлексии-в-себе, типичной для кодов функциональных систем; что взаимосвязанно с неутолимой потребностью протестных движений в мотивации, причем подобная потребность не может перенести *re-entry* различия в различное ни по одну, ни по другую сторону протеста как их основополагающего различия.

Недостает также учета самоописаний тех, против кого направлен протест. Их не пытаются понять. Мнения другой стороны в любом случае воспринимаются как тактические моменты собственного поведения. И поэтому велик соблазн совершать моральную вольтижировку на чужих лошадях.¹⁸ Итак, от протестных движений невозможно ожидать рефлексии второго

порядка, рефлексии над рефлексией функциональных систем. *Вместо этого* они утверждают форму протеста.

Тем самым форма протеста отличается от формы политической оппозиции в конституционно упорядоченной демократии. Оппозиция заведомо является частью политической системы, что должно сказываться в ее готовности принять на себя правление или участвовать в нем. Это имеет дисциплинирующий эффект. Несмотря на то, что критикой правительства можно заниматься риторически или ради предвыборной тактики, в конечном счете, следует быть готовым к тому, чтобы представлять и проводить в жизнь собственные взгляды как правительственные. Протестующие же соотносятся с этическими принципами; а если имеешь дело с этикой, то вопрос о том, в большинстве ты находишься или в меньшинстве, становится вторичным. Протест как таковой не нуждается в том, чтобы принимать все это во внимание. Он подает себя так, как если бы он представлял общество в противостоянии с его политической системой. Поэтому нет ошибки в том, чтобы видеть основу для возникновения протестных движений нового стиля в отдифференциации политической системы и относительном отсутствии резонанса в ней. Конституция служит замкнутости политической системы на самой себе.¹⁹ Протестные движения усматривают в этом провокацию провокации.

Протест не самоцель – даже для протестных движений. Им нужна тема, чтобы в связи с ней начать борьбу. То, что это должно происходить в форме протеста, протестные движения объясняют неподатливостью общества. Итак, то, что делает их протестными движениями, они относят к внешним обстоятельствам. Это допускает известную невинность действий “ради самого дела”. И все-таки жесты общественной критики и форма протеста служат им для того, чтобы за другими темами распознавать единомышленников и формировать соответствующие симпатии. “Новые социальные движения как движения способны к единству и действиям лишь в неспецифической протестной среде и только по отношению к темам, релевантным для всего общества”.²⁰ При этом то, что составляет характеристику

формы протеста, может скрываться темой отдельного движения, т. е. оставаться латентным и сдвигаться на его внешние отношения.

Темы, дающие повод для возникновения протестных движений, являются гетерогенными и остаются гетерогенными даже тогда, когда их объединяют в такие крупные группы, как “окружающий мир”, “война”, “положение женщин”, “региональные особенности”, “Третий мир”, “засилье иностранцев”. Темы соответствуют форме протеста, как программы – коду. Они проясняют, почему протестующие оказываются по одну сторону формы. Темы способствуют самопозиционированию соответственно форме. Поэтому речь здесь должна идти о темах, вызывающих разногласия; о темах, относительно которых с достаточной наглядностью можно было бы показать, что и почему могло быть иначе. Кроме того, речь должна идти о знании, способном усваиваться индивидуально, в силу чего исключается аналитическая глубина резкости. От протестных движений нельзя ожидать того, что они будут понимать, отчего вещи таковы, каковы они есть; нельзя ожидать и того, что они смогут уяснить, каковы будут последствия, если общество поддастся протесту.

Производству тем служат специфические формы, и две из них – в силу своей общности – достигли особой важности. Одна – “зонд” внутреннего равенства, который, будучи введенным в общество, выявляет неравенства. Другая – “зонд” внешнего равновесия, который, будучи используемым, показывает общество в целом в состоянии экологического неравновесия. Обе являются утопическими формами, так как неравенство и неравновесие суть как раз то, что характеризует систему. Итак, обе формы гарантируют, в принципе, неисчерпаемый резервуар для изобретения тем (подобно тому, как, например, в науке вновь и вновь производятся теории и методы, в хозяйстве – балансы и бюджеты, в политике – консервативные и прогрессивные “policies”). Проблема и инновативная способность протестных движений заключаются в спецификации их темы, т. е. в спецификации того, против чего высказывается протест. Но всякая тематизация должна обрисоваться на фоне того или иного об-

щества, отталкиваясь от чьих структурных признаков протест будет требовать их противоположности: равенства во внутренних и равновесия во внешних отношениях. Поэтому протест, в конечном счете, всегда описывает общество, которое открыто производит, покрывает, допускает и нуждается в том, против чего направлен протест.

Функциональные системы должны быть в состоянии в значительном объеме подхватывать и абсорбировать протестные темы. Это касается капиталистического хозяйства, масс-медиа, но также ориентирующей на общественное мнение политической системы. Это оказывает обратное воздействие на протестные движения – отчасти сказываясь в утрате привлекательных тем, отчасти в затвердении внутреннего ядра, которое с тем большим основанием должно настаивать на неосуществимом, но в результате и терять сторонников. Протестные движения живут напряжением между темой и протестом – и прекращаются из-за этого напряжения. Как успех, так и безуспешность здесь одинаково фатальны.²¹ Успешное преобразование темы происходит за пределами движения и в лучшем случае может быть отнесена на его счет как “историческая заслуга”. Безуспешность разочаровывает участников. Вероятно, эта дилемма служит причиной того, что новые социальные движения ищут контактов между собой и симпатизируют друг другу – достаточно соблюдения минимального условия некой альтернативности, протестности и нетождественности с “господствующими кругами”. Но таким образом достичь можно лишь того, что образуется культура протестования, способная подхватывать все новые темы.

Мы уже намекали на то, что форма протеста не является формой греха, и остается только уточнить: почему? Риторика предупреждения, предостережения и требования, очевидно, сменила сторону. Она уже не ориентирована в интересах порядка против грешников, но благоприятствует протесту. Институциональные критерии контроля не срабатывают или остаются релевантным только для организаций. Бедняки проповедуют Евангелие самим себе.²² Соответственно, и опасность рас-

полагается с другой стороны, а с ней – и всё то, что надо делать ради того, чтобы вновь обрести контроль над символикой угрозы и защиты.²³ Порядок греха пользовался возможностью объявляющим образом репрезентировать общество в обществе. Порядок протеста извлекает выгоду из того, что это больше невозможно. Но если при старом порядке грешниками были все (хотя одни меньше, чем другие), то протестным движениям необходимо пытаться рекрутировать сторонников и воздействовать на противников. По сравнению с обращением с грешниками это одновременно и легче, и тяжелее, причиной какового различия является смена формы общественной дифференциации.

Кроме прочего, это дает нам ключ к пониманию различия между темой переднего плана и общественным фоном. Протестные движения наблюдают за современным обществом в связи с его последствиями. Социалистическое движение, связанное с последствиями индустриализации, было только первым случаем протестных движений. Поскольку оно было их единственным вариантом, оно даже смогло разработать теорию общества, соответствовавшую этому протесту и некоторым образом объяснявшую его. Поэтому и сегодня существует интерес к Карлу Марксу. Однако после того, как проявились бесчисленные прочие последствия структур современного общества, это упрощение более не выдерживает критики – ни как монополия на протест, ни как теория. Общество становится фоновой темой, порождающей средой для все новых поводов к протесту. Сообразная собственной задаче теория общества должна теперь описывать общество как функционально дифференцированную систему с многочисленными (и поэтому по отдельности уже не привлекательными) основаниями для протеста. Общество хуже (но и, разумеется, лучше), чем может представить себе какое бы то ни было протестное движение. Протест живет *селекцией* определенной темы. Если бы он захотел отразить селективность собственной темы, а тем самым – и самого себя как фактор селекции, ему пришлось бы распознать парадоксальность протеста в единстве против единства и поэтому усомниться в условиях собственной возможности.²⁴

Это становится отчетливым, когда мы воспринимаем протестные движения как аутопойетические системы особого типа²⁵, а протест – как их катализирующий момент. Выделяющий некую тему протест – их изобретение, их конструкция. Как раз то, что общество до сих пор не учитывало или неправильно учитывало эту тему, служит условием для того, чтобы движение активировалось. Общество выказывает гамму реакций от ошеломления до непонимания. В его организациях эта тема неизвестна. Только аутопойезис социального движения конструирует ее, находит соответствующую предысторию, чтобы не представлять в качестве изобретателя проблемы, и тем самым создает контроверзу, которая для другой стороны в рутине ее повседневных дел первоначально контроверзой не является. Достаточно незаметных начал, выводимых как начала лишь ретроспективно, сама же контроверза является и остается контроверзой протестного движения.

Против сложности протестовать невозможно. Поэтому чтобы создать возможность протеста, необходимо упростить отношения. Этому служат темы, и, в первую очередь, сценарии²⁶, которые могут реализовываться в общественном мнении при помощи масс-медиа. Прежде всего, усеченные атрибуты причин, обращающие внимание на определенные действия, осуществляют тревожную функцию и высвечивают находящиеся под угрозой ценности и интересы. Однако схематизации имеют эффект отсылки к проблемам, которые рассматриваются при помощи дальнейших схематизаций. Они порождают “distilled ideologies”, “дистиллированные идеологии”.²⁷ Даже если мы будем рассматривать мир лишь с одной точки зрения, со временем возникнет сложность. Тогда необходимо будет оторваться от начальной темы – тем более что и размножение эффектов через масс-медиа постоянно требует новых тем. На этой стадии утверждается потребность в идеологии, вырабатывающей определенную последовательность в непоследовательности протестных тем.

До сих пор этого не удавалось, и, очевидно, уготованное для этого место тем временем оказалось занято чем-то иным, а именно – символикой “альтернатив”. Эта символика была не изоб-

ретена, а устоялась сама, но ее можно рассматривать как одну из убедительнейших и влиятельнейших для этого столетия формулировок формы. Функциональные системы (а они ведь сами конструируют собственные альтернативы) очевидно воздерживаются от нее.²⁸ С другой стороны, это позволяет проводить идентификацию с альтернативностью, распознавать единомышленников с другими тематическими приверженностями и формировать сеть взаимной поддержки. Такая поддержка позволяет обмениваться темами при сохранении формы протеста. «Мы были и остаемся на стороне альтернатив». Рассуждая так, многие откочевали от марксистского протеста к экологическому, так что сегодня их можно узнать только по «акценту». Биографическая идентичность остается сохраненной, ее можно даже отчетливее индивидуализировать, так как она ничем больше не обязана определенным теоретическим концепциям. Но прежде всего, альтернатива является предложением другой стороне. Протест живет благодаря границе, прочерчивая которую он осуществляет наблюдение. Но альтернатива может пересекать собственную границу. «Альтернативщик» сразу и располагается, и не располагается по ту сторону границы. В буквальном смысле, он мыслит в обществе ради общества против общества.

Где аутопойезис, там и структурное сопряжение. Такие отношения установились, прежде всего, между протестными движениями и масс-медиа, что на сегодня привело к отчетливо опознаваемому «structural drift».²⁹ Эти отношения ныне столь тесны, что их непрерывное воздействие изменило представления об «общественном мнении»; больше не ожидается своего рода гарантированный выбор благого и правильного, но окончательной формой общественного мнения отныне видится представление конфликтов – конфликтов с постоянно меняющимися новыми темами. Планирование протестов учитывает и это. Протест инсценирует «псевдособытия» (как они называются в медиаисследованиях³⁰), т. е. события, которые заранее были произведены для репортажа о них, и вообще не состоялись бы, если бы не существовало масс-медиа. Протестные движения пользуются масс-медиа, чтобы привлечь внимание, но (как по-

казывают новейшие исследования) не для рекрутирования приверженцев. Цикличность отношений налицо. Уже при планировании собственных акций протестные движения настраиваются на готовность масс-медиа дать о них сообщения и на их телегеничность. Эти сложные отношения с масс-медиа, для которых даже Чернобыль давно уже стал преданием дней минувших, кроме прочего, требуют независимости «инициирующего» события, но также и отзвука новых событий в контексте общности протеста. Время протестного движения – не время масс-медиа, но оно тоже бежит быстро. В случае неудачи движение иссякает и замирает до более благоприятного часа. В случае успеха символический менеджмент опасности и спасения переходит к функциональным системам и их организациям. Как результат протестного движения, ныне имеются его собственные ведомства в администрациях³¹, а в исключительных флагманских случаях – даже собственная «зеленая» или «альтернативная» партия. У него существуют собственные эксперты, а ради успокоения общественности, а также в качестве регулятива для организаций имеется форма «предельных значений», нарушение которых считается опасным, а соблюдение – нет.³² Организации выявляются в качестве платежеспособных «нарушителей», и у них выторговываются необходимые компромиссы. Но последствиями такого положения вещей становятся совершенно новые разновидности рисков – когда, например, небольшие фирмы вследствие урегулирований вытесняются из бизнеса, небольшим бензоколонкам из-за введения новых норм безопасности приходится закрываться, а крупные фирмы выискивают альтернативы, опасность которых еще не обнаружена. Некоторое время кажется, будто символический менеджмент опасностей и ущерба возвращается в компетентные для этого инстанции. Но в любой момент могут возникнуть новые протесты.

Получаемые здесь результаты, с точки зрения единичных случаев (а иначе проблемы и не решить), малоформатны. Это, однако, не должно затемнять представление о новизне феномена в целом. Речь идет о своеобразной аутопойетической системе, которую невозможно свести ни к принципу присутствия

(интеракция), ни к принципу членства (организация). Также и форма внутренней дифференциации протестных движений не может ни соотнобразываться с недифференцированностью или простой ролевой асимметрией систем интеракции, так как движение слишком велико для этого; ни сводиться с иерархией должностей, как в организациях, поскольку для этого слишком нестабилен их личный состав. Социальные движения, скорее, внутренне тяготеют к дифференциации на центр и периферию – как если бы они копировали в самих себя свое внешнее расположение на периферии общественного центра. Как правило, имеется сильно ангажированное ядро, имеется слой приверженцев, которых можно активизировать для эпизодических действий, и – на что, по крайней мере, ставит оно само – широкий круг симпатизантов, чье наличие позволяет ему утверждать, что движение представляет интересы всего общества. Дифференциация *центр/периферия* может возникать почти без всяких предпосылок, совместима с флуктуацией состава симпатизантов, приверженцев и ядра и позволяет проводить относительно нечеткие границы, проясняющиеся лишь в процессе самоактивации движения и изменяющиеся в ходе его неровного развития.

Несмотря на такую внешнюю нестрогость, настроенную на флуктуации, реагирующую на успехи и неудачи и преобразующуюся в *structural drift* системы, речь здесь, естественно, идет об общественных подсистемах – а не, например, о возможности коммуникации за пределами общества. Если бы мы хотели придать протестным движениям также и функцию, то мы могли бы сказать: речь здесь идет о том, чтобы отрицание общества в обществе перевести в операции. Следовательно, мы имеем дело с точным коррелятом автономии и оперативной замкнутости общественной системы; с тем, что ранее, когда были допустимы парадоксальные формулировки, обозначалось как “утопия”.

Представляется, что современное общество нашло форму аутопойезиса, позволяющую ему наблюдать за самим собой: в самом себе *против* самого себя. Сопротивление чему-то – вот присущий современному обществу способ конструировать ре-

альность. Как оперативно замкнутая система, оно даже не может контактировать со своим окружающим миром, а значит не может познавать реальность как сопротивление окружающего мира, но только как сопротивление коммуникации в отношении к коммуникации. Ничто не говорит в пользу того, что протестные движения лучше знают или правильнее оценивают окружающий мир – будь то индивидов или же экологические условия – чем это делают другие системы общества. Однако же именно такая иллюзия служит протестным движениям тем слепым пятном, что позволяет им инсценировать сопротивление коммуникации по отношению к коммуникации и тем самым наделять общество такой реальностью, которую оно иначе сконструировать не могло бы. Дело не в том, кто прав; но в том, в каких формах при этом типе сопротивления коммуникации по отношению к коммуникации в коммуникацию вводится реальность, в дальнейшем продолжающая в ней действовать.

Таким образом, общество может справляться с неведением об окружающем мире (как обычно, об индивидах и экологических условиях). Будучи дополненным бесчисленными конструкциями реальности функциональных систем, например, науки или хозяйства, оно может продолжать собственные операции, постоянно колеблясь от гетерореференции (соотнесенность с окружающим миром) к аутореференции (соотнесенность с коммуникацией). В этой в высшей степени темпорализованной, стремительной форме общество реагирует на собственную непрозрачность, на риски собственного отказа от избыточности, на сильную зависимость всех процессов от решений при отсутствии какого бы то ни было охватывающего все общество авторитета для определения правильности. И конечно, таким образом оно реагирует на многочисленные негативные явления, сопровождающие его собственную реализацию. Функциональные системы и их организации начинают – будучи раздраженными (а как иначе?) – настраиваться на самореализацию. Они стремятся к “взаимопониманию”, чтобы придать конфликтам временно приемлемую форму. Однако же, чего при этом как будто бы не получается, так это создания приемлемых тек-

стов, т. е. приемлемых самоописаний современного общества. Но тем самым мы уже переходим к теме следующей части.*

ПРИМЕЧАНИЯ К ГЛ. XV:

- * *collective behavior* (англ.): коллективное поведение – прим. пер.
- ¹ Так у маркиза Мальвецци по поводу дискуссии о государственном интересе. См. Virgilio Malvezzi, *Ritratto del Privato politico*, in: *Opere del Marchese Malvezzi, Mediolanum 1635*, особая пагинация, здесь S. 123. О секулярности этой теоретической фигуры см. рассуждения Гегеля о “Законе сердца и безумии собственного мрака” в “Феноменологии духа”, цит. по изд. Johannes Hoffmeister, Leipzig 1937, S. 266 ff.
 - ² Так в: Klaus Eder, *Die Institutionalisierung sozialer Bewegungen: Zur Beschleunigung von Wandlungsprozessen in fortgeschrittenen Industriegesellschaften*, in: Hans-Peter Müller/Michael Schmid (Hrsg.), *Sozialer Wandel: Modellbildung und theoretische Ansätze*, Frankfurt 1995, S. 267-290 (284).
 - ³ См. Talcott Parsons, *The System of Modern Societies*, Englewood Cliffs 1971, особ. p. 26 ff.
 - ⁴ Литература о “moral economy” как предпосылке для крестьянских бунтов подчеркивает это различие. См. выше ссылки в прим. 37 к гл. 6.
 - ⁵ Социологическое представление таких движений застряло на этом уровне целей, и поэтому остается сплошь описательным. То, что выдается за теоретическое достижение, ограничивается представлением исторической непрерывности, преследующей гетерогенные цели. См. типичную работу: Lothar Rolke, *Protestbewegungen in der Bundesrepublik*, Opladen 1987.
 - ⁶ Поэтому мы можем спросить – и с недавних пор это уже дискутируется – идет ли речь о социальном движении вообще или же только о вспышках в среде самореализации. Представители “старых новых” социальных движений склонны к тому, чтобы оспаривать причисление “новых новых” под эту рубрику. Но в этом неприятии слишком отчетливую роль играет интеллектуальное высокомерие и политико-моральные самопредпочтения.
 - ⁷ Как критику и как разрешение этой контрверзы в социальном конструктивизме, см. также Mary Douglas/Aaron Wildavsky, *Risk and Culture: An Essay on Selection of Technological and Environmental Dangers*, Berkeley 1982.
 - ⁸ Kai-Uwe Hellmann (*Systemtheorie und soziale Bewegungen: Eine systematisch-kritische Analyse*, (Diss.), Berlin (Freie Universität) 1995) видит здесь “латентную функцию” новых социальных движений, в отличие от “явной функции” их целей (но можно ли тогда, как приня-

- то у социологов, предполагать, что латентная функция является подлинной?).
- ⁹ Так в: Helmuth Berking, *Die neuen Protestbewegungen als zivilisatorische Instanz im Modernisierungsprozeß?*, in: Hans Peter Dreitzel/Horst Stenger (Hrsg.), *Ungewollte Selbsterstörung: Reflexionen über den Umgang mit katastrophalen Entwicklungen*, Frankfurt 1990, S. 47-61 (57).
 - ¹⁰ Эти гипотезы должны, конечно же, подвергаться региональной модификации. Они не годятся, к примеру, в Южной Италии, где такая принадлежность и такие зависимости остаются прямо-таки жизненно важными, а индивидуальная подвижность ограничивается интернализированным, чуть ли не мафиозным давлением.
 - ¹¹ Разработка этих переменных – например, в сравнении Германии с Италией – могла бы прояснить, что протестные движения в различных регионах находят в разной степени благоприятную питательную почву.
 - ¹² См. Klaus P. Japp, *Die Form des Protestes in den neuen sozialen Bewegungen*, in: Dirk Baecker (Hrsg.), *Probleme der Form*, Frankfurt 1993, S. 230-251.
 - ¹³ Или – в Klaus Eder a. a. O., S. 286 – центром общества, находящимся по ту сторону функциональных систем.
 - ¹⁴ Об этом различии см. Jacques Ferber, *La kenétique: Des systèmes multi-agents à une science de l'interaction*, *Revue internationale de systémique* 8 (1994), pp. 13-27 (21 ff.).
 - ¹⁵ Otthein Rammstedt, *Sekte und soziale Bewegung: Soziologische Analyse der Täufer in Münster (1534/35)*, Köln 1966, S. 48 ff. говорил в другой исторической связи о “телеологизации кризиса”.
 - ¹⁶ Это подчеркивает, прежде всего, Heinrich W. Ahlmeyer, *Soziale Bewegungen als Kommunikationssystem: Einheit, Umweltverhältnis und Funktion einer sozialen Phänomens*, Opladen 1995.
 - ¹⁷ К этой “орнаментике движения” см. Hans-Georg Soeffner, *Rituale des Antiritualismus: Materialien für Außeralltägliches*, in: Hans Ulrich Gumbrecht/K. Ludwig Pfeiffer (Hrsg.), *Materialität der Kommunikation*, Frankfurt 1988, S. 519-546 (цитата: S. 527).
 - ¹⁸ Что продельывает фихтевское Я на его Не-Я, согласно Жан-Полу, Jean Paul, *Clavis Fichteana seu Leibgeberiana*, цит. по: *Werke Bd. 3*, München 1961, S. 1011-1056 (1043).
 - ¹⁹ Об этом см.: Niklas Luhmann, *Politische Verfassungen im Kontext des Gesellschafts-systems*, *Der Staat* 12 (1973), S. 1-22, 165-182.
 - ²⁰ Так в Wilfried von Bredow / Rudolf H. Brocke, *Krise und Protest: Ursprünge und Elemente der Friedensbewegung in Westeuropa*, Opladen 1987, S.61.
 - ²¹ Об этом см. Jens Siegert, *Form und Erfolg – Thesen zum Verhältnis von Organisationsform, institutionellen Politikarenen und der Motivation von*

- Bewegungsaktivisten. *Forschungsjournal Neue soziale Bewegungen* 2/3-4 (1989), S. 63-66.
- ²² Эту формулировку мы находим в Jean Paul, Siebenkas, *Drittes Kapitel*, цит. по Jean Paul, *Werke* Bd. 2, München 1959, S. 95, но здесь – еще и в соотношении с выходом на сцену нищих по случаю особой ситуации, храмового праздника (Kirmes).
- ²³ Чтобы прояснить этот сдвиг опасности на другую сторону, см. опять-таки: Mary Douglas, *Purity and Danger: An Analysis of Concepts of Pollution and Taboo*, New York, 1966. См. также ее работу: *Risk as a Forensic Resource*, *Daedalus* 119/4 (1990), pp. 1-16 (4 ff.); а также примыкающую к этому ее исследованию монографию по социальным движениям в связи с рисками потерять рабочее место: Janet B. Bronstein, *The Political Symbolism of Occupational Health and Risks*, in: Branden B. Johnson / Vincent T. Covello (ed.), *The Social and Cultural Construction of Risk: Essays on Risk Selection and Perception*, Dordrecht 1987, pp. 199-226.
- ²⁴ Даже перед дьяволом – если бросить взгляд на вершинные достижения теологической рефлексии (прежде всего, в исламе) – стояла эта проблема. Но дьявол сумел найти для себя уникальное место в описываемом традицией мире грехов. Он единственный, кто совершил грех, в котором невозможно покаяться: грех наблюдения за Богом. Об этом см. Peter J. Awn, *Satan's Tragedy and Redemption: Iblis in Sufi Psychology*, Leiden 1983. Элегантным и структурно-теоретически убедительным образом решает, в конечном счете, эту проблему абсолютный Дух метафизики Гегеля. Он различает *себя в себе* (но не против себя). Правда, для этого невозможно найти такую социальную реализацию, так что дух оказывается бы в конечном итоге не чем иным, как формой, способствующей восприятию этой проблемы. Он символизирует внутреннее без внешнего, общество без окружающего мира.
- ²⁵ Альмайер тоже описывает социальные движения как своеобразные аутопойетические системы, хотя и соотносенные не с протестной коммуникацией, но с мобилизацией как элементарной, саморепродуцирующейся по собственным результатам аутопойетической операцией. См. Heinrich W. Ahlmeier a. a. O. (1995). См. также его же, *Was ist eine soziale Bewegung? Zur Distinktion und Einheit eines sozialen Phänomens*, *Zeitschrift für Soziologie* 18 (1989), S. 175-191.
- ²⁶ О понятиях см. выше, кн. I, гл. 6: Оперативная замкнутость и структурные сопряжения.
- ²⁷ Так формулируют Gerald R. Salancik / Joseph F. Porac, *Distilled Ideologies: Values Derived from Causal Reasonings in Complex Environments*, in: Henry P. Sims, Jr. / Dennis A. Gioia et al., *The Thinking Organization:*

- Dynamics of Organizational Social Cognition*, San Francisco 1986, pp. 75-101.
- ²⁸ Об этом см. Wolfgang van den Daele, *Der Traum von der "alternativen" Wissenschaft*, *Zeitschrift für Soziologie* 16 (1987), S.403-418.
- ²⁹ Об этом см. монографию об (американских) "новых левых": Todd Gitlin, *The Whole World Is Watching: mass media in the making of the new left*, Berkeley Cal. 1980. См. также Rudiger Schmitt-Beck, *Über die Bedeutung der Massenmedien für soziale Bewegungen*, *Kölner Zeitschrift für Soziologie und Sozialpsychologie* 42 (1980), S. 642-662.
- ³⁰ См., например, Hans Mathias Kepplinger, *Ereignismanagement: Wirklichkeit und Massmedien*, Zurich 1992, S. 48 f.
- ³¹ Для достаточно поздней стадии см. Richard P. Gale, *Social Movements and the State: The Environmental Movement, Countermovement, and the Transformation of Government Agencies*, *Sociological Perspectives* 29 (1986), pp. 202-240.
- ³² Специально об этом Niklas Luhmann, *Grenzwerte der ökologischen Politik: Eine Form von Risikomanagement*, Ms. 1990.
- * См. Никлас Луман. *Общество общества*. Кн. 5: Самоописания. М., Издательство "Логос", 2006.

А. Ю. Антоновский

Общество как общение и разобщение¹

(Конструктивистские основания функциональной дифференциации)

Представляемая книга Лумана обращена к ключевой социологической проблеме: парадоксу (пусть и относительного) социального согласия в условиях тотальной расчлененности всей человеческой деятельности. Можно сколько угодно спорить о степени социальной интеграции, указывать на войны и конфликты, но факт остается фактом – в обществе продолжается диалог.

При этом (и это первая и основная предпосылка предлагаемого Луманом подхода) собственно сам этот диалог (письменная и устная коммуникация) идентичен обществу. Общество, полагает Луман, есть общение, а там где его нет – нет и общества. Но если общение конституирует общество, что конституирует само общение? Или другими словами, почему при наличии столь устрашающего непонимания, вызванного многообразием отдифференцировавшихся современных языков или дискурсов (науки, политики, искусства, экономики, любви и т. д.) все еще не разразилось новое вавилонское столпотворение?

И конечно, ответ Лумана оказывается столь же парадоксальным. Условием временной и пространственной континуальности общества, утверждает мыслитель, как раз и является его дифференцированность, или по-другому: условием общения – является разобщенность. Впрочем, как всякий парадокс, данный тезис допускает метафорическую тривиализацию: чем больше в корабле отсеков, тем труднее его затопить, чем меньше общения, тем меньше конфликтов. Причем сами конфликты институционализируются и задействуются как важнейшие условия системной динамики в уже обособившихся частях общества. Ученые спорят с учеными, а политики спорят с политиками, но вот поспорить друг с другом у них как-то не получается. И именно такого рода коммуникативные барьеры все еще (но как долго?) удерживают

Англоязычные термины, используемые Н. Луманом без перевода:

structural drift: структурный дрейф

quality/performance: родовое свойство/эффективность действий

pattern variables: типовые переменные

re-entry: повторное вхождение

unmarked space: немаркированное пространство

на плаву “мультисекционный” общественный корабль.

Итак, что же такое дифференциация? Не углубляясь, перечислим ее основные составляющие на этапе ее современной *функциональной* стадии: приватизация религии; возникновение бюрократически управляемых территориально-национальных государств; появление собственности, отделенной от власти, и социальное признание и легитимация мотивации к овладения ею; оправдание любопытства как мотивации поиска знаний; высвобождение искусства из под давления государственно-религиозных функций; правовое ограничение политической власти и правовая регуляция изменения права; страсть как самооправдание и основание брака и (по) любви; редукция обширных в прошлом родственных единиц к семье, состоящей из одного-двух поколений; обязательное и всеобщее образование. Данная форма сменяет центрально-периферийную дифференциацию, базирующуюся на эндогамии аристократии, в свою очередь наследующую сегментарно-семейные формы социальной дифференциации. Мы не будем заниматься бесполезным пересказом, а сосредоточимся на теоретико-познавательных основаниях представленного подхода, которые можно назвать “эпистемологией социальной дифференциации”. В основе ее лежат понятия *различия* или *различения*.

На первый взгляд представляется, что лумановская концепция дифференциации следует в русле дюркгеймовского подхода о разделении общественного труда как основания нового вида (уже не сегментарной или механической, а органической) солидарности, допускающей аномии и девиацию (и соответственно конфликты) как эндемические общественные реалии. Конфликты – это ведь тоже коммуникации. Но все-таки радикальность, если не сказать экстремизм, Лумана намного превосходит индивидуалистский подход Дюркгейма. Само понятие *солидарных* индивидов теряет у Лумана всякое теоретическое значение. Но либерально настроенный Дюркгейм как раз хотел защитить индивидуализм – как не просто допускающий, а с необходимостью предполагающий солидарность, узы которой оказывались даже прочнее коллективных связей сегментарной солидарности, требовавшей насилия, компенсирующего слабость последней. У Лумана уже сами индивиды вытесняются во внешний мир общества, а единственное, что остается – это мир коммуникации, мир текстов, мир обособившихся дискурсов (= системно-специфических языков). На этом мы остановимся ниже, а пока рассмотрим методологическое основание

учения о дифференциации, которое, несомненно, мало интересовало Дюркгейма, а именно – представление о границе или о различении как таковых, развитых в логико-математической теории Джорджа Спенсера-Брауна.

Конструктивистская логика различений

Луман довольно поздно обращается к логике различений Спенсера-Брауна, которой в конечном счете было суждено краеугольным камнем теории дифференциации социальных систем и конструктивистской теории познания. Лишь в 1988 году он публикует работу “Жены, мужа и Джордж Спенсер-Браун”, где использует эту логику для формального описания социальной дифференциации и границ между отдифференцировавшимися системами. Единственной операцией в этой логике является различение, разделяющее изначально немаркированное пространство на внутреннее “пространство” и его внешний мир. Возникает неравновесие, несимметричность. (Представьте себе проведение окружности)¹. Лишь *различение* делает возможным *обозначение* той или иной реалии, дает возможность обратиться к этому обозначению как к какой-то самостоятельной теме обсуждения. То, что отграничено, пребывает “внутри” (т. е. все, что реально произнесено, помыслено, попало в центр внимания, стало объектом желания) становится основанием дальнейших интенций, коммуникаций и переживаний (т. е. подсоединяющихся отграничений). Все же остальное, не попавшее в *круг* обсуждения – и есть мир, горизонт, набор возможных но не состоявшихся в будущем коммуникативных актов и ментальных состояний. И все же здесь важна не внутренняя сторона (внутреннее пространство окружности) и не неопределенное неразмеченное пространство внешнего мира. Основную роль играет *само различение*, потому что именно оно является единственной и последней “онтологической” реальностью, если вообще имеет смысл говорить о какой бы то ни было онтологии.

Попробуем проинтерпретировать этот “онтологический поворот”. Спенсер-Браун отказывается от представлений, будто существует некоторый мир, реальность, проводя различения в которых мы в конечном счете формируем более или менее “адекватные”, хотя и “фиктивные”, или “фикциональные”, понятия, математические объекты (типа точек или прямых). Отныне единственной всеобъемлющей реальностью становится различение, вбирающее в себя все сущее, а именно:

во-первых, обозначение того, что “внутри” и, во-вторых, необозначенный остальной мир, от которого это обозначенное отлечено. И в-третьих, различие включает в себя и само различие как единство того, что находится внутри и вне окружности.

Если раньше как само собой разумеющееся полагалось, что различения и границы проводятся внутри фрагментов или частей мира, то отныне весь мир оказывается “внутри” различения, что понимается как повторное вхождение (re-entry) отличенного в само это различение.

Эта необычная “онтология” служит у Лумана формальным описанием дифференциации, но одновременно, она помогает как-то разрешить античный парадокс границы. Всякая граница или различие представляются в каком-то смысле неопределенными. Как узнать где заканчивается равнина и начинается гора? Приходится вводить вспомогательное понятие “подножья” горы (неопределенную срединную область), но если попытаться определить это отграничивающее подножье, то его, в свою очередь, приходится отграничивать от горы и равнины, что требует введения новой неопределенной области, новой границы, а затем – все новых и новых разграничений. Так возникает ведущий в дурную бесконечность вопрос о границе между границей и тем, что от нее отграничено. Спенсер Браун, а за ним и Луман не отказываются, а напротив, основываются на этом парадоксе.

Сам этот процесс порождения одним различием другого различия, или различения различений можно представить как процесс порождения реальности, объектов, отличных, от того, чем они не являются. Граница или различие оказываются таким образом “слепым пятном”: определить или локализовать его не удастся, однако оно служит своего рода *средством конструирования объектов*. Зададимся наивным вопросом: какой стране принадлежит граница между США и Канадой? Здравый смысл подсказывает, что ни один из возможных четырех ответов не представляется удовлетворительным. Ведь граница не принадлежит ни США, ни Канаде, ни им обоим (тогда бы это была внутренняя граница), ни никому из них (тогда бы они не были бы разграничены). Соответственно, единственным возможным решением было бы признать границы и различия единственной реальностью, а различенные стороны полагать артефактами различения, входящими внутрь самой границы.

Применительно к обществу такими границами (= формами) как

раз и выступают самоотграничивающиеся от остального общества системы специфических коммуникаций, некоторые из которых (и в первую очередь, система науки) способны не просто существовать как обособленные последовательности операций, но в ходе своих коммуникаций задаваться вопросом о собственной ограниченности. Тематизация наукой (а особенно, социологией и ее подсистемой – эпистемологией) своей демаркации, границы научного и ненаучного, как раз и оказывается *формой формы*, о которой пишут Спенсер Браун и Луман. Ведь наука, рассматривая внешний мир и себя обнаруживает в том же мире. В этом собственно и состоит рефлексия социальной системы, т. е. способность сконцентрироваться не только на своем предмете (в случае социологии – это прочие социальные системы: экономика, политика и т. д.), но и выявить формы, отграничить границы, которыми оказываются специфические языки или способы кодирования разного рода коммуникаций. И именно в этом состоит *re-entry*: введение внешнего мира в круг собственного дискурса как типичной только для этой системы коммуникации речевой практики. Система не является внешним миром, но “втягивает” его внутрь себя. У Лумана этот момент называется *инореференцией*.

Но система может и сфокусироваться на своей отличности от внешнего мира, понять, что она и *есть собственно различие между ней и всем остальным*: между обществом (коммуникацией) и тем, что в обществе (коммуникации) обсуждается; между сознанием и тем, что в сознании перерабатывается (для систем сознания). Иными словами, система может концентрироваться не на теме коммуникации, а на характере протекания коммуникации, на том, какие средства дискурса (например, различие *истина/ложь* в языке науки, различие *прекрасное/безобразное* в эстетическом дискурсе) она задействует. Такое самопонимание себя как границы или как разграничения между чужим и собой – есть *самореференция*.

Таким образом, *рефлексируя* себя в качестве такого различия между внутреннем (тем, что как тема коммуникации делает возможным продолжение коммуникации) и внешнем (горизонтом, коммуникативно не реализовавшимся потенциалом, миром) некоторые системы неожиданно фиксируют в своем внешнем мире и другие сходные системы, однако воплощающие другие – отличные от ее собственно – различия между внутреннем и внешнем. Так возникает *наблюдение второго порядка*, т. е. наблюдение над иными наблюдателями,

различия между иными различиями. С помощью своего языкового кода *истина/ложь* (обеспечивающего подсоединение одной истинностной коммуникации к другой истинностной коммуникации, а следовательно и возникновение самой замкнутой системы науки) социология наблюдает за тем, как самовоспроизводятся (аутопойезис!) другие социальные системы, задействующие для этого самовоспроизводства свои собственные коды-различия: *власть* (политическая система как последовательность властных решений и их выполнений), *деньги* (экономическая система как последовательность транзакций). Собственно генезису этого системного порядка и посвящена публикуемая книга.

Луман понимает *социальную интеграцию* безотносительно к солидарному поведению индивидов. Интеграция – это ограничение степеней свободы (возможности выбора в горизонте) частной системы и охватывающей системы общества. Речь идет о взаимной координации систем и их подстройке друг к другу. “Так, внесение проекта бюджета в парламент может быть событием в политической системе, в правовой системе, в системе масс-медиа и в экономической системе. Благодаря этому постоянно имеет место интеграция в смысле взаимного ограничения степеней свободы в системах” (Наст. изд., стр. 15). Дифференцированные системы сопряжены друг с другом. Но что такое – структурное сопряжение отдифференцировавшихся систем? Речь, здесь, идет о том, что любое значимое событие становится элементом *одновременно* очень многих систем, в особенности, если эти системы оперируют общими медиа. Так, сознание как система переживаний (мыслей, восприятий) вынуждено задействовать язык и вне языка мыслить не способно. Но поскольку язык является одновременно и медиумом коммуникации, то каждое произнесенное выражение, тут же порождает свой – вербально определенный – коррелят в сознании участников коммуникации. Однако то, что оставляет обе эти системы радикально недоступными друг для друга – это *разные истории* и разная динамика внутрисистемных событий. Мысль следует за мыслью, а произнесенное слово следует за произнесенным словом, причем слово не успевает за мыслью, а мысль не успевает за словом. С еще большим основанием это относится и к структурным сопряжениям самих систем коммуникаций.

Выше мы говорили, что каждая обособившаяся система – это прежде всего обособившийся способ кодирования вербальной коммуникации. Поэтому эволюция общества и эволюция языка в сущности оказываются равнозначными понятиями. Поэтому единственная возможность описать социальную дифференциацию – это описать дифференциацию текстов и наиболее общих способов их составления, причем каждая обособившаяся подсистема общества представляет собой обособившийся дискурс или речевую практику со своими собственными способами их порождения (кодами).

Итак, производство или составление текстов можно понимать как ориентацию на социально значимые коды или языковые медиумы общения: *истину, прекрасное, деньги, власть, любовь, веру, право, здоровье* и т. д. Это и есть факторы генезиса текстов, причем являющееся самоценными, самовалидными “собственными значениями”, несоместимыми ни с какой телеологией.

Отношение между языком и текстом – это отношение между аморфным медиумом и его упорядоченным выражением или конфигурацией. При этом способы упорядочивания языка и факторы генезиса текстов или, иначе говоря, ориентиры общения собственно и выступают индикаторами социальной дифференциации.

Именно поэтому не может идти речи ни о каком языковом холизме, ни о какой “целостности” или “единстве” языка, так как его невозможно представить, не обратившись к тому или иному способу его упорядочивания, коду, пусть это даже алфавитный порядок слов, с которым мы встречаемся в словаре. Сам по себе (т. е. не облеченный в ту или иную форму) язык остается доступным. Особое значение имеют, конечно же, гораздо более “притязательные” – в сравнении со словарным порядком – разобщающие и благодаря этому интегрирующие медиа: тот, кто в общении ориентирован на истину (упорядочивающее средство для научного общения и научных текстов) не способен понять того, кто ориентирован на веру как на ориентир религиозных текстов), но именно благодаря этому конститутивному размежеванию ученых перестали сжигать на кострах, а верующих не исключают из социума как слабоумных.

Возникает языковой парадокс, конститутивный для современного дифференцированного общества: язык перестал быть медиумом понимания в силу разобщения – дифференциации социальных систем

общения и, соответственно, дифференциации речевых практик (дискурсов). И тем не менее язык остается средством социальной интеграции и стабилизирующим фактором, причем именно *в силу своего разобщающего характера*. Дискурс-дифференцированное общество получило иммунитет к конфликтам именно потому, что коллапс в одной сфере – скажем, в религиозном общении (межрелигиозные конфликты) или в искусстве (отказ от прекрасного как критерия произведения искусства и, соответственно, базиса эстетического общения и объекта для эстетических текстов) – уже не приводит к коллапсу во всех остальных сферах социального общения, как это было характерно для традиционных недифференцированных обществ, где отождествлялось все преступное-безобразное-ложное-бедное-нелюбимое-нездоровое-безбожное.

И это именно потому, что язык как тотальность, как совокупность слабо связанных элементов (в отличии от его текстовых выражений) имеет рыхлую, не определенную жестко структуру. Грамматика языка оставляет открытым будущее, не определяет содержание коммуникативных вкладов. Еще раз: *язык делает возможным общество и общение не в силу его тотальности и холистической природы, связывающей индивидов в коллектив носителей одного общего языка, а в силу его несвязности и нестрогости*.

Но при этом язык как таковой оказывается (без задействования тех или иных функциональных медиа) когнитивно недоступным, и именно благодаря этому он является практически вечным и неизменным медиумом общения. Ниже мы тезисно попробуем уточнить понятие языка в его отличии от понятия *внутрисистемного дискурса* – речевой практики в рамках той или иной обособившейся сферы общественной жизни.

Мы не можем подробно останавливаться на всех типах отдифференцировавшихся систем и соответствующих им типов дискурсов и поэтому в качестве итогового заключения и для большей наглядности попробуем сопоставить трансформационный потенциал языка (понимаемого здесь в качестве “системы абстрактных элементов”, безразличной к формам ее выражения: речевым практикам, речевым актам, – а значит тождественный обществу как таковому, обществу как сумме всех возможных коммуникаций) и взятый здесь в качестве приме-

ра обособившийся эстетический дискурс.

1. Эстетический дискурс, как и всякий другой, есть форма (morphé в традиционном философском, прежде всего аристотелевском, смысле), “отпечатывающаяся” в медиуме языка. Если язык искусства репрезентирует активный принцип, то язык как таковой представляет собой пассивный принцип или своего рода материал или вещество (hyle), приобретающее очертания благодаря тем или иным специфическим (прекрасным, возвышенным и т. д.) выражениям.

2. В отличие от языка как медиума, *нестабильность* эстетического дискурса вытекает из *вариативности его кодирования*. Коммуникативный код есть предпочтение при выборе из альтернатив. Если в традиционном искусстве выбор осуществлялся в рамках кода *прекрасное/безобразное*, то современный эстетический дискурс предполагает ряд функциональных эквивалентов кода красоты, например: *подлинное/неподлинное искусство, новомодное/старомодное, безвкусное/со-вкусам, стильное/(в)нестильное, совершенное/несовершенное, удивительное/ожидаемое*. Эти функционально-эквивалентные коду красоты кодирования эстетического общения делают возможным многообразие коммуникаций об искусстве, что в не последнюю очередь сказывается на многообразии произведений искусства. Более того, эстетический дискурс даже допускает возможность поставить под вопрос “прекрасное” как критерий произведения искусства, однако само это сомнение означает продолжение эстетически ориентированного общения, а следовательно – воспроизводство эстетического дискурса. Язык как абстрактная тотальность, как медиум, безразличный к своим формам, напротив, допускает лишь одну-единственную кодировку: код отрицания, т. е. выбор между принятием и отклонением предложенного смысла.

3. Язык метафорически может истолковываться как фон или горизонт, как своего рода пространство, которое само по себе не способно принимать никакую конфигурацию, пока в нем не “проступит” форма. То, что само по себе не имеет формы или конфигурации, очевидно, неспособно и изменить эти форму или конфигурацию.

4. Эстетическая коммуникация имеет своей функцией реактивацию возможностей, отклоненных повседневностью. Но количество отвергнутых возможностей в горизонте любого общения существенно превышает число актуализирующихся языковых выражений.

5. Напротив, крайне трудно изменить или дополнить такие прак-

тически бесконечно-конфигуративные сущности, как язык с его громадным количеством слабо связанных элементов. Ведь такие сущности включают в себя все возможные или потенциальные конфигурации. Язык таким образом – как потенциал или горизонт возможностей повседневности – остается всегда равным себе, и именно это делает возможными изменения форм или сочетаний жестко связанных элементов. Чтобы что-то изменилось, горизонт должен оставаться неизменным.

6. С точки зрения эволюционной теории, эстетические дискурсы и произведения искусства как концентрированные выражения эстетических дискурсов находятся друг с другом в состоянии конкуренции, а значит, соответствуют всем эволюционным стадиям: варьированию, селекции, стабилизации. Язык в его отличии от языка искусства не может изменяться именно в силу своего статуса культурно-генетического пула. Здесь мы наталкиваемся на параллель с генетикой, имеющей дело с огромным разнообразием сочетаний генов при том, что гены сами по себе (четыре типа нуклеотидов) остаются вечными и неизменными. Слова языка обладают аналогичной устойчивостью, лишь их сочетания и формы подвержены трансформациям.

7. Этот эволюционный подход указывает на необходимость беспрестанного обновления дискурсов. Всякое его воплощение в виде произведения искусства или в виде его интерпретации зрителем или критиком могут удивить лишь единожды, а затем служит лишь фоном или отправной точкой ("эстетический стиль") для обсуждения новых произведений и производства новых дискурсов, обеспечивая непрерывность эстетического общения. Возникает обособленная система эстетического общения, отдифференцировавшаяся специфической коммуникации, получающая таким образом специфическую историю сменяющихся стилей. Она подвергается давлению времени, требующего новых произведений и новых стилей. Язык как тотальность, напротив, в гораздо меньшей степени зависит от социальной дифференциации. Язык применяется всеми дифференцированными подсистемами общества и не обязан следовать логике социальной дифференциации.

Всякая подсистема общения несомненно создает свой собственный дискурс (и состоит из него), однако этот процесс несколько затормаживается вследствие того, что участники языковой коммуникации (т. е. личности) вынуждены участвовать в нескольких подсисте-

мах общения. В том числе и поэтому ядро языка должно оставаться всегда тем же самым – как базис единства сознания личностей. Последнее вытекает из того обстоятельства, что язык одновременно является и средством общения и медиумом сознания (мышления, потока переживаний) систем личности. Это позволяет компенсировать ускоряющееся разобщение, ставшее следствием распада некогда единого общества на замкнутые области и соответствующие внутрисистемные языки. С другой стороны, само это разобщение, несмотря на все эмоционально-негативные следствия этого процесса, оказывается мощнейшим фактором социальной интеграции, поскольку локализует и использует конфликты на уровне социальных систем, не позволяя им определять социальную динамику общества в целом.

Примечания:

- 1 Статья написана при финансовой поддержке РФФИ (проект № 06-06-80425-а) и при финансовой поддержке РГНФ (проект № 05-03-80244-а)
- 2 Нужно всегда отдавать себе отчет, что такой пространственный язык описания всегда условен и применяется, скорее, как метафора.



В 2006 г. в издательстве «Логос» (Москва) выходят в свет:

серия **SOCIUM.TXT**

→ Никлас Луман. *Самоописания* [Общество общества.V]

→ Кристофер Лэш. *Восстание элит*

серия **VS**

→ Корнелиус Кастириадис. *Общество на дрейфе*

→ Михаил Рыклин. *Произведение искусства в эпоху
управляемой демократии*

серия **MEDIAE RES**

→ Фридрих Киттлер. *Оптические медиа.*

серия **МЕРАБ МАМАРДАШВИЛИ: РАБОТЫ**

→ Мераб Мамардашвили. *Беседы о мышлении* [Книга XV]

→ Мераб Мамардашвили, Александр Пятигорский.
Символ и сознание [Книга IV]

Научное издание

Никлас Луман

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ

[ОБЩЕСТВО ОБЩЕСТВА. IV]

Перевод с немецкого Б. Скуратова

под редакцией – А. Антоновского (глл. I-V),

А. Глухова (глл. VI-IX), О. Никифорова (глл. X-XV)

Корректор – А. Кефал

Художник – А. Ильичев

Верстка – Издательство “Логос”

Издательство “Логос”

127644, г. Москва, ул. Лобненская, д. 18, стр.4

тел: 2461430; e-mail: logospublishers@mail.ru letterra@yandex.ru

Информация на сайте: www.agora.su

ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ – ОТ КОМПАНИИ **РИНЕТ**

[http:// www.rinet.ru](http://www.rinet.ru) тел: (095)2383922

Справки и оптовые закупки по адресу:

м. “Парк Культуры”, Зубовский б-р, 17, ком. 50

Издательство “Логос”, тел: 2461430 ; ИТДГК “Гнозис”, тел. 2471757.

Подписано в печать 15.05.2006. Формат 60×90/16.

Печать офсетная. Бумага офсетная № 1.

Печ. л. 20,0. Тираж 1000 экз. Заказ № 18.

Отпечатано в ООО «4 цвета».

140006, г. Люберцы, ул. Южная, д.22.